

Э. Л. ВОЙНИЧ



ОВОД





ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



ЭТЕЛЬ ИИИАН
ВОЙНИЧ

ОВОД

РОМАН

arc70@yandex.ru made

МОСКВА • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • 1977

Перевод с английского
Н. Волжиной

Иллюстрации художника
С. Бродского

Б 70304—089
080(02)-77

ОТ АВТОРА

Приношу глубочайшую благодарность всем тем в Италии, кто оказал мне помощь по сбору материалов для этого романа. С особой признательностью вспоминаю любезность и благожелательность служащих библиотеки Маруселлиана во Флоренции, а также Государственного архива и Гражданского музея в Болонье.

**«Оставь; что тебе до нас,
Иисус Назарянин?»**

ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец ректор, каноник Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги.

— Не можешь найти, *sagino*¹? Оставь. Придется написать заново. Я, вероятно, сам случайно разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь.

Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

— Нет, *padre*², я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было.

Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «*Fragola! Fragola!*»³.

— «Об исцелении прокаженного» — вот она!

Артур подошел к Монтанелли мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все

¹ Дорогой (*итал.*).

² Отец (*итал.*); у итальянцев — обычное обращение к священнику.

³ Земляника! Земляника! (*итал.*)

в нем было изящно, словно выточено: длинные стрелки бровей, нежная линия рта, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье; но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру,— правда, без когтей.

— Неужели нашел? Что бы я без тебя делал, Артур? Вечно все терял бы... Нет, довольно писать. Идем в сад, посмотрим, чего ты там не понял?

Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского монастыря, и двести лет назад его квадратный двор содержался в безупречном порядке. Ровные бордюры из букса окаймляли аккуратно подстриженные розмарин и лаванду. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирали их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усыки дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одичали; их длинные спутанные ветки тянулись по всем дорожкам. Среди букса алели большие красные маки. Высокие побеги наперстянки склонялись над густой травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей запущенного боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой.

В одном углу сада поднималась ветвистая пышная магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее.

Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к *padre*. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией.

— Ну, пожалуй, я пойду,— сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены.— Впрочем, может быть, я вам нужен?

— Нет, на сегодня я работу закончил, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.

— Конечно, есть!

Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцающие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.

— Какой у тебя утомленный вид, *padre*, — проговорил он.

— Что поделаешь...

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.

— Напрасно ты спешил приступить к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты好好енько отдохнул перед отъездом из Ливорно.

— Что вы, *padre*, зачем? Я все равно не мог бы остаться в этом злосчастном доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.

Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг.

— Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников, — мягко сказал Монтанелли. — Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача. Провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям.

— Нет, *padre*! Уоррены — хорошие, сердечные люди, но они много не понимают и жалеют меня — я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери... Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, — даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это...

— Что же еще, сын мой?

Артур сорвал цветок с поникшего стебля наперстянки и нервно сжал его в руке.

— Я не могу жить в этом городе, — начал он после минутной паузы. — Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки; набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошел — все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы. Как будто они нужны мне теперь! И потом... кладбище... Нет, я не мог не уехать! Мне тяжело видеть все это.

Артур замолчал, разрывая колокольчики наперстянки. Молчание было таким долгим и глубоким, что он взглянул на padre, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии уже сгущались сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания, однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвеннюю бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни.

«О боже,— подумал он,— как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам.

— Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае пока,— ласково проговорил он.— Но обещай мне, что ты отдохнешь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался.

— Padre, а вы куда поедете, когда семинария закроется?

— Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется мой помощник. Тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты ознакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь, тебе будет скучно со мной.

— Padre! — Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала «манерности, свойственной только иностранцам».— Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами! Только... я не уверен...

Он запнулся.

— Ты думаешь, мистер Бертон не разрешит тебе?

— Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. К тому же Джеймс ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он всегда недолюбливал мою мать.

— Все же, если мистер Бертон будет против, я думаю, тебе лучше уступить. Твоё положение в доме может ухудшиться, если...

— Ухудшиться? Вряд ли! — горячо прервал его Артур.— Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть что бы я ни делал. Да и как Джеймс может противиться, если я еду с вами, моим духовником?

— Помни — он протестант! Во всяком случае, лучше написать ему. Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Это внушение было сделано так мягко, что Артур только чуть покраснел, выслушав его.

— Да, я знаю,— ответил он со вздохом.— Но ведь это так трудно.

— Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник,— сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора.— Был епископ из Ареццо, и мне хотелось, чтобы ты его повидал.

— В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.

— Какое собрание?

Артур несколько смутился.

— Вернее... вернее, не собрание...— сказал он, запинаясь.— Из Генуи приехал один студент и произнес речь. Скорее это была лекция...

— О чём?

Артур замялся.

— Padre, вы не будете спрашивать его фамилию? Я обещал...

— Я ни о чём не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует. Но я думаю, ты мог бы довериться мне.

— Конечно, padre. Он говорил... о нас и о нашем долге перед народом, о нашем... долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь...

— Помочь? Кому?

— Contadini¹ и...

— И?

— Италии.

Наступило долгое молчание.

— Скажи мне, Артур,— серьезным тоном спросил Монтанелли, повернувшись к нему,— давно ты стал думать об этом?

¹ Крестьянам (итал.).

- С прошлой зимы.
- Еще до смерти матери? И она ничего не знала?
- Нет. Тогда это еще не захватило меня.
- А теперь?

Артур сорвал еще несколько колокольчиков наперстянки.

— Вот как это случилось, *padre*, — начал он, опустив глаза. — Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и, помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всем этом... Давали читать книги. Но тогда мне было не до того. Меня тянуло домой, к матери. Она была так одинока там, в Ливорно! Ведь это не дом, а тюрьма. Чего стоит язычок Джули! Он один был способен убить ее. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов и книги и, как вы знаете, совсем перестал бывать в Пизе. Если б меня волновали эти вопросы, я бы все рассказал матери. Но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни... Вы знаете, я был безотлучно при ней до самой ее смерти. Часто просиживал у ее постели целые ночи. Днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать. Вот в эти-то длинные ночи я и стал задумываться над прочитанным и над тем, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они... Думал: а что сказал бы обо всем этом Христос?

— Ты обращался к нему? — Голос Монтанелли прозвучал не совсем твердо.

— Да, *padre*, часто. Я молил его наставить меня или дать мне умереть вместе с матерью... Но ответа не получил.

— И ты не поговорил об этом со мной, Артур! А я-то думал, что ты доверяешь мне!

— *Padre*, вы ведь знаете, что доверяю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что тут никто не может помочь — ни вы, ни мать. Я хотел получить ответ от самого бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе.

Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в сумерки, окутавшие магнолию. Они были так густы, что его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей.

— Ну а потом? — медленно проговорил он.

— Потом... она умерла. Последние три ночи я не отходил от нее...

Артур замолчал, но Монтанелли сидел не двигаясь.

— Два дня перед погребением я только о ней и думал,— продолжал Артур совсем тихо.— Потом, после похорон, я заболел и не мог прийти на исповедь. Помните?

— Помню.

— В ту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Там было пусто. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что господь поможет мне. Я упал на колени и ждал — всю ночь. А утром, когда я пришел в себя... Нет, *padre!* Я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел. Я сам едва помню. Но я знаю, что господь ответил мне. И я не смею противиться его воле.

Несколько минут они сидели молча, затем Монтанелли повернулся к Артуру и положил ему руку на плечо.

— Сын мой! — проговорил он.— Я не посмею сказать, что господь не обращался к твоей душе. Но вспомни, в каком ты был состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий призыв господа. Если действительно такова была его воля — ответить тебе, когда смерть посетила твой дом,— смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. Куда зовет тебя твое сердце?

Артур поднялся и ответил торжественно, точно повторя слова катехизиса:

— Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного владельца, кроме Христа!

— Артур, подумай, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец!

— Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю господа.

Снова наступило молчание.

— Ты говоришь, что Христос...— медленно начал Монтанелли.

Но Артур не дал ему договорить.

— Христос сказал: «Потерявший душу ради меня, сбережет ее».

Монтанелли оперся локтем о ветвь магнолии и прикрыл рукой глаза.

— Сядь на минуту, сын мой,— сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, крепко сжал их.

— Сейчас я не могу спорить с тобой,— сказал он.— Все это произошло так внезапно... Мне нужно время, чтобы разобраться. Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном: если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого...

— Padre!

— Не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всем мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять — ты так молод. В твои годы я тоже не понял бы. Артур, ты для меня как... как сын. Понимаешь? Ты свет очей моих, ты радость моего сердца! Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь! Но я бессилен. Я не требую от тебя обещаний. Прошу только: помни, что я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это хотя бы ради меня, если уж не ради твоей покойной матери...

— Хорошо padre, а вы... вы... помолитесь за меня и за Италию.

Артур молча опустился на колени, и так же молча Монтанелли коснулся его склоненной головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошел по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли долго сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту.

«Отмщение господа настигло меня, как царя Давида,— думал он.— Я осквернил его святилище и коснулся тела господня нечистыми руками. Терпение его было велико, но вот ему пришел конец. «Ибо ты содеял это втайне, а я содею перед всем народом Израилевым и перед солнцем; сын, родившийся у тебя, умрет».

ГЛАВА II

Мистеру Джеймсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата «шататься по Швейцарии» вместе с Монтанелли. Но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия, да еще с такой

целью, как занятия ботаникой, он не мог. Артуру, не знаяшему истинных причин отказа, это показалось бы крайним деспотизмом, он приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам, а Бертоны гордились своей веротерпимостью. Все члены их семьи были стойкими протестантами и консерваторами еще с тех давних пор, когда судовладельческая компания «Бертон и сыновья, Лондон — Ливорно» только возникла, а она вела дела больше ста лет.

Бертоны держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть беспристрастным даже по отношению к католикам; и поэтому, когда глава дома, наскучив вдовством, женился на католичке, хорошенькой гувернантке своих младших детей, старшие сыновья, Джеймс и Томас, мрачно покорились воле провидения, хотя им и трудно было мириться с присутствием в доме мачехи, почти их ровесницы.

Со смертью отца трудное положение в семье осложнилось еще больше женитьбой старшего сына. Впрочем, пока Глэдис была жива, оба брата добросовестно старались защищать ее от злого языка Джули и как могли исполняли свой братский долг. Они не любили мальчика и даже не думали этого скрывать. Их отношение к Артуру выражалось главным образом в щедрых денежных подарках и в предоставлении ему полной свободы.

Поэтому в ответ на свое письмо Артур получил чек на покрытие путевых издержек и холодное разрешение провести каникулы, как ему будет угодно. Он истратил часть денег на покупку книг по ботанике и папок для гербария и вскоре двинулся с *padre* в свое первое альпийское путешествие.

Артур давно уже не видел *padre* таким бодрым, как в эти дни. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к Монтанелли мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все более спокойно. «Артур юн и неопытен,— думал Монтанелли.— Его решение не может быть окончательным. Еще не поздно — мягкие увещания, вразумительные доводы сделают свое дело и вернут его с того опасного пути, на который он едва успел ступить».

Они собрались провести несколько дней в Женеве, но стоило только Артуру увидеть ее залитые палящим солнцем улицы и пыльные набережные с толпами туристов,

как он сразу нахмурился. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним.

— Что, сатиго? Тебе здесь не нравится?

— Сам не знаю. Я ждал совсем другого. Озеро, правда, прекрасное, и очертания гор тоже хороши.— Они стояли на острове Руссо, и Артур указывал на длинные строгие контуры Савойских Альп.— Но город! Он такой чопорный, аккуратный, в нем есть что-то... протестантское. У него такой же самодовольный вид. Нет, не нравится он мне, напоминает чем-то Джули.

Монтанелли засмеялся:

— Бедный, вот не повезло тебе! Ну что ж, мы ведь путешествуем ради удовольствия, и нам нет нужды задерживаться здесь. Давай покатаемся сегодня по озеру на парусной лодке, а завтра утром поднимемся в горы.

— Но, *padre*, ведь вы хотели побывать здесь?

— Дорогой мой, я видел все это десятки раз, и если ты получишь удовольствие от нашей поездки, ничего другого мне не надо. Куда бы тебе хотелось отправиться?

— Если вам все равно, давайте двинемся вверх по реке, к истокам.

— Вверх по Роне?

— Нет, по Арве. Она так быстро мчится.

— Тогда едем в Шамони.

Весь дёнь они катались на маленькой парусной лодке. Живописное озеро понравилось юноше гораздо меньше, чем серая и мутная Арва. Он вырос близ Средиземного моря и привык к голубой зыби волн. Но быстрые реки всегда влекли Артура, и этот стремительный поток, несшийся с ледников, привел его в восхищение.

— Вот это река! — говорил он.— Такая серьезная!

На другой день рано утром они отправились в Шамони. Пока дорога бежала плодородной долиной, Артур был в очень веселом настроении. Но вот близ Клюза им пришлось свернуть на извилистую тропинку. Большие зубчатые горы охватили их тесным кольцом. Артур стал серьезен и молчалив. От Сен-Мартена двинулись пешком по долине, останавливались на ночлег в придорожных шале¹ или в маленьких горных деревушках и снова шли дальше, куда хотелось. Природа производила на Артура огромное впечатление, а первый водопад, встре-

¹ Шале — домик.

тившийся им на пути, привел его в такой восторг, что Монтанелли залюбовался им. Но по мере того как они подходили к снежным вершинам, восхищение Артура сменялось какой-то восторженной мечтательностью, новой для Монтанелли. Казалось, между юношей и горами существовало тайное родство. Он готов был часами лежать неподвижно среди темных, гулко шумевших сосен, лежать и смотреть меж прямых высоких стволов на залиный солнцем мир сверкающих горных пиков и нагих утесов. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью.

— Хотел бы я знать, *сагио*, что ты там видишь, — сказал он однажды, переведя взгляд от книги на Артура, который вот уже больше часа лежал на мшистой земле и не сводил широко открытых глаз с блистающих в вышине гор и голубого простора над ними.

Решив переночевать в тихой деревушке неподалеку от водопада Диоза, они свернули к вечеру с дороги и поднялись на поросшую соснами гору полюбоваться оттуда закатом над пиками и вершиной Монблана. Артур поднял голову и как зачарованный посмотрел на Монтанелли.

— Что я вижу, *падре*? Словно сквозь темный кристалл я вижу в этой голубой пустыне без начала и конца величественное существо в белых одеждах. Век за веком оно ждет озарения духом божиим.

Монтанелли вздохнул.

— И меня когда-то посещали такие видения.

— А теперь?

— Теперь нет. Больше этого уже не будет. Они не исчезли, я знаю, но глаза мои закрыты для них. Я вижу совсем другое.

— Что же вы видите?

— Что я вижу, *сагио*? В вышине я вижу голубое небо и снежную вершину, но вон там глазам моим открывается нечто иное.— Он показал вниз, на долину.

Артур стал на колени и нагнулся над краем пропасти. Огромные сосны, окутанные вечерними сумерками, стояли, словно часовые, вдоль узких речных берегов. Прошла минута — солнце, красное, как раскаленный уголь, спряталось за зубчатый утес, и все вокруг потухло. Что-то темное, грозное надвинулось на долину. Отвесные скалы на западе торчали в небе, точно клыки ка-

кого-то чудовища, которое вот-вот бросится на свою жертву и унесет ее вниз, в разверстую пасть пропасти, где лес глухо стонал на ветру. Высокие сосны острыми ножами поднимались ввысь, шепча чуть слышно: «Упади на нас!» Горный поток бурлил и клокотал во тьме, в неизбывном отчаянии кидаясь на каменные стены своей тюрьмы.

— Padre! — Артур встал и, вздрогнув, отшатнулся от края бездны.— Это похоже на преисподнюю!

— Нет, сын мой,— тихо проговорил Монтанелли,— это похоже на человеческую душу.

— На души тех, кто бродит во тьме и кого смерть осеняет своим крылом?

— На души тех, с кем ты ежедневно встречаешься на улицах.

Артур, поеживаясь, смотрел вниз, в темноту. Белесый туман плыл среди сосен, медля над бушующим потоком, точно печальный призрак, не властный вымолвить ни слова утешения.

— Смотрите! — вдруг сказал Артур.— Люди, что бродили во тьме, увидели свет!

Вечерняя заря зажгла снежные вершины на востоке. Но вот, лишь только ее красноватые отблески потухли, Монтанелли повернулся к Артуру и тронул его за плечо.

— Пойдем, carino. Уже стемнело, как бы нам не заблудиться.

— Этот утес — словно мертвец,— сказал юноша, отводя глаза от поблескивавшего вдали снежного пика.

Осторожно спустившись между темными деревьями, они пошли на ночевку в шале.

Войдя в комнату, где Артур поджидал его к ужину, Монтанелли увидел, что юноша забыл о своих недавних мрачных видениях и словно преобразился.

— Padre, идите сюда! Посмотрите на эту потешную собачонку! Она танцует на задних лапках.

Он был так же увлечен собакой и ее прыжками, как час назад зреющим альпийского заката. Хозяйка шале, краснощекая женщина в белом переднике, стояла, уперев в бока полные руки, и улыбалась, глядя на возню Артура с собакой.

— Видно, у него не очень-то много забот, если так заигрался,— сказала она своей дочери на местном наречии.— А какой красавчик!

Артур покраснел, как школьница, а женщина, заметив, что ее поняли, ушла, смеясь над его смущением.

За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок в горы, о восхождении на вершины, о сборе трав. Причудливые образы, встававшие перед ним так недавно, не повлияли, видимо, ни на его настроение, ни на аппетит.

Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Он отправился еще до рассвета высоко в горы «помочь Гаспару выгнать коз на пастбище».

Однако не успели подать завтрак, как юноша вбежал в комнату без шляпы, с большим букетом полевых цветов. На плече у него сидела девочка лет трех.

Монтанелли поднял на него глаза и улыбнулся. Какой разительный контраст с тем серьезным, молчаливым Артуром, которого он знал в Пизе и Ливорно!

— Где ты был, сумасброд? Бегал по горам, не по завтракав?

— Ах, *padre*, как там хорошо! Восход солнца в горах! Сколько в этом величия! А какая сильная роса! Взгляните.— Он поднял ногу в мокром, грязном башмаке.— У нас было немного хлеба и сыра, а на пастбище мы выпили козьего молока... Ужасная гадость! Но я опять проголодался и вот этой маленькой персоне тоже надо поесть... Аннет, хочешь меду?

Он сидел, посадив девочку к себе на колени, и помогал ей разбирать цветы.

— Нет, нет! — запротестовал Монтанелли.— Так ты можешь простудиться. Сбегай переоденься... Иди сюда, Аннет... Где ты подобрал ее, Артур?

— В верхнем конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник. Посмотрите, какие у Аннет чудесные глаза! А в кармане у нее живая черепаха, по имени Каролина.

Когда Артур, сменив мокрые чулки, сошел вниз завтракать, девочка сидела на коленях у *padre* и без умолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухлой ручке, чтобы «*monsieur*»¹ мог посмотреть, как шевелятся у нее лапки.

— Поглядите, *monsieur*! — серьезным тоном проговорила она на не совсем понятном местном наречии.— Поглядите, какие у Каролины башмачки!

¹ Господин (франц.).

Монтанелли, забавляя малютку, гладил ее по голове, любовался ее любимицей черепахой и рассказывал чудесные сказки. Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы у важного господина в духовном одеянии.

— Бог помогает младенцам распознавать хороших людей,— сказала она.— Аннет боится чужих, а сейчас, смотрите, она совсем не дичится его преподобия. Вот чудо! Аннет, стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина. Это принесет тебе счастье...

— Я и не подозревал, *padre*, что вы умеете играть с детьми,— сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитому солнцем пастищу.— Ребенок просто не отрывал от вас глаз. Знаете, я...

— Что?

— Я только хотел сказать... как жаль, что церковь запрещает священникам жениться. Я не совсем понимаю, почему. Ведь воспитание детей — такое серьезное дело! Как важно, чтобы с самого рождения они были в хороших руках. Мне кажется, чем выше призвание человека, чем чище его жизнь, тем больше он пригоден к роли отца. *Padre*, я уверен, что если бы не ваш обет... если бы вы женились, ваши дети были бы...

— Замолчи!

Это слово, произнесенное торопливым шепотом, казалось, углубило наступившее потом молчание.

— *Padre*,— снова начал Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли,— разве в этом есть что-нибудь дурное? Может быть, я ошибаюсь, но я говорю то, что думаю.

— Ты не совсем ясно отдаешь себе отчет в значении своих слов,— мягко ответил Монтанелли.— Пройдет несколько лет, и ты поймешь многое. А сейчас давай поговорим о чем-нибудь другом.

Это было первым нарушением того полного согласия, которое установилось между ними за время каникул.

Из Шамони Монтанелли и Артур поднялись на Тэт-Нуар и в Мартини остановились на отдых, так как дни стояли удушливо-жаркие. После обеда они перешли на защищенную от солнца террасу отеля, с которой открывался чудесный вид на горы. Артур принес ботанизирку и начал с Монтанелли серьезную беседу о ботанике. Они говорили по-итальянски.

На террасе сидели двое художников-англичан. Один делал набросок с натуры, другой лениво болтал. Ему не приходило в голову, что незнакомцы могут понимать по-английски.

— Брось свою пачкотню, Вилли,— сказал он.— Нарисуй лучше вот этого восхитительного итальянского юношу, восторгающегося папоротниками. Ты посмотри, какие у него брови! Замени лупу в его руках распятием, надень на него римскую тогу вместо коротких штанов и куртки — и перед тобой законченный тип христианина первых веков.

— Какой там христианин! Я сидел возле него за обедом. Он восторгался жареной курицей не меньше, чем этой травой. Что и говорить, юноша очень мил, у него такой чудесный оливковый цвет лица. Но его отец гораздо живописнее.

— Его — кто?

— Его отец, что сидит прямо перед тобой. Неужели ты не заинтересовался им? Какое у него прекрасное лицо!

— Эх ты, безмозглый методист! Не признал католического священника!

— Священника? А ведь верно! Черт возьми! Я и забыл: обет целомудрия и все такое прочее... Что ж, раз так, будем снисходительны и предположим, что этот юноша — его племянник.

— Вот ослы! — прошептал Артур, подняв на Монтанелли смеющиеся глаза.— Тем не менее с их стороны очень любезно находить во мне сходство с вами. Мне бы хотелось и в самом деле быть вашим племянником... Padre, что с вами? Как вы побледнели!

Монтанелли встал и приложил руку ко лбу.

— У меня закружилась голова,— произнес он глухим, слабым голосом.— Должно быть, я сегодня слишком долго был на солнце. Пойду прилягу, сагио. Это от жары.

Проведя две недели у Люцернского озера, Артур и Монтанелли возвращались в Италию через Сен-Готардский перевал. Погода благоприятствовала им, и они совершили не одну интересную экскурсию, но та радость, которая сопутствовала каждому их шагу в первые дни,

исчезла. Монтанелли преследовала тревожная мысль о необходимости серьезно поговорить с Артуром, что, казалось, легче всего было сделать во время каникул. В долине Арвы он намеренно избегал касаться той темы, которую они обсуждали в саду, под магнолией. Было бы жестоко, думал Монтанелли, омрачать таким тяжелым разговором первые радости, которые дает артистической натуре юноши альпийская природа. Но с того дня в Мартины он повторял себе каждое утро: «Сегодня я поговорю с ним», и каждый вечер: «Нет, лучше завтра». Каникулы уже подходили к концу, а он все повторял: «Завтра, завтра». Его удерживало смутное, пронизывающее холодком чувство, что отношения их уже не те,— словно какая-то завеса отделила его от Артура. Лишь в последний вечер каникул он внезапно понял, что если говорить, то только сегодня. Они остались ночевать в Лугано, а на следующее утро должны были выехать в Пизу. Монтанелли хотелось выяснить хотя бы, как далеко его любимец завлечен в роковые зыбучие пески итальянской политики.

— Дождь перестал, *saiò*, — сказал он после захода солнца.— Сейчас единственное время, когда можно посмотреть озеро. Пойдем, мне нужно поговорить с тобой.

Они прошли вдоль берега к тихому, единственному месту и уселись на низкой каменной стене. Около нее рос куст шиповника, покрытый алыми ягодами. Несколько запоздалых белых розочек, отягченных дождевыми каплями, грустно покачивались на верхней ветке. По зеленой глади озера скользила маленькая лодка с легким белым парусом, слабо колыхавшимся на влажном ветерке. Лодка казалась легкой и хрупкой, словно серебристый, брошенный в воду одуванчик. Высоко, на Монте Сальваторе, как золотой глаз, сверкнуло окно одинокой пастушьей хижины. Розы опустили головки, задремав под облачным сентябрьским небом; вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни.

— Только сейчас я могу спокойно поговорить с тобой,— начал Монтанелли.— Ты вернешься к своим занятиям, к своим друзьям, да и я эту зиму буду очень занят. Мне хочется выяснить наши отношения, и если ты...

Он помолчал минуту, а потом снова медленно заговорил:

— ...и если ты чувствуешь, что можешь доверять мне по-прежнему, то скажи откровенно — не так, как тогда в саду семинарии,— далеко ли ты зашел...

Артур смотрел на водную рябь, спокойно слушал и молчал.

— Я хочу знать, если только ты можешь ответить мне,— продолжал Монтанелли,— связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе.

— Мне нечего сказать вам, дорогой *padre*. Я не связал себя ничем, и все-таки я связан.

— Не понимаю...

— Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея,— это все. А иначе вас ничто не свяжет.

— Значит, это... это не может измениться? Артур, понимаешь ли ты, что говоришь?

Артур повернулся и посмотрел Монтанелли прямо в глаза.

— *Padre*, вы спрашивали, доверяю ли я вам. А есть ли у вас доверие ко мне? Ведь если бы мне было что сказать, я бы вам сказал. Но о таких вещах нет смысла говорить. Я не забыл ваших слов и никогда не забуду. Но я должен идти своей дорогой, идти к тому свету, который я вижу впереди.

Монтанелли сорвал розочку с куста, оборвал лепестки и бросил их в воду.

— Ты прав, *cagino*. Довольно, не будем больше говорить об этом. Все равно словами не поможешь... Что ж... пойдем.

ГЛАВА III

Осень и зима миновали без всяких событий. Артур прилежно занимался, и у него оставалось мало свободного времени. Все же раз, а то и два раза в неделю он улучал минутку, чтобы заглянуть к Монтанелли. Иногда он заходил к нему с книгой за разъяснением какого-нибудь трудного места, и в таких случаях разговор шел только об этом. Чувствуя вставшую между ними почти неосозаемую преграду, Монтанелли избегал всего, что могло показаться попыткой с его стороны восстановить прежнюю близость. Посещения Артура доставляли ему теперь больше горечи, чем радости. Трудно было выдер-

живать постоянное напряжение, казаться спокойным и вести себя так, словно ничего не изменилось. Артур тоже замечал некоторую перемену в обращении *padre* и, понимая, что она связана с тяжким вопросом о его «новых идеях», избегал всякого упоминания об этой теме, владевшей непрестанно его мыслями. И все-таки Артур никогда не любил Монтанелли так горячо, как теперь. От смутного, но неотвязного чувства неудовлетворенности и душевной пустоты, которое он с таким трудом пытался заглушить изучением богословия и соблюдением обрядов католической церкви, при первом же знакомстве его с «Молодой Италией» не осталось и следа. Исчезла нездоровая мечтательность, порожденная одиночеством и бодрствованием у постели умирающей, не стало сомнений, спасаясь от которых он прибегал к молитве. Вместе с новым увлечением, с новым, более ясным восприятием религии (ибо в студенческом движении Артур видел не столько политическую, сколько религиозную основу) к нему пришло чувство покоя, душевой полноты, умиротворенности и расположения к людям. И в этом состоянии возвышенного, проникновенного восторга весь мир озарился для него новым светом. Он находил новые, достойные любви стороны в людях, неприятных ему раньше, а Монтанелли, который в течение пяти лет был для него идеалом, представлялся ему теперь грядущим пророком новой веры, с новым сиянием на челе. Он страстно вслушивался в проповеди *padre*, стараясь уловить в них следы внутреннего родства с республиканскими идеями; подолгу размышлял над евангелием и радовался демократическому духу христианства в дни его возникновения.

В один из январских дней Артур зашел в семинарию вернуть взятую им книгу. Узнав, что отец ректор вышел, он поднялся в кабинет Монтанелли, поставил том на полку и хотел уже идти, как вдруг внимание его привлекла книга, лежавшая на столе. Это было сочинение Данте «De Monarchia». Артур начал читать книгу и скоро так увлекся, что не услышал, как отворилась и снова затворилась дверь. Он оторвался от чтения только тогда, когда за его спиной раздался голос Монтанелли.

— Вот не ждал тебя сегодня! — сказал *padre*, взглянув на заголовок книги.— Я только что собирался послать к тебе справиться, не придешь ли ты вечером.

— Что-нибудь важное? Я занят сегодня, но если...

— Нет, можно и завтра. Мне хотелось видеть тебя — я уезжаю во вторник. Меня вызывают в Рим.

— В Рим? Надолго?

— В письме говорится, что до конца пасхи. Оно из Ватикана. Я хотел сразу дать тебе знать, но все время был занят то делами семинарии, то приготовлениями к приезду нового ректора.

— Padre, я надеюсь, вы не покинете семинарии?

— Придется. Но я, вероятно, еще приеду в Пизу. По крайней мере на время.

— Но почему вы уходите из семинарии?

— Видишь ли... Это еще не объявлено официально, но мне предлагают епископство.

— Padre! Где?

— Для этого мне и надо ехать в Рим. Еще не решено, получу ли я епархию в Апенинах или останусь викарием здесь.

— А новый ректор уже назначен?

— Да, отец Карди. Он приедет завтра.

— Как все это неожиданно!

— Да... решения Ватикана часто объявляются в самую последнюю минуту.

— Вы знакомы с новым ректором?

— Лично незнаком, но его очень хвалят. Монсеньор Беллони пишет, что это человек очень образованный.

— Ваш уход — большая потеря для семинарии.

— Не знаю, как семинария, но ты, caro, будешь чувствовать мое отсутствие. Может быть, почти так же, как я твое.

— Да, да! И все-таки я радуюсь за вас.

— Радуешься? А я не знаю, радоваться ли мне.

Монтанелли сел к столу, и вид у него был удрученный, такой удрученный, какого не бывает у человека, ожидающего высокого назначения.

— Ты занят сегодня днем, Артур? — начал он после минутной паузы. — Если нет, останься со мной, раз ты не можешь зайти вечером. Мне что-то не по себе. Я хочу как можно дольше побывать с тобой до отъезда.

— Хорошо, только в шесть часов я должен быть...

— На каком-нибудь собрании?

Артур кивнул, и Монтанелли быстро переменил тему разговора.

— Я хотел поговорить о твоих делах,— начал он.— В мое отсутствие тебе будет нужен другой духовник.

— Но когда вы вернетесь, мне ведь можно будет исповедоваться у вас?

— Дорогой мой, что за вопрос! Я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня здесь не будет. Согласен ты взять в духовники кого-нибудь из отцов Санта-Катарины?

— Согласен.

Они поговорили немного о других делаах. Артур поднялся.

— Мне пора. Студенты будут ждать меня.

Мрачная тень снова пробежала по лицу Монтанелли.

— Уже? А я только начал отвлекаться от своих черных мыслей. Ну что ж, прощай!

— Прощайте. Завтра я опять приду.

— Приходи пораньше, чтобы я успел повидаться с тобой. Завтра приезжает отец Карди... Артур, дорогой мой, прошу тебя, будь осторожен, не совершай необдуманных поступков, по крайней мере до моего возвращения. Ты не можешь себе представить, как я боюсь оставлять тебя одного!

— Напрасно, padre. Сейчас все совершенно спокойно, и так будет еще долгое время.

— Ну, прощай! — отрывисто сказал Монтанелли и склонился над своими бумагами.

Войдя в комнату, где происходило студенческое собрание, Артур прежде всего увидел подругу своих детских игр, дочь доктора Уоррена. Она сидела у окна в углу и внимательно слушала, что говорил ей высокий молодой ломбардец в поношенном костюме — один из инициаторов движения. За последние несколько месяцев она сильно изменилась, развилась и теперь стала совсем взрослой девушкой. Только две толстые черные косы за спиной еще напоминали недавнюю школьницу. На ней было черное платье; голову она закутала черным шарфом, так как в комнате сквозило. На груди у нее была приколота кипарисовая веточка — эмблема «Молодой Италии». Ломбардец с горячностью рассказывал ей о нищете калабрийских крестьян, а она сидела молча и слушала, опершись подбородком на руку и опустив глаза. Артуру показалось, что перед ним предстало грустное видение: Свобода, оплакивающая утраченную Рес-

публику. (Джули увидела бы в ней только не в меру вытянувшуюся девчонку с бледным лицом, некрасивым носом и в старом, слишком коротком платье.)

— Вы здесь, Джим! — сказал Артур, подойдя к ней, когда ломбардца отзвали в другой конец комнаты.

Джим — было ее детское прозвище, уменьшительное от редкого имени Дженифер, данного ей при крещении. Школьные подруги-итальянки звали ее Джеммой.

Она удивленно подняла голову:

— Артур! А я и не знала, что вы входите в организацию.

— И я никак не ожидал встретить вас здесь, Джим! С каких пор вы...

— Да нет... — поспешила заговорила она. — Я еще не состою в организации. Мне только удалось исполнить два-три маленьких поручения. Я познакомилась с Бини. Вы знаете Карло Бини?

— Да, конечно.

Бини был руководителем ливорнской группы, и его знала вся «Молодая Италия».

— Так вот, Бини завел со мной разговор об этих делах. Я попросила его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. На днях он написал мне во Флоренцию... Вы знаете, что я была на рождестве во Флоренции?

— Нет, мне теперь редко пишут из дома.

— Да, понимаю... Так вот, я уехала погостить к Райтам. (Райты были ее школьные подруги, переехавшие во Флоренцию.) Бини написал мне, чтобы я по пути домой заехала в Пизу и пришла сюда... Ну, сейчас начнут...

В докладе говорилось об идеальной республике и о том, что молодежь обязана готовить себя к ней. Мысли докладчика были несколько туманны, но Артур слушал его с благоговейным восторгом. В этот период своей жизни он принимал все на веру и впитывал новые нравственные идеалы, не задумываясь, насколько они приемлемы для него.

Когда доклад и последовавшие за ним продолжительные прения кончились и студенты стали расходиться, Артур подошел к Джемме, которая все еще сидела в углу.

— Я провожу вас, Джим. Где вы остановились?

— У Марьетты.

— У старой экономки вашего отца?

— Да, она живет довольно далеко отсюда.

Некоторое время они шли молча. Потом Артур вдруг спросил:

— Сколько вам лет — семнадцать?

— Минуло семнадцать в октябре.

— Я всегда знал, что вы, когда вырастете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и тому подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах!

— То же самое я думала о вас.

— Вы говорили, что Бини давал вам какие-то поручения. А я даже не знал, что вы с ним знакомы.

— Я делала это не для Бини, а для другого.

— Для кого?

— Для того, кто разговаривал со мной сегодня,— для Боллы.

— Вы его хорошо знаете?

В голосе Артура прозвучали ревнивые нотки. Ему был неприятен этот человек. Они соперничали в одном деле, которое комитет «Молодой Италии» в конце концов доверил Болле, считая Артура слишком молодым и неопытным.

— Я знаю его довольно хорошо. Он мне очень нравится. Он жил в Ливорно.

— Знаю... Он уехал туда в ноябре.

— Да, в это время там ждали прибытия пароходов. Как вы думаете, Артур, не надежнее ли ваш дом для такого рода дел? Никому и в голову не придет подозревать семейство богатых судовладельцев. Кроме того, вы всех знаете в доках.

— Тише! Не так громко, дорогая! Значит, литература, присланная из Марселя, хранилась у вас?

— Только один день... Но, может быть, мне не следовало говорить вам об этом?

— Почему? Вы ведь знаете, что я член организации. Джемма, дорогая, как я был бы счастлив, если б к нам присоединились вы и... *padre*!

— Ваш *padre*? Разве он...

— Нет, убеждения у него иные. Но мне думалось иногда... Я надеялся...

— Артур, но ведь он священник!

— Так что же? В нашей организации есть и священ-

ники. Двое из них пишут в газете¹. Да и что тут такого? Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам и целям, а разве не к этому мы стремимся. В конце концов это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди хотят стать свободными и сознательными гражданами, никто не сможет удержать их в рабстве.

Джемма нахмурилась:

— Мне кажется, Артур, что у вас тут немножко хромает логика. Священник проповедует религиозную догму. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев.

— Священник — проповедник христианства, а Христос был величайшим революционером.

— Знаете, я говорила о священниках с моим отцом, и он...

— Джемма, ваш отец протестант.

После минутного молчания она смело взглянула ему в глаза.

— Давайте лучше прекратим этот разговор. Вы всегда становитесь нетерпимым, как только речь заходит о протестантах.

— Зачем обвинять меня в нетерпимости? Нетерпимость проявляют обычно протестанты, когда говорят о католиках.

— Ну конечно! Однако мы уже слишком много спорили об этом, не стоит начинать снова... Как вам понравился сегодняшний доклад?

— Очень понравился, особенно последняя часть. Как хорошо, что он так решительно говорил о необходимости жить согласно идеалам республики, а не только мечтать о ней! Это соответствует учению Христа: «Царство божие внутри нас».

— А мне как раз не понравилась эта часть. Он так много говорил о том, что мы должны думать, чувствовать, какими мы должны быть, но не указал никаких практических путей, не говорил о том, что мы должны делать.

— Наступит время, и у нас будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перевороты не совершаются в один день.

¹ То есть в газете «Молодая Италия».

— Тем больше оснований браться за дело сейчас же. Вы говорите, что нужно подготовить себя к свободе. Но кто был лучше подготовлен к ней, как не ваша матушка? Разве не ангельская была у нее душа? А к чему привела вся ее доброта? Она была рабой до последнего дня своей жизни. Сколько придиrok, сколько оскорблений она вынесла от вашего брата Джеймса и его жены! Не будь у нее такого мягкого сердца и такого терпения, ей бы легче жилось, с ней не посмели бы плохо обращаться. Так и с Италией: не терпение ей нужно, а открытая борьба за нее!

— Джим, дорогая, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь.

Кровь прилила к его лицу и вновь отхлынула, когда он произнес последнее слово. Джемма не заметила этого — она смотрела прямо перед собой. Ее брови были сдвинуты, губы крепко сжаты.

— Вам кажется, что я не права, Артур,— сказала она после небольшой паузы.—Нет, правда на моей стороне. И когда-нибудь вы поймете это... Вот и дом Марьетты. Зайдете, может быть?

— Нет, уже поздно. Покойной ночи, дорогая!

Он стоял возле двери, крепко сжимая ее руку в своих.

— «Во имя бога и народа...»

И Джемма медленно, торжественно досказала девиз:

— «...ныне и во веки веков».

Потом отняла свою руку и вбежала в дом. Когда дверь за ней захлопнулась, он нагнулся и поднял кипарисовую веточку, упавшую с ее груди.

ГЛАВА IV

Артур вернулся домой словно на крыльях. Он был счастлив, безоблачно счастлив. На собрании намекали на подготовку к вооруженному восстанию. Джемма была теперь его товарищем, и он любил ее. Они вместе будут работать, а может быть, даже вместе умрут в борьбе за грядущую республику. Вот она, весенняя пора их надежд! Padre увидит это и поверит в их дело.

Впрочем, на другой день Артур проснулся в более спокойном настроении. Он вспомнил, что Джемма собирается ехать в Ливорно, а *padre* — в Рим. Январь, февраль, март — три долгих месяца до пасхи! Чего доброго, Джемма, вернувшись к своим, подпадет под протестантское влияние (на языке Артура слова «протестант» и «филистер» были тождественны по смыслу). Нет, Джемма никогда не будет флиртовать, кокетничать и охотиться за туристами и лысыми судовладельцами, как другие английские девушки в Ливорно: Джемма совсем другая. Но она, вероятно, очень несчастна. Такая молодая, без друзей, и как ей, должно быть, одиноко среди всей этой чопорной публики... О, если бы его мать была жива!

Вечером он зашел в семинарию и застал Монтанелли за беседой с новым ректором. Вид у него был усталый, недовольный. Увидев Артура, *padre* не только не обрадовался, как обычно, но еще более помрачнел.

— Вот тот студент, о котором я вам говорил,— сухо сказал Монтанелли, представляя Артура новому ректору.— Буду вам очень обязан, если вы разрешите ему пользоваться библиотекой и впредь.

Отец Карди — пожилой, благодушного вида священник — сразу же заговорил с Артуром об университете. Свободный, непринужденный тон его показывал, что он хорошо знаком с жизнью студенчества. Разговор быстро перешел на слишком строгие порядки в университете — весьма злободневный вопрос. К великой радости Артура, новый ректор резко критиковал университетское начальство за те бессмысленные ограничения, которыми оно раздражало студентов.

— У меня большой опыт по воспитанию юношества,— сказал он.— Ни в чем не мешать молодежи без достаточных к тому оснований — вот мое правило. Если с молодежью хорошо обращаться, уважать ее, то редкий юноша доставит старшим большие огорчения. Но ведь и смиренная лошадь станет брыкаться, если постоянно держать поводья.

Артур широко открыл глаза. Он не ожидал найти в новом ректоре защитника студенческих интересов. Монтанелли не принимал участия в разговоре, видимо, не интересуясь этим вопросом. Вид у него был такой усталый, такой подавленный, что отец Карди вдруг сказал:

— Боюсь, я вас утомил, отец каконик. Простите меня за болтливость. Я слишком горячо принимаю к сердцу этот вопрос и забываю, что другим он, может быть, надоел.

— Напротив, меня это очень интересует.

Монтанелли никогда не удавалась показная вежливость, и Артура покоробил его тон.

Когда отец Карди ушел, Монтанелли повернулся к Артуру и посмотрел на него с тем задумчивым, озабоченным выражением, которое весь вечер не сходило с его лица.

— Артур, дорогой мой,— начал он тихо,— мне надо поговорить с тобой.

«Должно быть, он получил какое-нибудь неприятное известие»,— подумал Артур, встревоженно взглянув на осунувшееся лицо Монтанелли.

Наступила долгая пауза.

— Как тебе нравится новый ректор? — спросил вдруг Монтанелли.

Вопрос был настолько неожиданный, что Артур не сразу нашелся, что ответить.

— Мне? Очень нравится... Впрочем, я и сам еще хорошенько не знаю. Трудно распознать человека с первого раза.

Монтанелли сидел, слегка постукивая пальцами по ручке кресла, как он всегда делал, когда его что-нибудь смущало или беспокоило.

— Что касается моей поездки,— снова заговорил он,— то, если ты имеешь что-нибудь против... если ты хочешь, Артур, я напишу в Рим, что не поеду.

— Padre! Но Ватикан...

— Ватикан найдет кого-нибудь другого. Я пошлю им свои извинения.

— Но почему? Я не могу понять.

Монтанелли провел рукой по лбу.

— Я беспокоюсь за тебя. Не могу отделаться от мысли, что... Да и потом в этом нет необходимости...

— А как же с епископством?

— Ах, Артур! Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю...

Он запнулся. Артур не знал, что подумать. Ему никогда не приходилось видеть padre в таком состоянии.

— Я ничего не понимаю... — растерянно проговорил он.— Padre, скажите... скажите прямо, что вас волнует?

— Ничего. Меня просто мучит беспредельный страх. Признайся: тебе грозит опасность?

«Он что-нибудь слышал», — подумал Артур, вспоминая толки о подготовке к восстанию. Но, зная, что разглашать эту тайну нельзя, он ответил вопросом:

— Какая же опасность может мне грозить?

— Не спрашивай меня, а отвечай! — Голос Монтанелли от волнения стал почти резким.— Грозит тебе что-нибудь? Я не хочу знать твои тайны. Скажи мне только это.

— Все мы в руках божьих, padre. Все может случиться. Но у меня нет никаких причин опасаться, что к тому времени, когда вы вернетесь, со мной может что-нибудь произойти.

— Когда я вернусь... Слушай, сагіпо, я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только: останьтесь — и я откажусь от поездки. Никто от этого ничего не потеряет, а за тебя я буду спокойнее.

Такая мнительность была настолько чужда Монтанелли, что Артур с тревогой взглянул на него.

— Padre, вы не здоровы. Вам обязательно нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует, избавиться от бессонницы и головных болей...

— Хорошо,— резко прервал его Монтанелли, словно ему надоел этот разговор.— Завтра я еду с первой почтовой каретой.

Артур в недоумении взглянул на него.

— Вы, кажется, хотели мне что-то сказать? — спросил он.

— Нет, нет, больше ничего... Ничего особенного.

В глазах Монтанелли застыло выражение тревоги, почти страха.

Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашел в библиотеку за книгой и встретился на лестнице с отцом Карди.

— А, мистер Бертон! — воскликнул ректор.— Вас-то мне и нужно. Пожалуйста, зайдите ко мне, я рассчитываю на вашу помощь в одном трудном деле.

Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошел туда с затаенным чувством неприязни. Ему тяжело было видеть, что этот милый его сердцу рабочий кабинет, святилище *padre*, теперь занят другим человеком.

— Я заядлый книжный червь,— сказал ректор.— Первое, за что я принял на новом месте,— это за просмотр библиотеки. Библиотека здесь прекрасная, но мне не совсем понятно, по какой системе составлялся каталог.

— Он не полон. Значительная часть ценных книг поступила недавно.

— Не уделите ли вы мне полчаса, чтобы объяснить систему расстановки книг?

Они вошли в библиотеку, и Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:

— Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота — до понедельника занятия можно отложить. Оставайтесь, поужинаем вместе — все равно я вас задержал. Я совсем один и буду рад собеседнику.

Обращение ректора было так непринужденно и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно свободно. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, давно ли он знает Монтанелли.

— Около семи лет,— ответил Артур.— Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать.

— Ах да! Там он и приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор отец каноник руководил вашим образованием?

— *Padre* начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в университет, он продолжал помогать мне по тем предметам, которые не входили в университетский курс. Он очень хорошо ко мне относится! Вы и представить себе не можете, как хорошо!

— Охотно верю. Этим человеком нельзя не восхищаться: прекрасная, благороднейшая душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в трудные минуты, его несокрушимую веру. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководит такой человек. Я понял из его слов, что вы рано лишились родителей.

— Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, мать — год тому назад.

— Есть у вас братья, сестры?

— Нет, только сводные братья... Но они были уже взрослыми, когда меня еще нянчили.

— Вероятно, у вас было одинокое детство, потому-то вы так и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отсутствия?

— Я думал обратиться к отцам Санта-Катарины, если у них не слишком много исповедующихся.

— Хотите исповедоваться у меня?

Артур удивленно раскрыл глаза.

— Ваше преподобие, конечно, я... я буду очень рад, но только...

— Только ректор духовной семинарии обычно не исповедует мирян? Это верно. Но я знаю, что каноник Монтанелли очень заботится о вас и, если не ошибаюсь, тревожится о вашем благополучии. Я бы тоже тревожился, случись мне расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега печется о вашей душе. Кроме того, сын мой, скажу вам откровенно: вы мне очень нравитесь, и я буду рад помочь вам всем, чем могу.

— Если так, то я, разумеется, буду вам очень признателен.

— В таком случае, вы придете ко мне на исповедь в будущем месяце?.. Прекрасно! А кроме того, заходите ко мне, мой мальчик, как только у вас выдастся свободный вечер.

Незадолго до пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле, небольшом округе, расположенному в Эtrусских Апеннинах. Монтанелли спокойно и непринужденно писал об этом Артуру из Рима; очевидно, его настроение улучшилось. «Ты должен навещать меня каждые каникулы,— писал он,— а я обещаю приезжать в Пизу. Надеюсь видеться с тобой, хоть и не так часто, как мне бы хотелось».

Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье, а не в мрачном, кишащем крысами старом особняке, где теперь безраздельно царила Джули. В письмо была вложена нацарапанная дет-

ским почерком записочка, в которой Джемма тоже просила его приехать к ним, если это возможно. «Мне нужно переговорить с вами кое о чем», — писала она. Еще больше волновали и радовали Артура ходившие между студентами слухи. Все ожидали после пасхи больших событий.

Все это привело Артура в такое восторженное состояние, что все самые невероятные вещи, о которых шептались студенты, казались ему вполне реальными и осуществимыми в течение ближайших двух месяцев.

Он решил поехать домой в четверг на страстной неделе и провести первые дни каникул там, чтобы приезд к Уорренам и радость свидания с Джеммой не нарушили в нем того торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих чад в эти дни. В среду вечером он написал Джемме, что приедет в пасхальный понедельник, и с миром в душе пошел спать.

Он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь долгой и усердной молитвой ему надлежало подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. Стоя на коленях, со сложенными на груди руками и склоненной головой, он вспоминал день за днем весь прошедший месяц и пересчитывал свои маленькие грехи — нетерпение, раздражительность, беспечность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту. Кроме этого, Артур ничего не мог вспомнить: в счастливые дни многое не нагрешишь. Он перекрестился, встал с колен и начал раздеваться.

Когда он расстегнул рубашку, из-под нее выпал клочок бумаги. Это была записка Джеммы, которую он носил целый день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал милые каракули; потом снова сложил листок, вдруг устыдившись своей смешной выходки, и в эту минуту заметил на обороте приписку: «Непременно будьте у нас, и как можно скорее; я хочу познакомить вас с Боллой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе».

Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки:

«Вечно этот Болла! Что ему снова понадобилось в Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными

делами? Уже в январе на собрании легко было догадаться, что Болла влюблен в нее. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле нее, ежедневно занимается с ней...»

Артур отбросил записку в сторону и снова опустился на колени перед распятием. И это — душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, жаждущая мира и с всевышним, и с людьми, и с самим собой. Значит, она способна на низкую ревность и подозрения, способна питать зависть и мелкую злобу, да еще к товарищу! В порыве горького самоуничтожения Артур закрыл лицо руками. Всего пять минут назад он мечтал о мученичестве, а теперь сразу пал до таких недостойных, низких мыслей!..

В четверг Артур вошел в церковь семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя перед исповедью молитву, он сразу заговорил о своем проступке.

— Отец мой, я грешен — грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не причинил мне никакого зла.

Отец Карди отлично понимал, с кем имеет дело. Он мягко сказал:

— Вы не все мне открыли, сын мой.

— Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать.

— Вы связаны с ним кровными узами?

— Еще теснее.

— Что же вас связывает, сын мой?

— Узы товарищества.

— Товарищества? В чем?

— В великой и священной работе.

Последовала небольшая пауза.

— И ваша неприязнь к этому... товарищу, ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе?

— Да... отчасти. Я позавидовал его опыту, его авторитету... И затем... я думал... я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки... которую я люблю.

— А эта девушка, которую вы любите, дочь святой церкви?

— Нет, она протестантка.

— Еретичка?

Артур горестно сжал руки.

— Да, еретичка,— повторил он.— Мы вместе воспитывались. Наши матери были подругами. И я... позавидовал ему, так как понял, что он тоже любит ее... и...

— Сын мой,— медленно, серьезно заговорил отец Карди после минутного молчания,— вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть.

— Отец, я...

Артур запнулся. Исповедник молча ждал.

— Я позавидовал ему потому, что организация... «Молодая Италия», к которой я принадлежу...

— Да?

— Доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне... Я считал себя особенно пригодным для него.

— Какое же это дело?

— Приемка книг с пароходов... политических книг. Их нужно было взять... и спрятать где-нибудь в городе.

— И эту работу организация поручила вашему сопернику?

— Да, Болле... и я позавидовал ему.

— А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к этой миссии, которая была возложена на него?

— Нет, отец. Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и мне бы следовало питать к нему любовь и уважение.

Отец Карди задумался.

— Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару господню. Все блага — дело его рук. И рождение ваше в новую жизнь — от него же. Если вы обрели путь к жертве, нашли дорогу, которая ведет к миру, если вы соединились с любящими вас товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит, то постараитесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это — святое и великое дело, и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себялюбия. Это призвание, так же как и призвание

служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщины, от скоропреходящих страстей. Оно во имя бога и народа, ныне и во веки веков.

— О-о! — Артур вздрогнул и сжал руки.

Он чуть не разрыдался, услыхав знакомый девиз.

— Отец мой, вы даете нам благословение церкви! Христос с нами!

— Сын мой,— торжественно ответил священник.— Христос изгнал менял из храма, ибо дом Его — домом молитвы наречется, а они его сделали вертепом разбойников!

После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:

— И Италия будет храмом его, когда их изгонят...

Он замолчал. В ответ раздался мягкий голос:

— «Земля и все ее богатства — мои»,— сказал господь.

ГЛАВА V

В тот день Артуру захотелось совершить длинную прогулку. Он поручил свои вещи товарищу-студенту, а сам отправился в Ливорно пешком.

День был серый и облачный, но не холодный, и равнина, по которой он шел, казалась ему прекрасной, как никогда. Он испытывал наслаждение, ощущая мягкую влажную траву под ногами, всматриваясь в робкие, изумленные глазки придорожных весенних цветов. На лесной опушке птица свивала гнездо в кусте желтой акации и при его появлении с испуганным криком взвилась в воздух, затрепетав темными крыльшками.

Артур пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канун великой пятницы. Но два образа — Монтанелли и Джеммы — все время мешали его намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к величию и славе грядущего восстания и к той роли, которую он предназначал в нем двум своим кумирам. Padre был в его воображении вождем, апостолом, пророком. Перед его священным гневом исчезнут все темные силы, у его ног юные защитники свободы должны будут съязнова

учиться старой вере и старым истинам в их новом, неизведенном доселе значении.

А Джемма? Джемма будет сражаться на баррикадах. Джемма рождена, чтобы стать героиней. Это верный товарищ. Это та чистая и бесстрашная девушка, о которой мечтало столько поэтов. Джемма станет рядом с ним, плечом к плечу, и они с радостью встретят крылатый вихрь смерти. Они умрут вместе, может, в час победы, ибо победа должна прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви, ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить ее душевный мир и омрачить ее товарищеские чувства. Она святыня, беспорочная жертва, которой суждено быть сожженной на алтаре за свободу народа. И разве он посмеет войти в святая святых души, не знающей иной любви, кроме любви к богу и Италии?

Бог и Италия... Капли дождя упали на его голову, когда он входил в большой мрачный особняк на Дворцовой улице. На лестнице его встретил дворецкий Джули, безукоризненно одетый, спокойный и, как всегда, вежливо-небрежелательный.

— Добрый вечер, Гиббонс. Братья дома?

— Мистер Томас и миссис Бертон дома. Они в гостиной.

Артур с тяжелым чувством вошел в комнаты. Какой тоскливы дом! Поток жизни несся мимо, не задевая его. В нем ничто не менялось: все те же люди, все те же семейные портреты, все та же дорогая безвкусная обстановка и безобразные блюда на стенах, все то же мещанско чванство богатством; все тот же безжизненный отпечаток, лежащий на всем... Даже цветы в бронзовых жардиньеरках казались искусственными, вырезанными из жести, словно в теплые весенние дни в них никогда не бродил молодой сок.

Джули сидела в гостиной, бывшей центром ее существования, и ожидала гостей к обеду. Вечерний туалет, застывшая улыбка, белокурые локоны и комнатная собачка на коленях — ни дать ни взять картинка из модного журнала!

— Здравствуй, Артур! — сказала она сухо, протянув ему на секунду кончики пальцев и перенеся их тотчас же на более приятную на ощупь шелковистую шерсть собачки.— Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься?

Артур произнес первую банальную фразу, которая пришла ему в голову, и погрузился в тягостное молчание. Не внес оживления и приход чванливого Джеймса в обществе пожилого чопорного агента пароходной компании. И когда Гиббонс доложил, что обед подан, Артур встал с легким вздохом облегчения.

— Я не буду сегодня обедать, Джули. Прошу извинить меня, но я пойду к себе.

— Ты слишком строго соблюдаешь пост, друг мой,— сказал Томас.— Я уверен, что это кончится плохо.

— О нет! Спокойной ночи.

В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов утра.

— Синьорино пойдет в церковь?

— Да. Спокойной ночи, Тереза.

Он вошел в свою комнату. Она принадлежала раньше его матери, и альков против окна был превращен в молельню во время ее долгой болезни. Большое распятие на черном пьедестале занимало середину алькова. Перед ним висела лампада. В этой комнате мать умерла. Над постелью висел ее портрет, на столе стояла китайская ваза с букетом фиалок — ее любимых цветов. Минул ровно год со дня смерти синьоры Глэдис, но слуги-итальянцы не забыли ее.

Артур вынул из чемодана тщательно завернутый портрет в рамке. Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли, за несколько дней до того присланный из Рима. Он стал развертывать свое сокровище, но в эту минуту в комнату с подносом в руках вошел мальчик — слуга Джули. Старая кухарка-итальянка, служившая Глэдис до появления в доме новой, строгой хозяйки, уставила этот поднос всякими вкусными вещами, которые, как она полагала, дорогой синьорино мог бы съесть, не нарушая церковных обетов. Артур от всего отказался, за исключением кусочка хлеба, и слуга, племянник Гиббонса, недавно приехавший из Англии, многозначительно ухмыльнулся, уходя с подносом из комнаты. Он уже успел примкнуть к протестантскому лагерю на кухне.

Артур вошел в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя на молитву и набожные размышления. Но ему долго не удавалось это. Он и в самом деле, как сказал Томас,

слишком усердствовал в соблюдении поста. Лишения, которым он себя подвергал, действовали, как крепкое вино. По спине у него пробежала легкая дрожь, распятие поплыло перед глазами, словно в тумане. Он машинально прочел длинную молитву и только после этого вернулся мысленно к тайне искупления. Наконец крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум.

Артур крепко спал, когда в дверь его комнаты кто-то постучал нетерпеливо и громко.

«А, Тереза», — подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок.

Постучали второй раз. Он вздрогнул и проснулся.

— Синьорино! Синьорино! — крикнул мужской голос.— Вставайте, ради бога!

Артур вскочил с кровати.

— Что случилось? Кто там?

— Это я, Джиан Баттиста. Заклинаю вас именем пресвятой девы! Вставайте скорее!

Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное ужасом лицо кучера, но, услышав звук шагов и лязг металла в коридоре, понял все.

— За мной? — спросил он спокойно.

— За вами! Торопитесь, синьорино! Что нужно спрятать? Я могу...

— Мне ничего прятать. Братья знают?

В коридоре, из-за угла, показался первый мундир.

— Синьора разбудили. Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе! И еще в страстную пятницу! Угодники божии, сжальтесь над нами!

Джиан Баттиста разрыдался. Артур сделал несколько шагов навстречу жандармам, которые, громыхая саблями, входили в комнату в сопровождении дрожащих слуг, одетых во что попало. Артура окружили. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он — в туфлях и в халате, она — в длинном пеньюаре и с папильотками.

«Как будто наступает второй потоп и звери, спасаясь, бегут в ковчег! Вот, например, какая забавная пара!» — мелькнуло у Артура при виде этих нелепых фигур, и он

едва удержался от смеха, чувствуя всю неуместность его в такую серьезную минуту.

— Ave, Maria, Regina Coeli¹! — прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть папильоток Джули, вводивших его в искушение.

— Будьте добры объяснить мне, — сказал мистер Бертон, подходя к жандармскому офицеру, — что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придется обратиться к английскому послу, если вы не дадите удовлетворительных объяснений.

— Думаю, что объяснение удовлетворит вас, а английского посла и подавно, — сухо сказал офицер.

Он развернул приказ об аресте студента философского факультета Артура Бертона и вручил его Джеймсу, холодно прибавив:

— Если вам понадобятся дальнейшие объяснения, советую лично обратиться к начальнику полиции.

Джули вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала ее глазами и накинулась на Артура с той грубостью, на какую способна только пришедшая в бешенство благовоспитанная леди.

— Ты опозорил нашу семью! — кричала она. — Теперь вся городская чернь будет глазеть на нас. Вот куда тебя привело твоё благочестие — в тюрьму! Впрочем, чего же было и ждать от сына католички...

— Сударыня, с арестованными на иностранном языке говорить не полагается, — прервал ее офицер.

Но его слова потонули в потоке обвинений, которыми сыпала по-английски Джули:

— Этого надо было ожидать! Пост, молитвы, душеспасительные размышления — и вот что за этим скрывалось. Такой конец был неминуем.

Доктор Уоррен сравнил как-то Джули с салатом, в который повар нечаянно опрокинул флакон уксуса. От ее тонкого, пронзительного голоса у Артура стало кисло во рту, и он сразу вспомнил это сравнение.

— Зачем так говорить! — сказал он. — Вам нечего опасаться неприятностей. Все знают, что вы тут совершенно ни при чем... Я полагаю, — прибавил он, обращаясь к офицеру.

¹ «Радуйся, Мария, царица небесная...» (лат.) — начало католической молитвы.

ясь к жандармам,— вы хотите осмотреть мои вещи? Мне нечего скрывать.

Пока жандармы обыскивали комнату, выдвигали ящики, читали его письма, просматривали университетские записи, Артур сидел на кровати. Он был слегка взволнован, но тревоги не чувствовал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италии», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды. После долгого сопротивления Джули уступила уговорам своего шурина и пошла спать, проплы whole mimo Артура с презрительно-надменным видом. Джеймс покорно последовал за ней.

Когда они вышли, Томас, который все это время шагал взад и вперед по комнате, стараясь казаться равнодушным, подошел к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Тот кивнул вместо ответа, и Томас, подойдя к Артуру, пробормотал хриплым голосом:

— Ужасно неприятная история! Я очень огорчен.

Артур взглянул на него глазами, ясными, как солнечное утро.

— Вы всегда были добры ко мне,— сказал он.— Вам нечего беспокоиться. Мне ничто не угрожает.

— Послушай, Артур! — Томас дернул себя за усы и решил говорить напрямик.— Эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам?.. Если так, то я...

— К денежным делам? Нет, конечно. При чем тут...

— Значит, политические бредни? Я так и думал. Ну что же делать... Не падай духом и не обращай внимания на Джули, ты ведь знаешь, какой у нее язык. Так вот, если нужна будет моя помощь — деньги или еще что-нибудь,— дай мне знать. Хорошо?

Артур молча протянул ему руку, и Томас вышел, напустив на себя равнодушный вид, что придало его лицу еще более вялое выражение.

Тем временем жандармы закончили обыск и офицер предложил Артуру надеть пальто. Артур так и сделал и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг остановился на пороге: ему было тяжело прощаться с молельней матери в присутствии жандармов.

— Вы не могли бы выйти на минуту? — спросил он.— Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего.

— К сожалению, арестованных запрещено оставлять одних.

— Хорошо, пусть так.

Он вошел в альков, преклонил колена и, поцеловав распятие, прошептал:

— Господи, дай мне силы быть верным до конца!

Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.

— Это ваш родственник? — спросил он.

— Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бризигеллы.

На лестнице его ожидали слуги-итальянцы, встревоженные и опечаленные. Артура любили в доме, отдавая дань ему самому и вспоминая, что он сын своей матери, и теперь слуги теснились вокруг него, горестно целуя ему руки и платье. Джиан Баттиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие еще более подчеркивало преданность и любовь слуг, и Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки:

— Прощай, Джиан Баттиста, поцелуй своих малышей! Прощайте, Тереза! Молитесь за меня все, и да хранит вас бог! Прощайте, прощайте...

Он быстро сбежал с лестницы. Прошла минута, и карета отъехала, провожаемая безмолвными взглядами мужчин и рыданиями женщин.

ГЛАВА VI

Артур был заключен в огромную средневековую крепость, стоявшую у самой гавани. Тюремная жизнь оказалась довольно сносной. Камера у Артура была сырая, темная, но он вырос в старом особняке на Виа-Борра, и, следовательно, духота, смрад и крысы были ему не в диковинку. Кормили в тюрьме скучно и плохо, но Джеймс вскоре добился разрешения посыпать брату все необходимое из дома. Артура держали в одиночной камере, и хотя надзор был не так строг, как он ожидал, все-таки объяснение причины своего ареста ему не удалось получить. Тем не менее его не покинуло то душев-

ное спокойствие, с каким он вошел в крепость. Ему не разрешали читать, и все время он проводил в молитве и благочестивых размышлениях, терпеливо ожидая дальнейших событий.

Однажды утром часовой отпер дверь камеры и сказал:

— Пожалуйте!

После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещается», — Артур покорился и пошел за солдатом по лабиринту пропитанных сыростью дворов, коридоров и лестниц. Наконец его ввели в большую светлую комнату, где у длинного стола, крытого зеленым сукном и заваленного бумагами, лениво переговариваясь, сидели трое военных. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с седыми бакенбардами, указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному допросу.

Артур ожидал угроз, оскорблений, бранни и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник держался чопорно, по-казенному сухо, но с безукоризненной вежливостью. Последовали обычные вопросы: имя, возраст, национальность, общественное положение; ответы записывались один за другим. Артур уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:

— Ну, а теперь, мистер Бертон, что вам известно о «Молодой Италии»?

— Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.

— Вы читали эту газету?

— Да. Я интересовался этим вопросом.

— А когда вы читали ее, приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?

— Конечно.

— Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате?

— Этого я не могу вам сказать.

— Мистер Бертон, здесь нельзя говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы.

— В таком случае — не хочу, поскольку «не могу» вам не нравится.

— Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом,— заметил полковник. Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Могу еще прибавить, что, по имеющимся у нас сведениям, ваша связь с этим обществом была гораздо ближе — она заключалась не только в чтении запрещенной литературы. Вам же будет лучше, если вы откровенно сознаетесь во всем. Так или иначе, мы узнаем правду, и вы убедитесь, что выграживать себя и запираться бесполезно.

— У меня нет никакого желания выграживать себя. Что вы хотите знать?

— Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дела?

— Я много думал об этих вопросах, много об этом читал и пришел к определенным выводам.

— Кто убедил вас присоединиться к этому обществу?

— Никто. Это было моим личным желанием.

— Вы меня дурачите! — резко сказал полковник. Терпение, очевидно, начинало изменять ему.— К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Кому вы говорили о том, что хотите стать членом этой организации?

Молчание.

— Будьте любезны ответить.

— На такие вопросы я не стану отвечать.

В голосе Артура послышались угрюмые нотки. Какое-то странное раздражение овладело им. Он уже знал об арестах, произведенных в Ливорно и Пизе, хотя и не представлял себе истинных масштабов разгрома. Но и того, что дошло до него, было достаточно, чтобы вызвать в нем лихорадочную тревогу за участь Джеммы и остальных друзей. Притворная вежливость офицера, этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы беспокоили и злили его, а тяжелые шаги часового за дверью действовали ему на нервы.

— Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Боллой? — спросил полковник после очередного обмена репликами.— Перед вашим отъездом из Пизы?

— Это имя мне не знакомо.

— Как! Джованни Болла? Вы его прекрасно знаете. Молодой человек высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету.

— Я знаком далеко не со всеми студентами.

— Боллу вы должны знать. Посмотрите: вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает.

И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стояло: «Протокол», а внизу была подпись: «Джованни Болла». Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза.

— Вы хотите, чтобы я прочел это? — спросил он.

— Что ж, читайте. Это касается вас.

Артур начал читать, а офицеры молча наблюдали за выражением его лица. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. Очевидно, Болла тоже арестован! Первые показания были самые обычные. Затем следовал краткий отчет о связях Боллы с обществом, о распространении в Ливорно запрещенной литературы и о студенческих собраниях. А дальше Артур прочел: «В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин, по имени Артур Бертон, из семьи богатых ливорнских судовладельцев».

Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его! Болла, который принял на себя высокую обязанность руководителя, Болла, который завербовал Джемму... и был влюблен в нее! Он положил бумагу на стол и опустил глаза.

— Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память? — вежливо осведомился полковник.

Артур покачал головой.

— Это имя мне не знакомо, — хмуро, сурово повторил он. — Тут, вероятно, какая-то ошибка.

— Ошибка? Вздор! Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донкихотство — прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте: стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность из-за человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас.

Что-то вроде насмешки послышалось в голосе полковника. Артур вздрогнул, внезапная догадка блеснула у него в голове.

— Это ложь! Вы совершили подлог. Я вижу это по вашему лицу! — крикнул он.— Вы хотите уличить кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне! Обманщик, лгун, подлец...

— Молчать!—закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула.

Его коллеги были уже на ногах.

— Капитан Томмаси,— сказал полковник, обращаясь к одному из них,— вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке, его нужно образумить.

Карцер был темной, грязной дырой в подземелье. Вместо того чтобы «образумить» Артура, он довел его до последней степени раздражения. Богатый дом, где он вырос, воспитал в нем крайнюю требовательность ко всему, что касалось чистоплотности, и оскорбленный полковник вполне мог бы удовлетвориться первым впечатлением, которое произвели на Артура липкие, покрытые плесенью стены, заваленный кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасное зловоние, распространявшееся от сточных труб и прогнившего дерева. Артура втолкнули в эту конуру и заперли за ним дверь; он осторожно шагнул вперед и, вытянув руки, содрогаясь от отвращения, когда пальцы его касались скользких стен, на ощупь отыскал в потемках место на полу, где было меньше грязи.

Он провел целый день в непроглядном мраке и в полной тишине; ночь не принесла никаких перемен. Лишенный внешних впечатлений, он постепенно терял представление о времени. И когда на следующее утро в замке щелкнул ключ и перепуганные крысы с писком прошмыгнули мимо его ног, он вскочил в ужасе. Сердце его отчаянно билось, в ушах стоял шум, словно он был лишен света и звуков долгие месяцы, а не одни лишь сутки.

Дверь отворилась, пропуская в камеру слабый свет фонаря, показавшийся Артуру ослепительным. Старший надзиратель принес кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул вперед. Он был уверен, что это пришли за ним, что сейчас его выпустят. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель сунул ему хлеб и воду, повернулся и молча вышел, снова заперев за собой дверь.

Артур топнул ногой. Впервые в жизни он почувствовал ярость. С каждым часом он все больше и больше утрачивал представление о месте и времени. Темнота казалась ему безграничной, без начала и конца. Жизнь как будто остановилась. На третий день вечером, когда в карцере снова появился надзиратель, теперь уже в сопровождении конвоира, Артур растерянно посмотрел на них, защитив глаза от непривычного света и тщетно стараясь подсчитать, сколько часов, дней или недель он пробыл в этой могиле.

— Пожалуйте,—холодным, деловым тоном произнес надзиратель.

Артур машинально побрел за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, как пьяный. Он отстранил руку надзирателя, хотевшего помочь ему подняться по крутой, узкой лестнице, которая вела во двор, но, ступив на верхнюю ступеньку, вдруг почувствовал дурноту, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы надзиратель не поддержал его за плечи.

— Ничего, оправится,— произнес чей-то веселый голос.— Это с каждым бывает, кто выходит оттуда на воздух.

Артур с мучительным трудом перевел дыхание, когда ему второй раз брызнули водой в лицо. Темнота, казалось, отваливалась от него, с шумом распадаясь на куски. Он сразу очнулся и, оттолкнув руку надзирателя, почти твердым шагом прошел коридор и лестницу. Они остановились перед дверью; вот дверь отворилась, и прежде чем Артур понял, куда его привели, он очутился в ярко освещенной комнате, где происходил первый допрос. Не сразу узнав ее, он недоумевающим взглядом окинул стол, заваленный бумагами, и офицеров, сидевших на прежних местах.

— А, мистер Бертон! — сказал полковник.— Надеюсь, теперь разговор наш пойдет спокойнее. Ну, как вам понравился карцер? Не правда ли, он не так роскошен, как гостиная вашего брата?

Артур поднял глаза на улыбающееся лицо полковника. Им овладело безумное желание броситься на этого щеголя с седыми бакенбардами и вгрызться ему в горло. Очевидно, это отразилось на его лице, потому что

полковник сейчас же прибавил уже совершенно другим тоном:

— Сядьте, мистер Бертон, и выпейте воды,— я вижу, вы взволнованы.

Артур оттолкнул предложенный ему стакан и, облокотившись о стол, подпер голову рукой, силясь собраться с мыслями. Полковник внимательно наблюдал за ним, подмечая опытным глазом и дрожь в руках, и трясущиеся губы, и взмокшие волосы, и тусклый взгляд — все, что говорило о физической слабости и нервном переутомлении.

— Мистер Бертон,— снова начал полковник после нескольких минут молчания,— мы вернемся к тому, на чем остановились в прошлый раз. Тогда у нас с вами произошла маленькая неприятность, но теперь — я сразу же должен сказать вам это — у меня единственное желание быть снисходительным. Если вы будете вести себя должным образом, с вами обойдется без излишней строгости.

— Чего вы хотите от меня?

Артур произнес это совсем несвойственным ему резким мрачным тоном.

— Мне нужно только, чтобы вы сказали откровенно и честно, что вам известно об этом обществе и его членах. Прежде всего, как давно вы знакомы с Боллой?

— Я его никогда не встречал. Мне о нем ровно ничего не известно.

— Неужели? Хорошо, мы скоро вернемся к этому. Может быть, вы знаете молодого человека по имени Карло Бини?

— Никогда не слыхал о таком.

— Это уж совсем странно. Ну, а что вы можете сказать о Франческо Нери?

— Впервые слышу его имя.

— Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой! Взгляните.

Артур бросил небрежный взгляд на письмо и отложил его в сторону.

— Оно вам знакомо?

— Нет.

— Вы отрицаете, что это ваш почерк?

— Я ничего не отрицаю. Я не помню такого письма.

— Может быть, вы вспомните вот это?

Ему передали второе письмо. Он узнал в нем то, которое писал осенью одному товарищу-студенту.

— Нет.

— И не знаете лица, которому оно адресовано?

— Не знаю.

— У вас удивительно короткая память.

— Это мой давнишний недостаток.

— Вот как! А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают неспособным. Скорее наоборот.

— Вы судите о способностях, вероятно, с полицейско-шпионской точки зрения. Профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле.

Нотка нарастающего раздражения явственно слышалась в ответах Артура. Голод, спертый воздух и бессонные ночи подорвали его силы. У него ныла каждая косточка, а голос полковника действовал ему на истерзанные нервы, точно царапанье грифеля по доске.

— Мистер Бертон,— строго сказал полковник, откинувшись на спинку стула,— вы опять забываетесь. Я предостерегаю вас еще раз, что подобный тон не доведет до добра. Вы уже побывали в темном карцере, и вряд ли вам захочется опять попасть в него. Скажу вам прямо: если мягкость на вас не действует, я примению к вам строгие меры. Помните, у меня есть доказательства — веские доказательства,— что некоторые из названных мною молодых людей занимались тайной доставкой запрещенной литературы через здешний порт и что вы были в сношениях с ними. Так вот, намерены ли вы сказать добровольно, что вы знаете обо всем этом?

Артур еще ниже опустил голову. Слепая, безрассудная, звериная ярость шевелилась в нем, точно живое существо. И мысль, что он может потерять самообладание, испугала его больше, чем угрозы. Он в первый раз ясно осознал, что джентльменская сдержанность и христианское смирение могут изменить ему, и испугался самого себя.

— Я жду ответа,— сказал полковник.

— Мне ничего вам отвечать.

— Так вы решительно отказываетесь говорить?

— Я ничего не скажу.

— В таком случае мне придется распорядиться, чтобы вас вернули в карцер и держали там до тех пор,

пока ваше решение не переменится. Если вы не образумитесь и в дальнейшем, я прикажу надеть на вас кандалы.

Артур поднял голову. По телу его пробежала дрожь.

— Вы можете делать все, что вам угодно,— медленно проговорил он.— Но допустит ли английский посол, чтобы так обращались с британским подданным без всяких доказательств его виновности?

Наконец Артуравели в прежнюю камеру, где он повалился на койку и проспал до следующего утра. Кандалов на него не надели и в страшный карцер не перевели, но вражда между ним и полковником росла с каждым допросом. Напрасно Артур молил бога о том, чтобы он даровал ему силы побороть в себе злобу, напрасно размышлял он целые ночи о терпении и кротости Христа. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый зеленым сукном, как только он видел перед собой нафабренные усы полковника, ненависть снова овладевала им, толкала его на злые, презрительные ответы. Еще не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их обоюдное раздражение достигло такой степени, что они не могли взглянуть друг на друга без гнева.

Постоянное напряжение этих стычек начинало заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них белладонной, чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать. Когда ночью мимо него пробегала крыса, он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прячется в камере и подслушивает, не говорит ли он во сне. Жандармы явно старались поймать его на слове и уличить Боллу. И страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьезный промах. Денно и нощно имя Боллы звучало у него в ушах, не сходило с языка и во время молитвы; он шептал его вместо имени «Мария», перебирая четки. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него вместе со всем внешним миром. С лихорадочным упорством Артур цеплялся за эту последнюю поддержку, проводя долгие часы в молитвах и покаянных размышлениях. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к Болле, и слова молитв он повторял машинально.

Огромным утешением для Артура был старший тюремный надзиратель. Этот толстенький лысый старишок сначала изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но добродушие, сквозившее в каждой морщинке его пухлого лица, одержало верх над чувством долга, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую.

Как-то днем в середине мая надзиратель вошел к нему с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него.

— В чем дело, Энрико? — воскликнул он.— Что с вами сегодня случилось?

— Ничего! — грубо ответил Энрико и, подойдя к койке, рванул с нее плед Артура.

— Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру?

— Нет, вас выпускают.

— Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают? Энрико!

Артур в волнении схватил старика за руку, но тот сердито вырвал ее.

— Энрико, что с вами? Почему вы не отвечаете? Скажите, нас всех выпускают?

В ответ послышалось только презрительное фырканье.

— Полно! — Артур с улыбкой снова взял надзирателя за руку.— Не злитесь на меня, я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными?

— С какими это остальными? — буркнул Энрико, вдруг бросая рубашку Артура, которую он складывал.— Уж не с Боллой ли?

— С Боллой, разумеется, и со всеми другими. Энрико, да что с вами?

— Вряд ли беднягу скоро выпустят, если его предал свой же товарищ! — И негодующий Энрико снова взялся за рубашку.

— Предал товарищ? Какой ужас! — Артур широко открыл глаза.

Энрико быстро повернулся к нему:

— А разве не вы это сделали?

— Я! Вы в своем уме, Энрико? Я?

— По крайней мере так ему сказали на допросе. Мне очень приятно знать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идемте!

Энрико вышел в коридор, Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило:

— Болле сказали, что его выдал я! Ну конечно! А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору.

— Так это действительно неправда? — Энрико остановился около лестницы и окинул Артура испытующим взглядом. Артур только пожал плечами:

— Конечно, ложь!

— Вот как! Рад это слышать, сынок, обязательно передам Болле ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него... ну, словом, из ревности. Будто вы оба полюбили одну и ту же девушку.

— Это ложь! — произнес Артур быстрым, прерывистым шепотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. «Полюбили одну и ту же девушку!.. Ревность!» Как они узнали это? Как они узнали?

— Подождите минутку, сынок! — Энрико остановился в коридоре перед комнатой следователя и прошептал: — Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?

— Это ложь! — чуть не задохнувшись, крикнул Артур в третий раз.

Энрико пожал плечами и пошел вперед.

— Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаетесь на эту удочку. Сейчас в Пизе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличили ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это провокатор.

Он отворил дверь в комнату следователя и, видя, что Артур замер на месте, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед.

— Добрый день, мистер Бертон, — сказал полковник, показывая в любезной улыбке все зубы. — Мне приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.

Артур подошел к нему.

— Я хочу знать, — сказал он глухим голосом, — кто меня выдал.

Полковник с улыбкой поднял брови.

— Не догадываетесь? Подумайте немного.

Артур покачал головой. Полковник развел руками, учию выражая этим свое изумление.

— Неужели не догадываетесь? Да вы же, вы сами, мистер Бертон! Кто же еще мог знать о ваших любовных делах?

Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, и глаза юноши медленно поднялись к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди.

— Будьте добры расписаться в получении ваших документов,— любезно сказал полковник,— и я не буду задерживать вас. Вам, разумеется, хочется скорее добраться до дома, а я тоже очень занят — все вожусь с делом этого сумасбреда Боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Его, вероятно, ждет суровый приговор... Всего хорошего!

Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. До высоких тюремных ворот он шел следом за Энрико, а потом, даже не попрощавшись с ним, один спустился к каналу, где его ждал перевозчик. В ту минуту, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, навстречу ему с распростертыми руками бросилась девушка в легком платье и соломенной шляпе.

— Артур! Я так счастлива, так счастлива!

Артур, весь дрожа, отвел руки назад.

— Джим! — проговорил он наконец не своим голосом.— Джим!

— Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур, отчего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Подождите!

Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о Джемме. Испуганная этим, она догнала его и схватила за локоть.

— Артур!

Он остановился и растерянно взглянул на нее. Джемма взяла его под руку, и они пошли рядом, не говоря ни слова.

— Слушайте, дорогой,— начала она мягко,— стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недора-

зумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают...

— Из-за какого недоразумения? — спросил он тем же глухим голосом.

— Я говорю о письме Боллы.

При этом имени лицо Артура болезненно исказилось.

— Вы о нем ничего не знали? — продолжала она.— Но ведь вам, наверно, сказали об этом. Болла, должно быть, совсем сумасшедший, если он мог вообразить такую нелепость.

— Какую нелепость?

— Так вы ничего не знаете? Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому. Поверили только те, кто совершенно вас не знает. Потому-то я и пришла сюда: мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верят ни одному слову в этом письме.

— Джемма! Но это... это правда!

Она медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Ледяная волна молчания отгородила их от шума и движения улицы.

— Да,— прошептал он наконец.— Пароходы... я говорил о них и назвал имя Боллы. Боже мой! Боже мой! Что мне делать?

И вдруг он пришел в себя и осознал, кто стоит перед ним, в смертельном ужасе глядя на него. Она, наверно, думает...

— Джемма, вы меня не поняли! — крикнул Артур, шагнув к ней.

Она отшатнулась от него, пронзительно крикнув:

— Не прикасайтесь ко мне!

Артур с неожиданной силой схватил ее за руку.

— Выслушайте, ради бога!.. Я не виноват... я...

— Оставьте меня! Оставьте!

Она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке.

Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаяния лица Джеммы и ее руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся... Он осмотрелся и увидел, что стоит один.

ГЛАВА VII

Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у двери особняка на Виа-Борра. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось? Лакей Джули, зевая, открыл ему дверь и много-значительно ухмыльнулся при виде его осунувшегося, словно окаменевшего лица. Лакею показалось очень забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы, точно пьяный, беспутный бродяга. Артур поднялся по лестнице. В первом этаже он столкнулся с Гиббонсом, который шел ему навстречу с видом надменным и неодобрительным. Артур пробормотал: «Добрый вечер» — и хотел проскользнуть мимо. Но трудно было миновать Гиббона, когда Гиббонс этого не хотел.

— Господ нет дома, сэр,— сказал он, окидывая критическим оком грязное платье и растрепанные волосы Артура.— Они ушли в гости и раньше двенадцати не возвратятся.

Артур посмотрел на часы. Было только девять. Да! Времени у него достаточно, больше чем достаточно.

— Миссис Бертон приказала спросить, не хотите ли вы ужинать, сэр. Она надеется увидеть вас, прежде чем вы ляжете спать, так как ей нужно сегодня же переговорить с вами.

— Благодарю вас, ужинать я не хочу. Передайте миссис Бертон, что я не буду ложиться.

Он вошел в свою комнату. В ней ничего не изменилось со дня его ареста. Портрет Монтанелли по-прежнему лежал на столе, распятие стояло в алькове. Артур на мгновение остановился на пороге, прислушиваясь. В доме тихо, никто не придет, не помешает ему. Он осторожно вошел в комнату и запер за собой дверь.

Итак, всему конец. Не о чем больше раздумывать, не из-за чего волноваться. Заглушить в себе ненужные, назойливые мысли — и все. Но как это глупо, нелепо!

Ему не надо было решать — лишить себя жизни или нет; он даже не особенно думал об этом: такой конец казался бесспорным и неизбежным. Он еще не знал, какую смерть избрать себе. Все сводилось к тому, чтобы сделать это быстро — и забыться. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Но это не имело значения: достаточно полотенца или простыни, разорванной на куски.

Он увидел над окном большой гвоздь. Вот и хорошо. Но выдержит ли гвоздь тяжесть его тела! Он подставил к окну стул. Нет! Ненадежно. Он слез со стула, достал из ящика молоток, забил им гвоздь и хотел уже сдернуть с постели простыню, как вдруг вспомнил, что не прочел молитвы, ведь нужно помолиться перед смертью, так поступает каждый христианин. На отход души есть даже специальные молитвы.

Он вошел в альков и опустился на колени перед распятием.

— Отче всемогущий и милостивый... — громко произнес он и остановился, не прибавив больше ни слова. Мир стал таким тусклым, что он не знал, за что молиться, от чего оберегать себя молитвами. Да разве Христу ведомы такие страдания? Ведь его только предали, как Боллу, а ловушек ему никто не расставлял, и сам он не был предателем.

Артур поднялся, перекрестившись по старой привычке. Потом подошел к столу и увидел письмо Монтанелли, написанное карандашом:

Дорогой мой мальчик! Я в отчаянии, что не могу повидаться с тобой в день твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Вернусь поздно ночью. Приходи ко мне завтра пораньше. Очень спешу. Л. М.

Артур со вздохом положил письмо. Padre будет тяжело перенести это.

А как смеялись и болтали люди на улицах!.. Ничто не изменилось с того дня, когда он был еще полон жизни. Ни одна из повседневных мелочей не стала иной оттого, что человеческая душа, живая человеческая душа, искалечена насмерть. Все это было и раньше. Струилась вода фонтанов, чирикали воробы под навесами крыш; так они чирикали вчера, так будут чирикать завтра. А он... он мертв.

Артур опустился на край кровати, скрестил руки на ее спинке и положил на них голову. Времени еще много — а у него так болит голова, болит самый мозг... и все это так глупо, так бессмысленно...

У наружной двери резко прозвенел звонок. Артур вскочил, задыхаясь от ужаса, и поднес руки к горлу. Они вернулись, а он сидит тут и предается раздумьям!

Драгоценное время упущено, и теперь ему придется увидеть их лица, слышать жестокие, издевательские слова. Если бы под руками был нож!

Он с отчаянием оглядел комнату. В шифоньерке стояла рабочая корзинка его матери. Там должны быть ножницы. Он вскроет вену. Нет, простыня и гвоздь вернее... только бы хватило времени.

Он сдернул с постели простыню и с лихорадочной быстротой начал отрывать от нее полосу. На лестнице раздались шаги. Нет, полоса слишком широка: не затянется — ведь нужно сделать петлю. Он спешил — шаги приближались. Кровь стучала у него в висках, гулко била в уши. Скорей, скорей! О боже, только бы пять минут!

В дверь постучали. Обрывок простыни выпал у него из рук, и он замер, затаил дыхание, прислушиваясь. Кто-то тронул снаружи ручку двери; послышался голос Джули:

— Артур!

Он встал, тяжело дыша.

— Артур, открой дверь, мы ждем.

Он схватил разорванную простыню, сунул ее в ящик комода и торопливо оправил постель.

— Артур! — Это был голос Джеймса. Он с нетерпением дергал ручку.— Ты спиши?

Артур бросил взгляд по сторонам, убедился, что все в порядке, и отпер дверь.

— Мне кажется, Артур, ты мог бы исполнить мою просьбу и дождаться нашего прихода! — сказала взбешенная Джули, влетая в комнату.— По-твоему, так и следует, чтобы мы полчаса стояли за дверью?

— Четыре минуты, моя дорогая,— кротко поправил жену Джеймс, входя следом за ее розовым атласным шлейфом.— Я полагаю, Артур, что было бы куда приличнее...

— Что вам нужно? — прервал его юноша.

Он стоял, держась за дверную ручку, и, словно затравленный зверь, переводил взгляд с брата на Джули. Но Джеймс был слишком туп, а Джули слишком разгневана, чтобы заметить этот взгляд.

Мистер Бертон подставил жене стул и сел сам, аккуратно подтянув на коленях новые брюки.

— Мы с Джули,— начал он,— считаем своим долгом серьезно поговорить с тобой...

— Сейчас я не могу выслушать вас. Мне... мне нехорошо. У меня болит голова... Вам придется подождать.

Артур выговорил это странным, глухим голосом, то и дело запинаясь.

Джеймс с удивлением взглянул на него.

— Что с тобой? — спросил он тревожно, вспомнив, что Артур пришел из очага заразы.— Надеюсь, ты не болен? По-моему, у тебя лихорадка.

— Пустяки! — резко оборвала его Джули.— Обычное комедиантство. Просто ему стыдно смотреть нам в глаза... Поди сюда, Артур, и сядь.

Артур медленно прошел по комнате и опустился на край кровати.

— Да? — произнес он устало.

Мистер Бертон откашлялся, пригладил и без того гладкую бороду и снова начал заранее подготовленную речь:

— Я считаю своим долгом... своим тяжким долгом поговорить с тобой о твоем весьма странном поведении и о твоих связях с... нарушителями закона, с бунтовщиками, с людьми сомнительной репутации. Я полагаю, что тобой руководило скорее легкомыслие, чем испорченность...

Он остановился.

— Да? — снова сказал Артур.

— Так вот, я не хочу быть чрезмерно строгим,— продолжал Джеймс, невольно смягчаясь при виде той усталой безнадежности, которая чувствовалась в Артуре.— Я готов допустить, что тебя совратили дурные товарищи, и охотно принимаю во внимание твою молодость, неопытность, легкомыслие и... и впечатительность, которую, боюсь, ты унаследовал от матери.

Артур медленно перевел глаза на портрет матери, но продолжал молчать.

— Но ты, конечно, поймешь,— опять начал Джеймс,— что я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшееся таким уважением.

— Да? — повторил еще раз Артур.

— Как! — крикнула Джули, с треском складывая свой веер и бросая его себе на колени.— Тебе нечего больше сказать, кроме этого «да»?!

— Вы поступите так, как сочтете нужным,— медленно ответил Артур, не двигаясь с места.— Мне все равно.

— Тебе все равно? — повторил Джеймс, пораженный этим ответом, а его жена со смехом поднялась со стула.

— Так тебе все равно!.. Ну, Джеймс, я надеюсь, теперь ты понимаешь, что благодарности нам ждать не приходится. Я предчувствовала, к чему приведет схожительность к католическим авантюристкам и к их...

— Тише, тише! Не надо об этом, милая.

— Глупости, Джеймс! Мы слишком долго сентиментальничали! И с кем — с каким-то незаконнорожденным ребенком, втершимся в нашу семью! Пусть знает, кто была его мать! Почему мы должны заботиться о сыне любовницы католического священника? Вот — читай!

Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артуру. Он развернул листок и узнал почерк матери. Как показывала дата, письмо было написано за четыре месяца до его рождения. Это было признание, обращенное к мужу. Внизу стояли две подписи.

Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошел до конца страницы, где после нетвердых букв, написанных рукой матери, стояла знакомая уверенная подпись: «Лоренцо Монтанелли». Несколько минут он смотрел на нее. Потом, не сказав ни слова, свернул листок и положил его на стол.

Джеймс поднялся и взял жену за руку.

— Ну, Джули, довольно, иди вниз. Уже поздно, а мне нужно переговорить с Артуром о делах, для тебя нейтересных.

Джули взглянула на мужа, потом на Артура, который молчал, опустив глаза.

— Он точно потерял рассудок,— пробормотала она.

Когда Джули, подобрав шлейф, вышла из комнаты, Джеймс старательно затворил за ней дверь и вернулся к столу.

Артур сидел, как и раньше, не двигаясь и не говоря ни слова.

— Артур,— начал Джеймс более мягко, так как Джули уже не могла слышать его,— очень жаль, что тайна вышла наружу. Ты мог бы и не знать этого. Но ничего не поделаешь. Мне приятно видеть, что ты держишься с таким самообладанием. Джули немного развелновалась... Женщины часто... Ну, оставим это. Я не хочу быть чрезмерно строгим..

Он замолчал, проверяя, какое впечатление произвела на Артура его мягкость, но Артур оставался по-прежнему неподвижным.

— Конечно, дорогой мой, это весьма печальная история,— продолжал Джеймс после паузы,— и самое лучшее не говорить о ней. Мой отец был настолько великодушен, что не развелся с твоей матерью, когда она призналась ему в своем падении. Он только потребовал, чтобы человек, сорвавший ее, сейчас же оставил Италию. Как ты знаешь, он отправился миссионером в Китай. Лично я был против того, чтобы ты встречался с ним, когда он вернулся. Но мой отец все-таки разрешил ему заниматься с тобой, поставив единственным условием, чтобы он не пытался видеться с твоей матерью. Надо отдать им должное — по-моему, они до конца оставались верны этому условию. Все это очень прискорбно, но...

Артур поднял голову. Его лицо было безжизненно, это была восковая маска.

— Не кажется ли в-вам,— проговорил он тихо и почему-то заикаясь,— что все это у-ди-ви-тель но забавно?

— Забавно? — Джеймс вместе со стулом отодвинулся от стола и, даже забыв рассердиться, в изумлении посмотрел на Артура.— Забавно? Артур! Ты сошел с ума!

Артур вдруг запрокинул голову и разразился неистовым хохотом.

— Артур! — воскликнул судовладелец, с достоинством поднимаясь со стула.— Твое легкомыслie меня изумляет.

Вместо ответа послышался новый взрыв хохота, настолько безудержного, что Джеймс начал сомневаться, не было ли тут чего-нибудь более серьезного, чем простое легкомыслie.

— Точно истеричная девица,— пробормотал он и, презрительно передернув плечами, нетерпеливо зашагал взад и вперед по комнате.— Право, Артур, ты хуже Джули. Перестань смеяться! Не могу же я сидеть здесь целую ночь!

С таким же успехом он мог бы обратиться к распятию и попросить его сойти с пьедестала. Артур был глух к увещаниям. Он смеялся, смеялся без конца.

— Это дико,— проговорил Джеймс, остановившись.— Ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь рассуждать здраво. В таком случае, я не стану говорить с тобой о делах. Зайди ко мне утром после завтрака. А сейчас ложись лучше спать. Спокойной ночи!

Джеймс вышел, хлопнув дверью.

— Теперь предстоит сцена внизу,— бормотал он, тяжелыми шагами спускаясь вниз по лестнице.— И полагаю, с истерикой.

Безумный смех замер на губах Артура. Он схватил со стола молоток и кинулся к распятию.

После первого же удара он пришел в себя. Перед ним стоял пустой пьедестал, молоток был еще у него в руках. Обломки разбитого распятия валялись на полу, у его ног. Артур швырнул молоток в сторону.

— Только и всего! — сказал он и отвернулся.— Какой я идиот!

Задыхаясь, он опустился на стул и сжал руками виски. Потом встал, подошел к умывальнику и вылил себе на голову кувшин холодной воды. Немного успокоившись, он вернулся на прежнее место и задумался.

Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния! Приготовил петлю, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут! Довольно, с этим покончено! Теперь он станет умнее. Нужно только стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь.

В доках немало торговых судов; разве трудно спрятаться на одном из них и уехать куда глаза глядят — в Канаду, в Австралию, в Южную Африку! Не важно, куда ехать, лишь бы подальше отсюда. Не понравится в одном месте — можно будет перебраться в другое.

Он вынул кошелек. Только тридцать три паоло¹. Но у него есть еще дорогие часы. Их можно будет продать. И вообще это не важно: лишь бы продержаться первое время. Но эти люди начнут искать его, станут расспрашивать о нем в доках. Нет, надо навести их на ложный след. Пусть думают, что он умер. И тогда он свободен,

¹ Паоло — серебряная итальянская монета.





совершенно свободен. Артур тихо засмеялся, представив себе, как Бертоны будут разыскивать его тело. Какая комедия!

Он взял листок бумаги и написал первое, что пришло в голову:

Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный кумир, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Он сложил листок, адресовал его Монтанелли и, взяв другой, написал:

Ищите мое тело в Дарсене.

Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он посмотрел на него, усмехнулся и пожал плечами. Она ведь тоже лгала ему!

Он неслышно прошел по коридору, отодвинул засов у двери и очутился на широкой мраморной лестнице, отзывающейся эхом на каждый шорох. Она зияла у него под ногами, словно черная яма.

Он перешел двор, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Джиана Баттисту, который спал в нижнем этаже. В дровяном сарае, стоявшем в конце двора, было решетчатое окошко. Оно смотрело на канал и приходилось над землей на уровне примерно четырех футов. Артур вспомнил, что ржавая решетка с одной стороны поломана. Легким толчком можно будет расширить отверстие настолько, чтобы пролезть в него.

Однако решетка оказалась прочной. Он исцарапал себе руки и порвал рукав. Но это пустяки. Он оглядел улицу — на ней никого не было. Черный безмолвный канал уродливой щелью тянулся между отвесными скользкими стенами. Беспространной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нем будет столько пошлости и грязи, сколько остается позади. Не о чем пожалеть, не на что оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана,— стоячее болото, такое мелкое, что в нем нельзя даже утонуть.

Артур пошел вдоль канала, потом свернул на маленькую площадь у дворца Медичи. Здесь Джемма подбежала к нему, с такой живостью протянув ему руки. Вот мокрые каменные ступеньки, что ведут к воде. А вот и

крепость хмурился по ту сторону грязного канала. Он и не подозревал до сих пор, что она такая приземистая, грозная.

По узким улицам он добрался до Дарсены, снял шляпу и бросил ее в воду. Шляпу, конечно, найдут, когда будут искать труп. Он шел по берегу, с трудом соображая, что же делать дальше. Нужно пробраться на какое-нибудь судно. Сделать это нелегко. Единственное, что можно придумать,— это выйти к громадному старому молу Медичи. В дальнем конце его есть захудалая таверна. Может быть, посчастливится встретить там какого-нибудь матроса и подкупить его.

Ворота дока были заперты. Как же пройти туда, как миновать таможенных чиновников? С такими деньгами нечего и думать дать взятку за пропуск ночью, да еще без паспорта. К тому же его могут узнать.

Когда он проходил мимо бронзового памятника Четырех Мавров, из старого дома на противоположной стороне вышел какой-то человек. Он приближался к мосту. Артур скользнул в густую тень памятника и, прижавшись к нему в темноте, осторожно выглянулся из-за пьедестала.

Была весенняя ночь, теплая и звездная. Вода плескалась о каменный мол и с тихим, похожим на смех журчанием подбегала к ступенькам. Где-то вблизи, медленно качаясь, скрипела цепь. Громадный подъемный кран уныло торчал в темноте. Под блещущим звездами небом, подернутым жемчужными облаками, чернели силуэты четырех закованных рабов, тщетно пытающихся одолеть свою жестокую судьбу.

Человек брел по берегу нетвердыми шагами, распевая во все горло уличную английскую песню. Это был, очевидно, матрос, возвращавшийся из таверны после попойки. Кругом никого не было. Когда он подошел поближе, Артур вышел на середину дороги. Матрос, выругавшись, оборвал свою песню и остановился.

— Мне нужно с вами поговорить,— сказал Артур по-итальянски.— Вы понимаете меня?

Матрос покачал головой:

— Ни слова не разбираю из твоей тарабарщины.— И затем, перейдя вдруг на ломаный французский, сердито спросил: — Что тебе от меня нужно? Что ты стал поперек дороги?

— Отойдемте на минутку в сторону. Мне нужно с вами поговорить.

— Еще чего! Отойди в сторону! При тебе нож?

— Нет, нет, что вы! Разве вы не видите, что мне нужна ваша помощь? Я вам заплачу.

— Ишь ты, а разоделся-то каким франтом! — проворчал матрос по-английски и, отойдя в тень, прислонился к ограде памятника.

— Ну? — заговорил он опять на своем ужасном французском языке. — Что же тебе нужно?

— Мне нужно уехать отсюда.

— Вот оно что! Зайцем! Хочешь, чтобы я тебя спрятал? Натворил каких-нибудь дел? Зарезал кого-нибудь? Иностранцы все такие. Куда же ты собираешься бежать? Уж, верно, не в полицейский участок.

Он засмеялся пьяным смехом и подмигнул Артуру.

— С какого вы судна?

— С «Карлотты». Ходит из Ливорно в Буэнос-Айрес. В одну сторону перевозит масло, в другую — кожи. Вон она! — И матрос ткнул пальцем в сторону мола. — Отвратительная старая посудина.

— Буэнос-Айрес! Спрячьте меня где-нибудь на вашем судне.

— А сколько дашь?

— Не очень много. У меня всего несколько паоло.

— Нет. Меньше пятидесяти не возьму. И то дешево для такого франта, как ты.

— Какой там франт! Если вам приглянулось мое платье, можете поменяться со мной. Не могу же я вам дать больше того, что у меня есть.

— А ты, наверно, при часах? Давай-ка их сюда.

Артур вынул дамские золотые часы, с эмалью, с тонкой гравировкой и с инициалами «Г. Б.» на задней крышке. Это были часы его матери. Но какое это имело значение теперь?

— А! — воскликнул матрос, быстро оглядывая их. — Краденые, конечно! Дай посмотреть!

Артур отдернул руку.

— Нет, — сказал он. — Я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне, не раньше.

— Оказывается, ты не дурак! Но, наверно, первый раз попал в беду? Так что ли?

— Это мое дело. Смотрите: сторож!

Они спрятались за памятником и переждали, пока сторож пройдет. Потом матрос поднялся, велел Артуру следовать за собой и пошел вперед, глупо посмеиваясь. Артур молча шагал сзади.

Матрос вывел его снова на маленькую, неправильной формы площадь у дворца Медичи, остановился в темном углу и пробубнил, полагая, очевидно, что это и есть осторожный шепот:

— Подожди тут, а то тебя солдаты увидят.

— Что вы хотите делать?

— Раздобуду кое-какое платье. Не брать же тебя на борт с окровавленным рукавом.

Артур взглянул на свой рукав, разорванный о решетку окна. В него впиталась кровь с поцарапанной руки. Очевидно, этот человек считает его убийцей. Ну что ж! Не так уж теперь важно, что о нем думают!

Матрос вскоре вернулся. Вид у него был торжествующий, он нес под мышкой узел.

— Переоденься,— прошептал он,— только поскорее. Мне надо возвращаться на корабль, а старьевщик торговался, задержал меня на полчаса.

Артур стал переодеваться, с дрожью отвращения касаясь поношенного платья. По счастью, оно, хоть и грубое, оказалось более или менее чистым. Когда он вышел на свет, матрос посмотрел на него и с пьяной важностью кивнул головой в знак одобрения.

— Сойдет,— сказал он.— Пошли! Толькотише!

Захватив скинутое платье, Артур пошел следом за матросом через лабиринт извилистых каналов и темных узких переулков тех средневековых трущоб, которые жители Ливорно называют «Новой Венецией». Среди убогих лачуг и грязных дворов кое-где одиноко выселились мрачные старые дворцы, тщетно пытавшиеся сохранить свою древнюю величавость. В некоторых переулках были притоны воров, убийц и контрабандистов; в других ютилась беднота.

Матрос остановился у маленького мостика и, осмотревшись по сторонам, не следят ли за ними, спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась старая, грязная лодка. Он грубо приказал Артуру прыгнуть в нее и лечь на дно, а сам сел на весла и начал грести к гавани. Артур лежал, не шевелясь, на мокрых, скользких досках, под одеждой, которую набро-

сил на него матрос, и украдкой смотрел на знакомые дома и улицы.

Лодка прошла под мостом и очутилась в той части канала, над которой стояла крепость. Массивные стены, широкие в основании и переходящие вверху в узкие мрачные башни, вздымались над водой. Какими могучими, какими грозными казались они ему несколько часов назад! А теперь... Он тихо засмеялся, лежа на дне лодки.

— Молчи,— буркнул матрос,— укройся. Мы у таможни.

Артур укрылся с головой. Но вот лодка остановилась перед скованными цепью мачтами, которые лежали поперек канала, загораживая узкий проход между таможней и крепостью. Из таможни вышел сонный чиновник с фонарем и, зевая, нагнулся над водой.

— Предъявите пропуск.

Матрос сунул ему свои документы. Артур, стараясь не дышать в духоте под одеждой, прислушивался к их разговору.

— Нечего сказать, самое время возвращаться на судно,— ворчал чиновник.— С кутежа, наверно? Что у тебя в лодке?

— Старое платье. Купил по дешевке.

С этими словами он подал для осмотра жилет Артура. Чиновник опустил фонарь и нагнулся, напрягая зрение:

— Ладно. Проходи.

Он поднял перекладину, лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на темной воде. Выждав немного, Артур сел и сбросил укрывавшее его платье.

— Вот он, мой корабль,— шепотом проговорил наконец матрос.— Иди следом за мной и, главное, молчи.

Он вскарабкался на палубу громоздкого темного чудовища, поругивая тихонько «неуклюжую сухопутную публику», хотя Артур, всегда отличавшийся ловкостью, меньше чем кто-либо заслуживал такой упрек. Поднявшись на корабль, они осторожно пробрались меж темных снастей и блоков и наконец подошли к люку. Матрос тихонько приподнял крышку.

— Полезай вниз! — прошептал он.— Я сейчас вернусь.

В трюме было не только сыро и темно, но и невыносимо душно. Артур невольно попятился, задыхаясь от запаха сырых кож и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер, и, пожав плечами, он спустился по ступенькам. Видимо, жизнь повсюду одинакова: грязь, мерзость, постыдные тайны, темные закоулки. Но жизнь есть жизнь — и надо брать от нее все, что можно.

Скоро матрос вернулся, неся что-то в руках,— что именно, Артур не разглядел.

— Теперь давай деньги и часы. Живо.

Артур воспользовался темнотой и оставил себе несколько монет.

— Принесите мне чего-нибудь поесть,— сказал он.— Я очень голоден.

— Принес. Вот, держи.

Матрос передал ему кувшин, несколько твердых, как камень, сухарей и кусок солонины.

— Теперь вот что. Завтра поутру придут для осмотра таможенные чиновники. Спрячься в пустой бочке. Лежи тихо как мышь, пока мы не выйдем в открытое море. Я скажу, когда можно будет вылезть. А попадешься на глаза капитану — пеняй на себя. Ну, все! Питье не прольешь? Спокойной ночи.

Люк закрылся. Артур осторожно поставил кувшин с драгоценной водой и, присев у пустой бочки, принялся за солонину и сухари. Потом лег на грязный пол и в первый раз с младенческих лет заснул, не помолившись. В темноте вокруг него бегали крысы. Но ни их неугомонный писк, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла, ни ожидание неминуемой морской болезни — ничто не могло потревожить сон Артура. Все это не беспокоило его больше, как не беспокоили его теперь и разбитые, развенчанные кумиры, которым он еще вчера поклонялся.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

ГЛАВА I

В один из июльских вечеров 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабрицци, собралось несколько человек, чтобы обсудить план предстоящей политической работы.

Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини и не мирились на меньшем, чем демократическая республика и объединенная Италия. Другие были сторонники конституционной монархии и либералы разных оттенков. Но все сходились в одном — в недовольстве тосканской цензурой. Известный профессор Фабрицци созвал собрание, в надежде, что, может быть, хоть этот вопрос представители различных партий смогут обсудить без особых препирательств.

Прошло только две недели с тех пор, как папа Пий IX, взойдя на престол, даровал столь нашумевшую амнистию политическим заключенным в Папской области, но волна либерального восторга, вызванная этим событием, уже катилась по всей Италии. В Тоскане папская амнистия оказала воздействие даже на правительство. Профессор Фабрицци и еще кое-кто из лидеров политических партий во Флоренции сочли момент наиболее благоприятным для того, чтобы добиться проведения реформы законов о печати.

— Конечно,—заметил драматург Лега, когда ему сказали об этом,—невозможно приступить к изданию газеты до изменения нынешних законов о печати. Надо задержать первый номер. Но, может быть, нам удастся провести через цензуру несколько памфлетов. Чем раньше мы это сделаем, тем скорее добьемся изменения закона.

Сидя в библиотеке Фабрици, он излагал свою точку зрения относительно той позиции, какую должны были, по его мнению, занять теперь писатели-либералы.

— Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент,— заговорил тягучим голосом один из присутствующих, седовласый адвокат.— В другой раз уже не будет таких благоприятных условий для проведения серьезных реформ. Но едва ли памфлеты окажут благотворное действие. Они только ожесточат и напугают правительство и уж ни в коем случае не расположат его в нашу пользу. А ведь именно этого мы и добиваемся. Если власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны.

— В таком случае, что же вы предлагаете?

— Петицию.

— Великому герцогу?

— Да, петицию о расширении свободы печати.

Сидевший у окна брюнет с живым, умным лицом засмеялся, оглянувшись на него.

— Многое вы добьетесь петициями! — сказал он.— Мне казалось, что дело Ренци излечило вас от подобных иллюзий.

— Синьор! Я не меньше вас огорчен тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци. Мне не хотелось обижать присутствующих, но все-таки я не могу не отметить, что мы потерпели неудачу в этом деле главным образом вследствие нетерпеливости и горячности кое-кого из нас. Я, конечно, не решился бы...

— Нерешительность — отличительная черта всех пьемонтцев,— резко прервал его брюнет.— Не знаю, где вы обнаружили нетерпеливость и горячность. Уж не в тех ли осторожных петициях, которые мы посыпали одну за другой? Может быть, это называется горячностью в Тоскане и Пьемонте, но никак не у нас в Неаполе.

— К счастью,— заметил пьемонтец,— неаполитанская горячность присуща только Неаполю.

— Перестаньте, господа! — вмешался профессор.— Хороши по-своему и неаполитанские нравы и пьемонтские. Но сейчас мы в Тоскане, а тосканский обычай велит не отвлекаться от сути дела. Грассини голосует за

петицию, Галли — против. А что скажете вы, доктор Риккардо?

— Я не вижу ничего плохого в петиции, и если Грассини составит ее, я подпишусь с большим удовольствием. Но мне все-таки думается, что одними петициями многое не достигнешь. Почему бы нам не прибегнуть и к петициям и к памфлетам?

— Да просто потому, что памфлеты восстановят правительство против нас и оно не посчитается с нашими петициями,— сказал Грассини.

— Оно и так с ними не посчитается.— Неаполитанец встал и подошел к столу.— Вы на ложном пути, господа! Умиротворять правительство бесполезно. Нужно поднять народ.

— Это легче сказать, чем сделать. С чего вы начнете?

— Смешно задавать Галли такие вопросы. Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по голове.

— Вовсе нет,— спокойно сказал Галли.— Вы думаете, если уж перед вами южанин, значит, у него не найдется других аргументов, кроме ножа?

— Что же вы предлагаете?.. Тише, господа, тише! Галли хочет внести предложение.

Все те, кто до сих пор спорил в разных углах группами по два, по три человека, собрались вокруг стола послушать Галли. Но он протестующе поднял руки:

— Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Я считаю, что во всех этих ликованиях по поводу нового папы кроется серьезная опасность. Он взял новый политический курс, давал амнистию, и многие выводят отсюда, что нам всем — всем без исключения, всей Италии — следует броситься в объятия святого отца и предоставить ему вести нас в землю обетованную. Лично я восхищаюсь папой не меньше других. Амнистия — блестящий ход!

— Его святейшество, конечно, сочтет себя польщенным...— презрительно начал Грассини.

— Перестаньте, Грассини! Дайте ему высказаться! — прервал его, в свою очередь, Риккардо.— Удивительная вещь! Вы с Галли никак не можете удержаться от преканий. Как кошка с собакой... Продолжайте, Галли!

— Я вот что хотел сказать,— снова начал неаполитанец.— Святой отец действует, несомненно, с наилучши-

ми намерениями. Другой вопрос — насколько широко удастся ему провести реформы. Теперь все идет гладко. Реакционеры по всей Италии месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадет волна ликования, поднятая амнистией. Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Мое личное мнение таково, что в середине зимы иезуиты, грекорианцы, санфедисты и вся остальная клика начнут строить новые козни и интриги и отправят на тот свет всех, кого нельзя подкупить.

— Это очень похоже на правду.

— Так вот, будем ли мы смиленно посыпать одну петицию за другой и дожидаться, пока Ламбрускини и его свора не убедят великого герцога отдать нас во власть иезуитов да еще призвать австрийских гусар наблюдать за порядком на улицах, или мы предупредим их и воспользуемся временным замешательством, чтобы первыми нанести удар?

— Скажите нам прежде всего, о каком ударе вы говорите.

— Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов.

— Но ведь фактически это будет объявлением войны.

— Да. Мы будем разоблачать их интриги, раскрывать их тайны и обратимся к народу с призывом подняться на борьбу с иезуитами.

— Но ведь здесь некого изобличать!

— Некого? Подождите месяца три, и вы увидите, сколько здесь будет этих иезуитов. Тогда от них не отделаешься.

— Да. Но ведь вы знаете, для того чтобы восстановить городское население против иезуитов, придется говорить открыто. А если так, каким образом вы минуете цензуру?

— Я ее не миную. Я просто перестану с ней считаться.

— Значит, вы будете выпускать памфлеты анонимно? Все это очень хорошо, но мы уже имели дело с подпольными типографиями и знаем, как...

— Нет! Я предлагаю печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. Пусть преследуют, если у них хватит смелости.

— Совершенно безумный проект! — воскликнул Грассини.— Это значит — из молодечства класть голову в львиную пасть.

— Ну, вам бояться нечего! — отрезал Галли.— Мы не просим вас сидеть в тюрьме за наши грехи.

— Воздержитесь от резкостей, Галли! — сказал Риккардо.— Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если это поможет нашему делу. Но подвергать себя опасности по пустякам — чистое ребячество. Я лично хотел бы внести поправку к высказанному предложению.

— Какую?

— Мне кажется, можно выработать такой способ борьбы с иезуитами, который избавит нас от столкновений с цензурой.

— Не понимаю, как вы это устроите.

— Надо облечь наши высказывания в такую форму, так их завуалировать, чтобы...

— ...не понял цензор? Но неужели вы рассчитываете, что какой-нибудь невежественный ремесленник или рабочий докопается до истинного смысла ваших писаний? Это ни с чем не сообразно.

— Мартини, что вы скажете? — спросил профессор, обращаясь к сидевшему возле него широкоплечему человеку с большой темной бородой.

— Я подожду высказывать свое мнение. У меня еще мало фактов. Надо проделать ряд опытов, тогда будет видно.

— А вы, Саккони?

— Мне бы хотелось услышать, что скажет синьора Болла. Ее соображения всегда так ценные.

Все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на диване, опервшись подбородком на руку, и молча слушала прения. У нее были серьезные черные глаза, но сейчас в них мелькнул насмешливый огонек.

— Боюсь, что я разойдусь с вами во мнениях,— сказала она.

— Обычная история,— вставил Риккардо,— но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы.

— Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся одним оружием, надо прибегнуть к другому. Но бросить им вы-

зов — недостаточно, уклончивая тактика затруднительна. Ну, а петиции — просто детские игрушки.

— Надеюсь, синьора,— с чрезвычайно серьезным видом сказал Грассини,— вы не предложите нам таких методов, как убийство?

Мартини дернулся за ус, а Галли, не стесняясь, рассмеялся. Даже серьезная молодая женщина не могла удержаться от улыбки.

— Поверьте,— сказала она,— что если бы я и была столь кровожадна, то у меня, во всяком случае, хватило бы здравого смысла молчать об этом — я не ребенок. Самое смертоносное оружие, которое я знаю,— это смех. Если нам удастся жестоко высмеять иезуитов, заставить народ хохотать над ними и их притязаниями — мы одержим победу без кровопролития.

— Думаю, что вы правы,— сказал Фабрицци.— Но не понимаю, как вы это осуществите.

— Почему вам кажется, что нам не удастся это осуществить? — спросил Мартини.— Сатира скорее пройдет через цензуру, чем серьезная статья. Если придется писать иносказательно, то неискушенному читателю легче будет раскусить двойной смысл безобидной на первый взгляд шутки, чем содержание научного или экономического очерка.

— Итак, синьора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или сатирическую газету? Могу смело сказать: последнее цензура никогда не пропустит.

— Я имею в виду нечто иное. По-моему, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешевой цене или даже распространять бесплатно небольшие сатирические листки в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, мы могли бы выпускать эти листки с иллюстрациями.

— Великолепная идея, если только она осуществима. Раз уж браться за такое дело, надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять?

— Вы отлично знаете,— прибавил Лега,— что большинство из нас — серьезные писатели. Как ни уважаю я всех присутствующих, но боюсь, что в качестве юмористов мы будем напоминать слона, танцующего тарантеллу.

— Я отнюдь не говорю, что мы должны взяться за работу, которая нам не по плечу. Надо найти талантливого сатирика, а такой, вероятно, есть в Италии, и изыскать необходимые средства. Разумеется, мы должны знать этого человека и быть уверены, что он будет работать в нужном нам направлении.

— Но где его достать? Я могу пересчитать по пальцам всех более или менее талантливых сатириков, но их не привлечешь. Джусти не согласится — он и так слишком занят. Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте.

— И кроме того,— сказал Грассини,— на тосканский народ можно воздействовать более почтенными средствами. Мы обнаружим по меньшей мере отсутствие политического такта, если будем трактовать серьезный вопрос о гражданской и религиозной свободе в шуточной форме. Флоренция не город фабрик и наживы, как Лондон, и не притон для сибаритов, как Париж. Это город с великим прошлым.

— Таковы были и Афины,— с улыбкой перебила его синьора Болла.— Но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы пробудить их.

Риккардо ударил рукой по столу:

— Овод! Как это мы не вспомнили о нем? Вот человек, который нам нужен!

— Кто это?

— Овод — Феличе Риварес. Не помните? Он из группы Муратори, которая пришла сюда с города три назад.

— Вы знаете эту группу? Впрочем, вспоминаю! Вы провожали их в Париж.

— Да, я доехал с Риваресом до Ливорно и оттуда отправил его в Марсель. Ему не хотелось оставаться в Тоскане. Он заявил, что после неудачного восстания остается только смеяться и что поэтому лучше уехать в Париж. Он, очевидно, согласен с синьором Грассини, что Тоскана неподходящее место для смеха. Но если мы его пригласим, он вернется, узнав, что теперь есть возможность действовать в Италии. Я в этом почти уверен.

— Как вы его назвали?

— Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, жил в Бразилии. Я, пожалуй, не встречал более

остроумного человека. В то время в Ливорно нам было, конечно, не до веселья — один Ламбертини чего стоил! Сердце разрывалось на него глядя... Но мы не могли удержаться от смеха, когда Риварес заходил в комнату,— сплошной фейерверк остроумия! На лице у него большой шрам от сабельного удара. Шов накладывал я. Странный он человек... Но я уверен, что его шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния.

— Не он ли пишет политические фельетоны во французских газетах под псевдонимом *Le Taon*¹!

— Да. По большей части коротенькие статейки и юмористические фельетоны. Апеннины контрабандисты прозвали Ривареса Оводом за его злой язык, и с тех пор он взял себе этот псевдоним.

— Мне кое-что известно об этом субъекте,— как всегда, солидно и неторопливо вступил в разговор Грассини,— и не могу сказать, чтобы то, что я о нем слышал, располагало в его пользу. Овод, несомненно, наделен блестящим умом, но человек он поверхностный, и мне кажется — таланты его переоценили. Весьма вероятно, что у него нет недостатка в мужестве. Но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это человек, жизнь которого изобиловала сомнительными похождениями, человек, неизвестно откуда взявшийся. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в дебрях Южной Америки в ужасном состоянии, почти одичалого. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить, чем было вызвано такое падение. А что касается событий в Апеннинах, то в этом неудачном восстании принимал участие всякий сброд — это ни для кого не секрет. Все знают, что казненные в Болонье были самыми настоящими преступниками. Да и нравственный облик многих из скрывшихся не поддается описанию. Правда, некоторые из участников — люди весьма достойные.

— И находятся в тесной дружбе со многими из здесь присутствующих! — оборвал Грассини Риккардо, и в его голосе прозвучали негодящие нотки.— Щепетильность и строгость весьма похвальные качества, но не следует забывать, Грассини, что эти «настоящие преступники»

¹ Овод (франц.).

пожертвовали жизнью ради своих убеждений, а это побольше, чем сделали мы с вами.

— В следующий раз,— добавил Галли,— когда кто-нибудь будет передавать вам старые парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре они ошибаются. Я лично знаком с помощником Дюпре, Мартелем, и слышал от него всю историю. Верно, что они нашли Ривареса в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику, был взят в плен и бежал. Потом, переодетый, скитался по стране, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Версия, будто экспедиция подобрала его из милости,— чистейший вымысел. Их переводчик заболел и должен был вернуться обратно, а сами французы не знали местных наречий. Ривареса взяли в переводчики, и он провел с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. По словам Мартеля, им никогда не удалось бы довести до конца свою работу, если бы не Риварес.

— Кто бы он ни был,— вмешался Фабрици,— но должно же быть что-то выдающееся в человеке, который сумел обвзржить таких опытных людей, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, синьора?

— Я о нем ровно ничего не знаю. Я была в Англии, когда эти беглецы проезжали Тоскану. Но если о Риваресе отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с ним по диким странам, а также товарищи, участвовавшие в том восстании, то этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на бульварные сплетни.

— О его товарищах и говорить нечего,—сказал Риккардо.— Ривареса обожали поголовно все, от Муратори и Замбеккари до самых диких горцев. Кроме того, он личный друг Орсини. Правда, в Париже о нем рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком.

— Я не совсем уверен, но, кажется, я видел его как-то, когда эти политические эмигранты были здесь,— сказал Лега.— Он ведь не то горбат, не то хромает?

Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал листать их.

— У меня, кажется, есть полицейское описание его примет,— сказал он.— Вы помните, когда им удалось

бежать и скрыться в горах, повсюду были разосланы их приметы, а кардинал... как же зовут этого негодяя? да, кардинал Спинола! Так вот, он даже предлагал награду за их головы. В связи с этим рассказывают одну очень интересную историю. Риварес надел старый солдатский мундир и бродил по стране под видом раненого карабинера, отыскивающего свою часть. Во время этих странствований он наткнулся на отряд, посланный Спинолой на его же розыски, и целый день ехал с солдатами в одной повозке и рассказывал душераздирающие истории о том, как бунтовщики взяли его в плен, затащили в свой притон в горах и подвергли ужасным пыткам. Солдаты показали ему бумагу с описанием его примет, и он наговорил им всякого вздору о «дьяволе», которого прозвали Оводом. Потом ночью, когда все улеглись спать, Риварес влил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и патронами... А, вот, нашел! — сказал Фабрицци, оборвав свой рассказ.— «Феличе Риварес, по прозвищу Овод. Возраст — около тридцати лет. Место рождения и родители неизвестны, но по некоторым данным он из Южной Америки. Профессия — журналист. Небольшого роста. Волосы черные. Борода черная. Смуглый. Глаза голубые. Лоб высокий. Нос, рот, подбородок...» Да, вот еще: «Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, левая рука скрючена, недостает двух пальцев. Шрам на лице. Заикается». Затем добавлено: «Очень искусный стрелок — при аресте следует соблюдать осторожность».

— Удивительная вещь! Как он их обманул с таким внушительным списком примет?

— Выручила его, несомненно, только смелость. Малейшее подозрение, и он бы погиб. Ему удается выходить из любых положений благодаря умению принимать невинный, внушающий доверие вид... Ну, так, господа, что же вы обо всем этом думаете? Оказывается, Ривареса многие из вас хорошо знают. Что ж, давайте напишем ему, что мы будем рады его помочи.

— Сначала надо все-таки познакомить его с нашим планом,— заговорил Фабрицци,— и узнать, согласен ли он с ним.

— Ну, поскольку речь идет о борьбе с иезуитами, Риварес согласится. Я не знаю более непримиримого антиклерикала. В этом отношении он просто бешеный.

— Итак, вы напишете ему, Риккардо?

— Конечно. Сейчас припомню, где он теперь. Кажется, в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо: вечно кочует. Ну а что касается памфлетов...

Вновь началась оживленная дискуссия. Когда наконец все стали расходиться, Мартини подошел к спокойной молодой женщине.

— Я провожу вас, Джемма.

— Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах.

— Опять что-нибудь с адресами? — спросил он вполголоса.

— Ничего серьезного. Но все-таки, мне кажется, пора что-то предпринять. На этой неделе на почте задержали два письма. И то и другое совершенно безобидные, да и задержка эта, может быть, простая случайность. Однако рисковать нельзя. Если полиция взяла под сомнение хоть один из наших адресов, их надо немедленно изменить.

— Я приду к вам завтра. Не стоит сейчас говорить о делах — у вас усталый вид.

— Я не устала.

— Так, стало быть, опять расстроены чем-нибудь?

— Нет, так, ничего особенного.

ГЛАВА II

— Кэтти, миссис Болла дома?

— Да, сударь, она одевается. Пожалуйте в гостиную, она сейчас сойдет вниз.

Кэтти встретила гостя с истинно девонширским радушием. Мартини был ее любимцем. Он говорил по-английски — конечно, как иностранец, но все-таки вполне прилично, — не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, разглагольствовать громогласно о политике, как это часто делали другие. А главное — Мартини приезжал в Девоншир поддержать миссис Боллу в самое тяжелое для нее время, когда у нее умер ребенок и умирал муж. С той поры этот рослый, неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый черный кот Пашт, который сейчас примостился у него

на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини как на весьма полезную вещь в доме. Этот гость не наступал ему на хвост, не пускал табачного дыма в глаза, подобно прочим, весьма навязчивым двуногим существам, позволял удобно свернуться у него на коленях и мурлыкать, а за столом всегда помнил, что коту вовсе не интересно только смотреть, как люди едят рыбку. Дружба между ними завязалась уже давно. Когда Пашт был еще котенком, Мартини взял его под свое покровительство и привез из Англии в Италию в корзинке, так как большой хозяйке было не до него. И с тех пор кот имел много случаев убедиться, что этот неуклюжий, похожий на медведя человек — верный друг ему.

— Как вы оба уютно устроились! — сказала, входя в комнату, Джемма.— Можно подумать, что вы рассчитываете провести так весь вечер!

Мартини бережно снял кота с колен.

— Я пришел пораньше,— сказал он,— в надежде, что вы дадите мне чашку чая, прежде чем мы тронемся в путь. У Грассини будет, вероятно, очень много народа и скучный ужин. В этих фешенебельных домах всегда плохо кормят.

— Ну вот! — сказала Джемма, смеясь.— У вас такой же злой язык, как у Галли. Бедный Грассини и так обременен грехами. Зачем ставить ему в вину еще и то, что его жена — плохая хозяйка? Ну, а чай сию минуту будет готов. Кэтти испекла специально для вас девонширский кекс.

— Кэтти — добрая душа, не правда ли, Пашт? Кстати, то же можно сказать и о вас — я боялся, что вы забудете мою просьбу и наденете другое платье.

— Я ведь вам обещала, хотя в такой теплый вечер в нем, пожалуй, будет жарко.

— Нет, в Фьезоле много прохладнее. А вам белый кашемир очень идет. Я принес цветы специально к этому вашему наряду.

— Какие чудесные розы! Просто прелесть! Но лучше поставить их в воду, я не люблю прикалывать цветы к платью.

— Ну вот, что за предрассудок!

— Право же, нет. Просто, я думаю, им будет грустно провести вечер с такой скучной особой, как я.

— Увы! Нам всем придется поскушать на этом вечере. Воображаю, какие там будут невыносимо нудные разговоры!

— Почему?

— Отчасти потому, что все, к чему ни прикоснется Грассини, становится таким же нудным, как и он сам.

— Не злословьте. Стыдно так говорить о человеке, в гости к которому идешь.

— Вы правы, как всегда, мадонна¹. Тогда скажем так: будет скучно, потому что большинство интересных людей не придет.

— Почему?

— Не знаю. Уехали из города, больны или еще что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько ученых немцев и русских князей, обычная разношерстная толпа туристов, кое-кто из литературного мира и несколько французских офицеров. И больше никого, насколько мне известно, за исключением, впрочем, нового сатирика. Он выступает в качестве главной приманки.

— Новый сатирик? Как! Риварес? Но мне казалось, что Грассини относится к нему весьма неодобрительно.

— Да, это так. Но, поскольку человек здесь и о нем будут говорить, Грассини, конечно, желает, чтобы лев был выставлен напоказ прежде всего в его доме. Да будьте уверены, Риварес не подозревает, как к нему относится Грассини. А мог бы догадаться — он человек сообразительный.

— Я и не знала, что он уже здесь!

— Только вчера приехал... А вот и чай. Не вставайте, я подам чайник.

Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой комнатке. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно не подозревала своей власти над ним, ее простота и сердечность — все это озаряло светом его далеко не радостную жизнь. И всякий раз, когда Мартини становилось особенно грустно, он приходил сюда по окончании работы, сидел, большей частью молча, и смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Джемма ни о чем его не расспрашивала, не выражала ему своего сочувствия. И все-таки он ухо-

¹ Здесь: сударыня, госпожа.

дил от нее подбодренный и успокоенный, чувствуя, что «теперь можно протянуть еще недельку-другую». Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и когда два года назад лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии и перестреляны,— быть может, только непоколебимая твердость ее духа и спасла его от полного отчаяния.

В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о делах», то есть о работе партии Мадзини, деятельными и преданными членами которой были они оба. Тогда Джемма преображалась: она была проницательна, хладнокровна, логична, неизменно пунктуальна и беспристрастна. Те, кто знал Джемму только по партийной работе, считали ее опытным и дисциплинированным товарищем, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но не признавали за ней яркой индивидуальности. «Она прирожденный конспиратор, стоящий десятка таких, как мы, но больше о ней ничего не скажешь,— говорил Галли. «Мадонна Джемма», которую так хорошо знал Мартини, открывала себя далеко не всем.

— Ну, так что же представляет собой ваш новый сатирик? — спросила она, открывая буфет и глядя через плечо на Мартини.— Вот вам, Чезаре, ячменный сахар и глазированные фрукты. И почему это, кстати сказать, революционеры так любят сладкое?

— Другие тоже любят, только считают ниже своего достоинства сознаваться в этом... Новый сатирик — типичный дамский кумир, но вам он, конечно, не понравится. Своего рода профессиональный остряк, который с томным видом бродит по свету в сопровождении хорошенькой танцовщицы.

— Танцовщица существует на самом деле или вы просто не в духе и тоже решили стать профессиональным остряком?

— Боже сохрани! Танцовщица — существо вполне реальное, она весьма недурна собой и должна нравиться любителям беззастенчивых красоток. У меня лично вкусы другие. Риккардо говорит, что она венгерская цыганка. Риварес вывез ее из какого-то провинциального театрика в Галиции. И, по-видимому, наш Овод порядочный наглец — он как ни в чем не бывало вводит ее в общество, точно это его незамужняя тетушка.

— Ну что ж, это делает ему честь, если он вырвал ее из такой обстановки.

— В свете к подобным вещам относятся несколько иначе, не так, как вы, мадонна. Бряд ли там кто-нибудь сочтет для себя большой честью знакомство с чьей-то любовницей.

— А откуда известно, любовница она или нет? Не с его же слов!

— Тут не может быть никаких сомнений — достаточно одного взгляда на нее. Но я думаю, что даже у Ривареса не хватит смелости ввести эту особу в дом Грассини.

— Да ее там и не приняли бы. Синьора Грассини не потерпит такого нарушения приличий. Но меня интересует сатирик Риварес, а не что-нибудь другое. Фабрици говорил, что ему уже написали и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Больше я ничего о нем не слышала. Последнюю неделю была такая уйма работы.

— Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. С оплатой, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать безвозмездно.

— Значит, у него есть средства?

— Должно быть. Хотя это очень странно. Вы помните, у Фабрици рассказывали, в каком состоянии его подобрала экспедиция Дюпре. Но, говорят, у него есть паи в бразильских рудниках, а кроме того, он имел огромный успех как фельетонист в Париже, в Вене и в Лондоне. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере пятью-шестью языками, и ему ничто не помешает, живя здесь, продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимает у него так уж много времени.

— Это верно. Однако нам пора идти, Чезаре. Розы я все-таки приколю. Подождите минутку.

Она поднялась наверх и скоро вернулась с приколотыми к лифу розами и в черной испанской мантилье. Мартини окинул ее взглядом художника и сказал:

— Вы настоящая царица, мадонна моя, великая и мудрая царица Савская!

— Такое сравнение меня вовсе не радует, — возразила Джемма со смехом. — Если бы вы знали, сколько

я положила трудов, чтобы иметь вид светской дамы! Как же можно конспиратору походить на царицу Савскую? Разве так отделываются от шпионов?

— Все равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на светскую пустышку. Но это не важно. Вы слишком красивы, чтобы шпики, глядя на вас, угадали ваши политические убеждения. Так что вам не нужно глупо хихикать в веер, подобно синьоре Грассини.

— Довольно, Чезаре, оставьте в покое эту бедную женщину. Подсластите свой язык ячменным сахаром... Готово? Ну, теперь пойдемте.

Мартини был прав, когда предсказывал, что вечер будет многолюдным и скучным. Литераторы вежливо болтали о пустяках и, видимо, безнадежно скучали, а «разношерстная толпа туристов и русских князей» переходила из комнаты в комнату, вопрошая всех, кто тут чем знаменит, и силясь поддерживать умный разговор. Грассини принимал гостей с вежливостью, так же тщательно отполированной, как и его ботинки. Но когда он увидал Джемму, его холодное лицо ожило. В сущности, Грассини не любил Джемму и в глубине души даже побаивался ее, но он понимал, что без этой женщины его салон проиграл бы в значительной степени. Дела Грассини шли хорошо, ему удалось выдвинуться на своем поприще, и теперь, став человеком богатым и известным, он задался целью сделать свой дом центром либеральной интеллигенции. Грассини с горечью сознавал, что увядшая разряженная куколка, на которой он так опрометчиво женился в молодости, не годится в хозяйки большого литературного салона. Когда ему удавалось заполучить к себе Джемму, он мог быть уверен, что вечер пройдет удачно. Спокойные и изящные манеры этой женщины вносили в общество непринужденность, и одно ее присутствие стирало тот налет вульгарности, который, как ему казалось, отличал его дом.

Синьора Грассини встретила Джемму очень приветливо.

— Как вы сегодня очаровательны! — громким шепотом сказала она, окидывая белое кашемировое платье враждебно-критическим взором.

Синьора Грассини всем сердцем ненавидела свою гостью именно за то, за что Мартини любил ее: за спо-

койную силу характера, за прямоту, за здравый ум, даже за выражение лица. А если синьора Грассини ненавидела женщину, она была с ней подчеркнуто нежна. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям и пропускала их мимо ушей. Такие «выезды в свет» были для нее утомительной и неприятной обязанностью, которую должен выполнять каждый конспиратор, если он не хочет привлечь внимание шпионов. Она считала эту работу не менее утомительной, чем работу шифровальщика, и, зная, насколько важно для отвлечения подозрений иметь репутацию со вкусом одетой женщины, изучала модные журналы так же тщательно, как ключи к шифрам.

Скучающие литературные львы несколько оживились, лишь только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и журналисты — особенно радикального направления — сейчас же потянулись к ней. Но Джемма была слишком опытным конспиратором, чтобы отдать им все свое внимание. С радикалами можно встречаться каждый день, поэтому теперь она мягко указала им их сегодняшнюю задачу, заметив с улыбкой, что не стоит тратить время на нее, когда здесь так много туристов, — говорить нужно с ними. Сама же усердно занялась членом английского парламента, расположение которого было очень важно для республиканской партии. Он был известный финансист, и Джемма сначала спросила его мнение о каком-то техническом вопросе, связанном с австрийской валютой, а потом ловко навела разговор на состояние ломбардо-венецианского государственного дохода. Англичанин, ожидавший обычной светской болтовни, покосился на Джемму, испугавшись, очевидно, что попал в когти к синему чулку. Но, убедившись, что разговаривать с этой женщиной не менее приятно, чем смотреть на нее, он покорился и стал так глубокомысленно обсуждать итальянские финансовые дела, словно перед ним был сам Меттерних. Когда Грассини подвел к Джемме француза, который пожелал узнать у синьоры Боллы историю возникновения «Молодой Италии», изумленный член парламента убедился, что Италия действительно имеет больше оснований для недовольства, чем он предполагал.

К концу вечера Джемма незаметно выскользнула на террасу под окнами гостиной, ей хотелось посидеть од-

ной среди высоких камелий и олеандров. От духоты и мелькания гостей у нее началась головная боль. В конце террасы в больших кадках, скрытых бордюром из лилий и других цветущих растений, стояли пальмы и высокие папоротники. Все это вместе образовывало сплошную ширму, за которой оставался свободный уголок с прекрасным видом на долину. Ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами, свисали над узким проходом между растениями.

В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Ей хотелось отдохнуть в тишине и уединении и избавиться от головной боли. Ночь была теплая, безмятежно тихая, но после душной гостиной воздух показался Джемме прохладным, и она накинула на голову мантилью.

Звуки приближающихся шагов и чьи-то голоса заставили ее очнуться от дремоты, которая начала ею овладевать. Она подалась дальше в тень, надеясь оставаться незамеченной и выиграть еще несколько драгоценных минут тишины, прежде чем напрягать свой усталый мозг, поддерживая разговоры в гостиной. Но, к ее величайшей досаде, шаги затихли как раз у плотной ширмы растений. Тонкий, пискливый голосок синьоры Грассини умолк.

Послышался мужской голос, мягкий и музыкальный; однако странная манера его обладателя растягивать слова немного резала слух. Что это было — просто рисовка или прием, рассчитанный на то, чтобы скрыть какой-то недостаток речи! Так или иначе — впечатление получалось неприятное.

— Англичанка? — проговорил этот голос.— Но фамилия у нее итальянская. Как вы сказали — Болла?

— Да. Она вдова несчастного Джованни Боллы — помните, он умер в Англии года четыре назад. Ах да, я все забываю: вы ведете кочующий образ жизни, и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много!

Синьора Грассини вздохнула. Она всегда беседовала с иностранцами в таком тоне. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с ее институтскими манерами и наивным выражением лица.

— Умер в Англии... — повторил мужской голос. — Значит, он был эмигрантом? Я когда-то слышал это имя. Не входил ли Болла в организацию «Молодая Италия» в первые годы ее существования?

— Да, Боллу в числе других несчастных юношей арестовали в тридцать третьем году. Припоминаете это печальное дело? Его освободили через несколько месяцев, а потом, спустя два-три года, был подписан новый приказ о его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он женился там. В высшей степени романтическая история, но бедный Болла всегда был романтиком.

— Умер в Англии, вы говорите?

— Да, от чахотки. Не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью жена лишилась и единственного сына: он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму! Она, бедняжка, немного чопорна, как и все англичанки. Но перенести столько несчастий! Поневоле станешь печальной и...

Джемма встала и раздвинула ветви гранатового дерева. Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ею горестях, было невыносимо, и она вышла на свет, не скрывая своего неудовольствия.

— А вот и она сама! — как ни в чем не бывало воскликнула хозяйка. — Джемма, дорогая, а я-то недоумевала, куда вы пропали! Синьор Феличе Риварес хочет познакомиться с вами.

«Так вот он, Овод!» — подумала Джемма, с любопытством глядываясь в него.

Риварес учтиво поклонился и окинул ее взглядом, который показался ей пронизывающим и даже дерзким.

— Вы выбрали себе в-восхитительный уголок, — сказал он, глядя на плотную ширму зелени. — И какой отсюда п-прекрасный вид!

— Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом.

— В такую чудесную ночь сидеть в комнатах просто грехно, — проговорила хозяйка, поднимая глаза к звездам. (У нее были густые ресницы, и она любила показывать их.) — Взгляните, синьор: ну разве не рай наша милая Италия? Если б она была только свобод-

на! Страна-рабыня! Страна с такими цветами, с таким небом!

— И с такими патриотками! — томно протянул Овод.

Джемма взглянула на него почти с испугом: такая дерзость не могла пройти незамеченной. Но она не учла, насколько падка синьора Грассини на комплименты, а та, бедняжка, со вздохом потупила глазки.

— Ах, синьор, женщина так мало может сделать! Но как знать, может быть, мне и удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой... А сейчас мне нужно вернуться к своим обязанностям. Французский посол просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы должны тоже представиться ей. Она прелестная девушка... Джемма, дорогая, я привела синьора Ривареса, чтобы показать ему, какой отсюда открывается чудесный вид. Оставляю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нем и познакомите его со всеми... А вот и обворожительный русский князь! Вы с ним не встречались? Говорят, это фаворит императора Николая. Он командует гарнизоном какого-то польского города с таким названием, что и не выговоришь. *Quelle nuit magnifique! N'est-ce pas, mon prince?*¹

Она порхнула, щебеча, к господину с бычьей шеей, тяжелой челюстью и множеством орденов на мундире, и вскоре ее жалобные причитанья о «нашем несчастном отечестве», пересыпанные возгласами «charmant»² и «mon prince», замерли вдали.

Джемма молча стояла под гранатовым деревом. Ее возмутило оскорбительное замечание Овода, и она пожалела бедную, глупенькую женщину. Он проводил удаляющуюся пару таким взглядом, что Джемму просто зло взяло: насмехаться над этими жалкими существами было невеликодушно.

— Вот вам итальянский и русский патриотизм,— сказал Овод, с улыбкой поворачиваясь к ней.— Идут под ручку, такие довольные друг другом! Какой вам больше нравится?

Джемма нахмурилась и промолчала.

¹ Какая великолепная ночь! Не правда ли, князь? (франц.)

² Очаровательно (франц.).

— Конечно, это д-дело вкуса,— продолжал Риварес,— но, по-моему, русская разновидность патриотизма лучше — в ней чувствуется такая добротность! Если б Россия полагалась на цветы и небеса вместо пороха и пушек, вряд ли «топ prince» удержался бы в своей п-польской крепости.

— Высказывать свои взгляды можно,— холодно проговорила Джемма,— но зачем попутно высмеивать хозяйку дома!

— Да, правда, я и забыл, как в-высоко ставят в Италии долг гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы! Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть?

Прихрамывая, он прошел по террасе и принес Джемме стул, а сам стал против нее, облокотившись о балюстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь его можно было рассмотреть как следует.

Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо если и не очень приятное, то, во всяком случае, запоминающееся, сластным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросалась в глаза склонность к франтовству и почти нескрываемая надменность. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, проворен, как кошка. Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека у него были обозражены длинным кривым шрамом,— по-видимому, от удара саблей, и Джемма заметила, что, когда он начинал зияться, левую сторону лица подергивала нервная судорога. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, беспокояще, тревожно красив, но в общем лицо его не отличалось привлекательностью.

Овод снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыка.

«Вот так говорил бы ягуар, будь он в хорошем настроении и имей он дар речи»,— подумала Джемма, раздражаясь все больше и больше.

— Я слышал,— сказал он,— что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах.

— Пишу иногда. У меня мало свободного времени.

— Ах да, это понятно, синьора Грассини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами.

Джемма чуть подняла брови. Очевидно, синьора

Грассини по своей глупости наболтала лишнего этому неприятному человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме.

— Да, это правда, я очень занята, но синьора Грассини преувеличивает значение моей работы,— сухо ответила она.— Все это по большей части совсем несложные дела.

— Ну что же, было бы очень плохо, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию. Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги может привести каждого в легкомысленное настроение, хотя бы в целях самозащиты. Да, да! Я знаю, что вы хотите сказать. Правильно, правильно! Но их ходульный патриотизм меня просто чарует!.. Вы хотите вернуться в комнаты?.. Зачем? Здесь так хорошо!

— Нет, нужно идти. Ах, моя мантилья... Благодарю вас.

Риварес поднял мантилью и, выпрямившись, посмотрел на Джемму глазами невинными и голубыми, как незабудки у ручья.

— Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой,— проговорил он тоном кающегося грешника.— Но разве можно не смеяться над ней?

— Если вы меня спрашиваете, я вам скажу: по-моему, невеликодушно и... нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это все равно, что смеяться над калекой или...

Он вдруг болезненно перевел дыхание и, отшатнувшись от Джеммы, взглянул на свою хромую ногу и искаленную руку, но через секунду овладел собою и разразился хохотом.

— Сравнение не слишком удачное, синьора: мы, калеки, не кичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью, и признаем, что физические изъяны ничуть не лучше изъянов моральных... Здесь ступенька — обопрitezься о мою руку.

Джемма молча шла рядом с ним, его неожиданная чувствительность смущила ее и сбила с толку.

Как только Риварес распахнул перед ней двери зала, она поняла, что в их отсутствие здесь что-то случилось. На лицах мужчин было написано и негодование и растерянность; дамы толпились у дверей, напустив на се-

бя непринужденный вид, будто ничего не произошло, но их щеки пылали румянцем. Хозяин то и дело поправлял очки, тщетно пытаясь скрыть свою ярость, а туристы, собравшись кучкой, бросали любопытные взгляды в дальний конец зала. Очевидно, там и происходило то, что казалось им таким забавным, а всем прочим — оскорбительным. Одна синьора Грассии ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарем голландского посольства, который слушал ее усмехаясь.

Джемма остановилась в дверях и посмотрела на своего спутника — уловил ли он это всеобщее замешательство? Овод перевел взгляд с пребывающей в блаженном неведении хозяйки на диван в глубине зала, и по его лицу скользнуло выражение злого торжества. Джемма догадалась сразу: он явился сюда со своей любовницей, выдав ее за нечто другое, и провел лишь одну синьору Грассии.

Цыганка сидела, откинувшись на спинку дивана, окруженнная любезничающими с ней молодыми людьми и учтиво-насмешливыми кавалерийскими офицерами. Восточная яркость ее роскошного желто-красного платья и обилие драгоценностей резко выделялись в этом флорентийском литературном салоне — словно какая-то тропическая птица залетела в стаю воробьев и скворцов. Эта женщина сама явно чувствовала себя не в своей тарелке и поглядывала на оскорбленных ее присутствием дам с презрительно-злой гримасой. Увидев Овода, она вскочила с дивана, подошла к нему и быстро заговорила на безобразно ломаном французском языке:

— Мосье Риварес, я вас всюду искала! Граф Салтыков спрашивает, приедете ли вы к нему завтра вечером на виллу? Будут танцы.

— Очень сожалею, но вынужден отказаться. К тому же танцевать я не могу... Синьора Болла, разрешите мне представить вам мадам Зиту Рени.

Цыганка бросила на Джемму почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартини сказал правду: она была, несомненно, красива, но в этой красоте чувствовалось что-то грубое, неодухотворенное. Ее свободные, грациозные движения радовали глаз, а лоб был низкий, очертания тонких ноздрей неприятные, чуть ли не хищные. Присутствие цыганки только усилило неловкость,

которую Джемма ощущала наедине с Оводом, и она почувствовала какое-то странное облегчение, когда спустя минуту к ней подошел хозяин и попросил ее занять туристов в соседней комнате.

— Ну, что вы скажете об Оводе, мадонна? — спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию.— Вот наглец! Как он посмел так одурачить бедную синьору Грассини!

— Вы о танцовщице?

— Ну разумеется! Ведь он сказал, что эта танцовщица будет звездой сезона. А синьора Грассини готова на все ради знаменитостей!

— Да, такой поступок жесток и не делает ему чести. Он поставил хозяев в неловкое положение и, кроме того, не пощадил и эту женщину. Я уверена, что она чувствовала себя ужасно.

— Вы, кажется, говорили с ним? Какое впечатление он на вас произвел?

— Знаете, Чезаре, я только и думала, как бы поскорее избавиться от него! Первый раз в жизни встречаю такого утомительного собеседника. Через десять минут у меня начало стучать в висках. Это воплощение дьявольской силы, не знающей покоя!

— Я так и думал, что он вам не понравится; откровенно говоря, мне тоже. Этот человек скользок, как угорь. Я ему не доверяю.

ГЛАВА III

Овод снял дом за Римскими воротами, недалеко от Зиты. Он был, очевидно, большой сибарит. Обстановка его квартиры, правда, не поражала изысканностью, но во всех мелочах сказывались любовь к роскоши и привычный, тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Риккардо. От человека, прожившего не один год на берегах Амазонки, они ждали большей простоты привычек и недоумевали, глядя на его безукоризненные галстуки, множество ботинок и букеты цветов, постоянно стоявшие у него на письменном столе. Но в общем они с ним поладили. Овод был дружелюбен, радушен, особенно это от-





носилось к членам местной организации партии Мадзини. Но Джемма, видимо, представляла исключение из этого правила: он невзлюбил ее с первой же встречи и всячески избегал ее общества, а в двух-трех случаях даже был резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу; у них были настолько разные характеры, что ничего, кроме неприязни, они друг к другу чувствовать не могли. Но у Мартини эта неприязнь скоро перешла в открытую вражду.

— Меня мало интересует, как он ко мне относится,— раздраженно сказал однажды Мартини.— Я сам его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но его отношение к вам непростительно. Я бы потребовал у него объяснений по этому поводу, но боюсь скандала: не сориться же с ним после того, как мы сами его сюда пригласили.

— Не сердитесь, Чезаре. Это все неважно. Да к тому же я сама виновата не меньше Овода.

— В чем же вы виноваты?

— В том, что он меня так невзлюбил. Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грассини, я была жестока с ним.

— Вы — жестоки? Не верю, мадонна!

— Конечно, это вышло нечаянно, и я сама была очень огорчена. Я сказала что-то насчет насмешек над калеками, а он принял это на свой счет. Мне и в голову не приходило считать его калекой: он вовсе не так уж изуродован.

— Разумеется. Только одно плечо выше другого да левая рука порядком искалечена, но он не горбун и не косолапый. Немного прихрамывает, но об этом и говорить не стоит.

— Я помню, как он тогда вздрогнул и побледнел. С моей стороны это была, конечно, ужасная бес tactность, но все-таки странно, что он так чувствителен. Вероятно, ему часто приходилось страдать от насмешек на свой счет.

— Гораздо легче себе представить, как он сам насмеяется над другими. При всем изяществе своих манер он по натуре человек грубый, и это противно.

— Вы несправедливы, Чезаре. Мне Риварес тоже не нравится, но зачем же преувеличивать его недостатки?

Правда, у него аффектированная и раздражающая манера держаться — виной этому, очевидно, избалованность. Правда и то, что вечное острословие страшно утомительно. Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью.

— Какая у него может быть цель, я не знаю, но в человеке, который вечно все высмеивает, есть что-то нечистоплотное. Противно было слушать, как на одном собрании у Фабрици он глумился над последними реформами в Риме. Ему, должно быть, во всем хочется найти какой-то гадкий мотив.

Джемма вздохнула.

— В этом пункте я, пожалуй, скорее соглашусь с ним, чем с вами,— сказала она.— Вы все легко предаетесь радужным надеждам, вы склонны думать, что если на папский престол взойдет добродушный господин средних лет, все остальное приложится: он откроет две-ри тюрем, раздаст свои благословения направо и налево — и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы не понимаете, что папа при всем своем желании не сможет водворить на земле справедливость. Дело здесь не в поступках того или другого человека, а в неверном принципе.

— Какой же это неверный принцип? Светская власть папы?

— Почему? Это частность. Дурно то, что одному человеку дается право казнить и миловать. На такой ложной основе нельзя строить отношения между людьми.

Мартини умоляюще воздел руки.

— Пощадите, мадонна! — сказал он, смеясь.— Эти парадоксы мне не по силам. Бьюсь об заклад, что в семнадцатом веке ваши предки были левеллеры! Кроме того, я пришел не спорить, а показать вам вот эту рукопись.

Мартини вынул из кармана несколько листков бумаги.

— Новый памфлет?

— Еще одна нелепица, которую этот злополучный Риварес представил ко вчерашнему заседанию комитета. Знал я, что скоро у нас с ним дойдет до драки.

— Да в чем же дело? Право, Чезаре, вы предубеждены против него. Риварес, может быть, неприятный человек, но он не дурак.

— Я не отрицаю, что памфlet написан не глупо, но прочтите лучше сами.

В памфлете высмеивались бурные восторги, которые все еще вызывал в Италии новый папа. Написан он был язвительно и злобно, как все, что выходило из-под пера Овода; но как ни раздражал Джемму его стиль, в глубине души она не могла не признать справедливости такой критики.

— Я вполне согласна с вами, что это злопыхательство отвратительно,— сказала она, положив рукопись на стол.— Но ведь это все правда — вот что хуже всего!

— Джемма!

— Да, это так. Называйте этого человека жестоким, называйте скользким угрем, но правда на его стороне. Бесполезно убеждать себя, что памфlet не попадет в цель. Попадет!

— Вы, пожалуй, скажете, что его надо напечатать?

— А это другой вопрос. Я не думаю, что его следует печатать в таком виде. Он оскорбит и оттолкнет от нас решительно всех и не принесет никакой пользы. Но если Риварес переделает его немного, выбросив нападки личного характера, тогда это будет действительно ценная вещь. Политическая часть памфлета превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует, то, чего не решаемся сказать мы. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьяницей, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривает его карманы!

— Джемма! Да ведь это самое худшее место во всем памфлете! Я не выношу такого огульного облавивания всех и вся.

— Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный стиль, да и сам он человек непривлекательный, но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобызаниями и призывами к любви и миру и что иезуиты и санфедисты сумеют обратить все это в свою пользу, он тысячу раз прав. Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов остановились?

— Да вот за этим я и пришел: вас просят сходить к Риваресу и убедить его, чтобы он смягчил свой памфlet.

— Меня? Но я его почти не знаю. И, кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна идти, а не кто-нибудь другой?

— Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас: вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.

— От этого я воздержусь, конечно. Ну хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю, надежды на успех мало.

— А я уверен, что вы сумеете уломать его. И скажите ему, что комитет восхищается памфлетом как литературным произведением. Он сразу подобреет от такой похвалы, и притом это совершенная правда.

Овод сидел у письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматая шотландская овчарка, лежавшая на ковре у его ног, подняла голову и зарычала, когда Джемма постучалась в приоткрытую дверь. Овод поспешно встал и отвесил гостью сухой, церемонный поклон. Лицо его вдруг словно окаменело, утратило всякое выражение.

— Вы слишком любезны,— сказал он ледяным тоном.— Если бы мне дали знать, что вы хотите меня видеть, я бы сейчас же явился к вам.

Чувствуя, что он мысленно проклинает ее, Джемма сразу же приступила к делу. Овод опять поклонился и пододвинул ей кресло.

— Я пришла к вам по поручению комитета,— начала она.— Там возникло некоторое разногласие насчет вашего памфлета.

— Я так и думал.— Он улыбнулся и, сев против нее, передвинул на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить от света лицо.

— Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде печатать его неудобно. Резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка так важны для партии.

Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею — словно она

уже видела когда-то раньше движение этих тонких пальцев.

— Как литературное произведение памфлет мой ничего не стоит,— проговорил он вполголоса, ледяным тоном,— и с этой точки зрения им могут восторгаться только те, кто ничего не смыслит в литературе. А что он оскорбителен — так ведь я этого и хотел.

— Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары могут попасть не в тех, в кого нужно.

Овод пожал плечами и прикусил оторванный лепесток.

— По-моему, вы ошибаетесь,— сказал он.— Вопрос стоит так: для чего пригласил меня ваш комитет? Кажется, для того, чтобы вывести иезуитов на чистую воду и высмеять их. Эту обязанность я и выполняю по мере своих способностей.

— Могу вас уверить, что никто не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, как бы памфlet не оскорбил либеральную партию и не лишил нас моральной поддержки рабочих. Ваш памфlet направлен против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового папу, а это по тактическим соображениям комитет считает нежелательным.

— Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю на тех господ из духовенства, с которыми партия теперь в дурных отношениях, мне разрешается говорить всю правду. Но как только я коснусь священников — любимцев комитета, тогда оказывается — «правду всегда гонят из дома, как сторожевую собаку, а святой отец пусть нежится у камина и...» Да, шут был прав, но из меня шута не получится. Конечно, я подчинюсь решению комитета, но все же мне думается, что он обращает внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-монсеньера¹ М-монтан-нелли.

— Монтанелли? — повторила Джемма.— Я вас не понимаю... Вы говорите о епископе Бризигеллы?

— Да. Новый папа только что назначил его кардиналом. Вот — я получил письмо. Не хотите ли послушать? Пишет один из моих друзей, живущих по ту сторону границы.

¹ Монсеньер — титул представителей высшего католического духовенства.

— Какой границы? Папской области?

— Да. Вот что он пишет.

Овод снова взял письмо, которое было у него в руках, когда вошла Джемма, и начал читать, сильно заикаясь:

«В-вы скоро б-будете иметь удовольствие встретиться с одним из наших злейших врагов, к-кардиналом Л-лоренцо М-монтанелли, епископом Бриз-зигеллы. Он...»

Овод оборвал чтение и минуту молчал. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже не заикаясь:

«Он намеревается посетить Тоскану в будущем месяце. Приедет туда с миссией «примирения». Будет проповедовать сначала во Флоренции, где проживает недели три, потом поедет в Сиену и в Пизу и, наконец, через Пистойю возвратится в Романию. Он открыто примкнул к либеральному направлению в церковных кругах. Личный друг папы и кардинала Ферротти. При папе Григории был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апенинах. Теперь Монтанелли быстро выдвинулся. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и приносит не меньше вреда, чем Ламбрускини. Его задача — поддерживать как можно дольше всеобщие восторги по поводу избрания нового папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготовляемый агентами иезуитов декрет. В чем состоит этот декрет, мне не удалось узнать». Теперь дальше: «Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов, разобрать трудно. Он или необыкновенно умный негодяй, или величайший осел. Но самое странное то, что, насколько мне известно, Монтанелли не берет взяток и у него нет любовницы,— случай беспримерный!»

Овод отложил письмо в сторону и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами в ожидании, что она скажет.

— Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты? — спросила она после паузы.

— Относительно безупречности личной жизни монсеньера М-мон-танелли? Нет. Но ведь корреспондент и сам в этом не уверен. Помните его оговорку: «Насколько мне известно?..»

— Я не об этом,— холодно перебила его Джемма.— Меня интересует то, что написано о возложенной на Монтанелли миссии.

— Да, в этом я вполне могу положиться на своего корреспондента. Это мой старый друг, один из товарищ по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, которое дает ему исключительные возможности разузнавать о такого рода вещах.

«Какой-нибудь чиновник в Ватикане,— промелькнуло в голове у Джеммы.— Так вот какие у него связи! Я, впрочем, так и думала».

— Письмо это, конечно, частного характера,— продолжал Овод,— и вы понимаете, что содержание его никому, кроме членов вашего комитета, не должно быть известно.

— Само собой разумеется. Но вернемся к памфлету. Могу ли я сказать товарищам, что вы согласны сделать кое-какие поправки и немного смягчить тон, или...

— А вы не думаете, синьора, что поправки могут не только ослабить силу сатиры, но и уничтожить красоту «литературного шедевра»?

— Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.

— Следует ли заключить из этого, что в-вы лично расходитесь с м-мнением комитета?

Он спрятал письмо в карман и, наклонившись вперед, смотрел на нее внимательным, пытливым взглядом, совершенно изменившим выражение его лица.

— Вы думаете, что...

— Если вас интересует, что думаю я лично, извольте: я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу, что он правильно освещает факты и поможет нам разрешить наши тактические задачи.

— То есть?

— Я вполне согласна с вами, что Италия тянется к блуждающим огонькам и что все эти восторги и ликования заведут ее в бездонную трясину. Меня бы порадо-

вало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но, как член организации, большинство которой держится противоположного мнения, я не могу настаивать на своем личном мнении. И, разумеется, я тоже считаю, что если уж говорить, то говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как в этом памфлете.

— Вы подождете минутку, пока я просмотрю рукопись?

Он взял памфлет, пробежал его от начала до конца и недовольно нахмурился.

— Да, вы правы. Это кафешантанная дешевка, а не политическая сатира! Но что поделаешь? Напиши я в благопристойном тоне, публика не поймет. Если не будет злословия, покажется скучно.

— А вы не думаете, что злословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?

Он посмотрел на нее быстрым пронизывающим взглядом и расхохотался:

— Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Значит, если я не устою против искушения и предамся злословию, то стану в конце концов таким же нудным, как синьора Грассии? Небо, какая судьба! Нет, не хмурьтесь! Я знаю, вы меня не любите, и возвращаюсь к делу. Положение, следовательно, таково. Если я выброшу все личные нападки и оставлю самую существенную часть как она есть, комитет выразит сожаление, что не сможет напечатать этот памфлет под свою ответственность; если же я пожертвую политической истиной и направлю все удары против врагов вообще, комитет будет превозносить мое произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вопрос чисто метафизический. Что лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что скажет на это синьора?

— Я не думаю, чтобы вопрос стоял именно так. Если вы отбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, большинство будет против него. И мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить тон. Уж если преподносить читателю такую

пилюлю, так не надо отпугивать его с самого начала резкостью формы.

Овод пожал плечами и покорно вздохнул.

— Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Сейчас вы лишаете меня права смеяться, но в недалеком будущем я им воспользуюсь. Когда его преосвященство, безгрешный кардинал, появится во Флоренции, тогда ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. Это уж мое право!

Он говорил самым небрежным и холодным тоном и, то и дело вынимая хризантемы из вазы, рассматривал на свет прозрачные лепестки. «Как у него дрожит рука! — думала Джемма, глядя на колеблющиеся, вздрагивающие цветы.—Неужели он пьет?»

— Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета,— сказала она, вставая.— Я не могу предугадать, как они решат.

— А как бы решили вы? — Он тоже поднялся и стоял, прислонившись к столу, прижимая цветы к лицу.

Джемма колебалась. Вопрос этот смутил ее, всколыхнул горькие воспоминания.

— Я, право, не знаю,— сказала она наконец.— В прежние годы мне приходилось не раз слышать о монсеньере Монтанелли. Он был тогда каноником и ректором духовной семинарии в тех местах, где я жила в детстве. Мне много рассказывал о нем один... человек, который знал его очень близко. Я никогда не слышала о Монтанелли ничего дурного и считала его, по крайней мере в те дни, замечательной личностью. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть развращает людей.

Овод поднял голову и, посмотрев ей прямо в глаза, сказал:

— Во всяком случае, если монсеньер Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Камень, лежащий на дороге, может иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать... Позвольте, синьора.— Он позвонил, подошел, прихрамывая, к двери и открыл ее.— Вы очень добры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской?.. Нет? До свиданья... Бианка, проводите, пожалуйста, синьору.

Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.
«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирой, то почему его глаза так угрожающе вспыхнули?

ГЛАВА IV

Монсеньер Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он был знаменитый проповедник и представитель нового течения в католических кругах. Все ждали, что Монтанелли скажет слова любви и мира, которые уврачуют все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци государственным секретарем Папской области вместо ненавистного всем Ламбрускини довело всеобщий восторг до предела. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать это восторженное настроение. Безупречность его жизни была настолько редким явлением среди высших католических сановников, что одно это привлекало к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимым условием карьеры служителей церкви. Кроме того, у него был действительно замечательный талант проповедника, а прекрасный голос и большое личное обаяние неизменно служили ему залогом успеха.

Грассини, как всегда, выбивался из сил, чтобы залучить к себе новую знаменитость, но сделать это было не так-то легко: на все приглашения Монтанелли отвечал вежливым, но решительным отказом, ссылаясь на плохое здоровье и недосуг и на то, что у него нет ни сил, ни времени на визиты.

— Вот всеядные животные эти супруги Грассини! — с презрением сказал Мартини Джемме, проходя с нею через площадь Синьории ясным и прохладным воскресным утром.— Вы заметили, какой поклон он отвесил коляске кардинала? Им все равно, что за человек, лишь бы о нем говорили. В жизни своей не видел таких охотников за знаменитостями. Еще недавно, в августе,— Овод, а теперь — Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным та-

ким вниманием. Он делит его с целой оравой авантюристов.

Они слушали проповедь Монтанелли в кафедральном соборе. Громадный храм был так переполнен народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, Мартини убедил ее уйти до конца службы. Воспользовавшись первым солнечным утром после проливных дождей, он предложил Джемме погулять по зеленым склонам холмов у Сан-Никколо.

— Нет,— сказала она,— я охотно пройдусь, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Пойдемте лучше к мосту: там будет проезжать Монтанелли на обратном пути из собора, а мне, как и Грассини, хочется посмотреть на знаменитость.

— Но вы ведь только что его видели.

— Издали. В соборе была такая давка... а когда он подъезжал, мы стояли сзади. Надо подойти поближе к мосту, тогда разглядим его как следует. Он остановился на Лунг-Арно.

— Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.

— Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Хочу посмотреть, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз.

— А когда это было?

— Через два дня после смерти Артура.

Мартини с тревогой взглянул на нее. Они вышли к мосту, и Джемма смотрела на другой берег тем ничего не видящим взглядом, который всегда так пугал его.

— Джемма, дорогая,— сказал он минуту спустя,— неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в семнадцать лет.

— Но не каждый из нас в семнадцать лет убивает своего лучшего друга,— ответила она усталым голосом и облокотилась о каменный парапет, глядя на воду.

Мартини молчал: он боялся говорить с ней, когда на нее находило такое настроение.

— Как увижу воду, так сразу вспоминаю об этом,— продолжала Джемма, медленно поднимая глаза, и затем добавила с нервной дрожью: — Пойдемте, Чезаре, стоять здесь холодно.

Они молча перешли мост и свернули на набережную. Через несколько минут Джемма снова заговорила:

— Какой красивый голос у этого человека! В нем есть то, чего нет ни в каком другом человеческом голосе. В этом, я думаю, секрет его обаяния.

— Да, голос чудесный,— подхватил Мартини, пользуясь возможностью отвлечь ее от страшных воспоминаний, навеянных видом реки.— Да и, помимо голоса, это лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет обаяния Монтанелли кроется глубже: в безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли кто укажет другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого папы, с такой незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романию, мне пришлось побывать в епархии Монтанелли, и я видел, как суровые горцы ожидали его под дождем, чтобы только взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтят Монтанелли почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье ненавидят всех, кто носит сутану. Я сказал одному старику крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Попов мы не любим, все они лгуны. Мы любим монсеньера Монтанелли. Он не лжет нам, и он справедлив».

— Любопытно,—сказала Джемма, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к Мартини,— известно ли ему, что о нем думают в народе?

— Наверно, известно. А вы полагаете, что это неправда?

— Да, неправда.

— Откуда вы знаете?

— Он сам мне сказал.

— Он? Монтанелли? Джемма, что вы говорите?

Она откинула волосы со лба и повернулась к нему. Они снова остановились. Мартини облокотился о парапет, а Джемма медленно чертила зонтиком по камням.

— Чезаре, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам, что в действительности произошло с Артуром.

— И не надо рассказывать, дорогая,— поспешил остановил ее Мартини.— Я все знаю.

— От Джованни?

— Да. Он рассказал мне об Артуре незадолго до своей смерти, как-то ночью, когда я сидел у его постели... Джемма, дорогая, раз мы начали этот разговор, то лучше уж сказать вам всю правду... Он говорил, что вас постоянно мучит воспоминание об этой трагедии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от тяжелых мыслей. И я делал, что мог, хотя, кажется, безуспешно.

— Я знаю,— ответила она тихо, подняв на него глаза.— Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы... А о монсеньере Монтанелли Джованни вам тогда ничего не говорил?

— Нет. Я и не знал, что Монтанелли имеет какое-то отношение к этой истории. Он рассказал мне только о том доносчике и...

— И о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.

Они повернули назад к мосту, через который должна была проехать коляска кардинала. Джемма начала рассказывать, не отводя глаз от того берега:

— Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии и, когда Артур поступил в университет, продолжал заниматься с ним. Они очень любили друг друга и были похожи скорее на влюбленных, чем на учителя и ученика. Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что утопится, если лишится своего *padre*. Так он всегда называл Монтанелли. Ну, про донос вы знаете... На следующий день мой отец и Бертоны — сводные братья Артура, отвратительнейшие люди — целый день пробыли на реке, отыскивая труп, а я сидела у себя в комнате и думала о том, что я сделала...

Несколько секунд Джемма молчала.

— Поздно вечером ко мне зашел отец и сказал: «Джемма, дитя мое, сойди вниз; там пришел какой-то человек: я хочу, чтобы ты поговорила с ним». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Бледный, весь дрожа, он рассказал мне о втором письме Джованни, в котором было написано все, что заключенные узнали от одного надзирателя о Карди, который выманил у Артура признание на испо-

веди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение: теперь мы верим, что Артур не был виновен». Отец держал меня за руки, старался успокоить. Тогда он еще не знал о пощечине. Я вернулась к себе в комнату и провела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны снова отправились в гавань. У них еще оставалась надежда найти тело.

— Но ведь его не нашли?

— Не нашли. Должно быть, унесло в море, но они не оставляли поисков. Я была у себя в комнате, и вдруг приходит служанка и говорит: «Сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что ваш отец в гавани, ушел». Я догадалась, что это Монтанелли, выбежала черным ходом и догнала его у садовой калитки. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», — он остановился и молча посмотрел на меня. Ах, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами долгие месяцы! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена. Это я убила Артура». И призналась ему во всем, а он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя мое: не вы убили Артура, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом». Сказал — и быстро вышел из сада, не прибавив больше ни слова.

— А потом?

— Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в припадке, — это было недалеко от гавани, и его внесли в один из ближайших домов. Больше я ничего не знаю. Мой отец сделал для меня все, что мог. Когда я рассказала ему обо всем, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, где ничто не могло напоминать мне о прошлом... Он боялся, как бы я тоже не бросилась в воду, и, кажется, я действительно была близка к этому. А потом, когда обнаружилось, что отец болен раком, мне пришлось взять себя в руки — ведь, кроме меня, ухаживать за ним было некому. После его смерти малыши остались у меня на руках, пока мой старший брат не взял их к себе. А потом... Джованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться, между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что на нем лежит тяжелая вина — письмо, кото-

рое он написал из тюрьмы. Но я думаю, именно общее горе и сблизило нас.

Мартини улыбнулся и покачал головой.

— Может быть, с вашей стороны так и было,— сказал он,— но для Джованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей первой поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас... А вот и кардинал!

Карета проехала по мосту и остановилась у большого дома на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он, видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся у дверей, чтобы взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее это лицо в соборе, угасло, и теперь, при ярком солнечном свете, на нем были видны следы забот и усталости. Когда он вышел из кареты и тяжелой, старческой походкой поднялся по ступенькам, Джемма повернулась и медленно зашагала к мосту. На ее лице словно отразился потухший, безнадежный взгляд Монтанелли. Мартини молча шел рядом с ней.

— Меня часто занимала мысль,— заговорила она снова,— в чем он мог обманывать Артура? И мне иногда приходило в голову...

— Да?

— Может быть, это нелепость... но между ними такое поразительное сходство...

— Между кем?

— Между Артуром и Монтанелли. И не я одна это замечала. Кроме того, в отношениях между членами этой семьи было что-то загадочное. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых милых женщин, каких я знала. Такое же одухотворенное лицо, как у Артура; да и характером, мне кажется, они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. Жена ее пасынка обращалась с ней так, как порядочные люди не обращаются даже с собакой. А сам Артур был совсем не похож на всех этих вульгарных Бертонов... В детстве, конечно, многое принимаешь как должное, но потом мне часто приходило в голову, что Артур — не Бертон.

— Возможно, он узнал что-нибудь о матери, и это было причиной его самоубийства, а совсем не предательство Карди,— сказал Мартини, пытаясь хоть как-нибудь утешить Джемму.

Но она покачала головой.

— Если бы вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я его ударила, вы бы не стали так говорить. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны — в них нет ничего неправдоподобного. Но что я сделала, то сделала.

Несколько минут они шли молча.

— Дорогая, — заговорил наконец Мартини, — если бы у нас была хоть малейшая возможность изменить то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками. Но раз их нельзя исправить — пусть мертвые оплакивают мертвых. История эта ужасна, но бедный юноша, пожалуй, счастливее многих из оставшихся в живых, которые сидят теперь по тюреммам или томятся в изгнании. Вот о ком надо думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвцам. Вспомните, что говорит ваш Шелли: «Что было — смерти, будущее — мне». Берите его, пока оно ваше, и думайте не о том дурном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, что вы еще можете сделать.

Забывшись, Мартини взял Джемму за руку, но сейчас же отпустил ее и отступил назад, услышав позади холодный мурлыкающий голос.

— Монсеньер Монта-нелли,— томно протянул этот голос,— обладает всеми теми добродетелями, почтеннейший доктор, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. На небесах, вероятно, и-немало почтенных духов, и-никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи — большие охотники до новинок...

— Откуда вы это знаете? — послышался голос Риккардо, в котором звучала нота плохо сдерживаемого раздражения.

— Из священного писания, мой дорогой. Если верить евангелию, то даже самый почтенный дух имел склонность к весьма причудливым сочетаниям. А чест-

ность и к-кардинал, по-моему, весьма причудливое сочетание; такое же неприятное на вкус, как раки с медом... А! Синьор Мартини и синьора Болла! Как хорошо после дождя, не правда ли? Вы тоже слушали и-нового Саванаролу?

Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и оранжерейным цветком в петлице, протягивал ему свою узкую руку, обтянутую лайковой перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его элегантных ботинках и освещало его улыбающееся лицо, Мартини показалось, что он не так уж хромает, но держится еще более самодовольно. Они пожали друг другу руки: один приветливо, другой угрюмо. В эту минуту Риккардо вдруг воскликнул:

— Вам дурно, синьора Болла!

По лицу Джеммы, прикрытыму полями шляпы, разлилась мертвенная бледность; ленты, завязанные у горла, вздрагивали в такт биению сердца.

— Я поеду домой,— сказала она слабым голосом.

Подозвали коляску, и Мартини сел с Джеммой, чтобы проводить ее до дома. Поправляя плащ Джеммы, свесившийся на колесо, Овод вдруг поднял на нее глаза, и Мартини заметил, что она отшатнулась от него с выражением ужаса на лице.

— Что с вами, Джемма? — спросил он по-английски, как только они отъехали.— Что вам сказал этот негодяй?

— Ничего, Чезаре. Он тут ни при чем... Я... испугалась.

— Испугались?

— Да!.. Мне почудилось...

Джемма прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, когда она овладеет собой. И наконец лицо ее порозовело.

— Вы были совершенно правы,— повернувшись к нему, сказала Джемма своим обычным голосом,— оглядываться на страшное прошлое бесполезно. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать бог весть что. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном начну видеть сходство с Артуром. Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди бела дня. Представьте: сейчас, когда этот противный фат подошел к нам, мне показалось, что явижу Артура.

ГЛАВА V

Овод, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, были о нем такого же мнения, как и Мартини. Даже его поклонники были недовольны свирепыми нападками на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать каждое слово остроумного сатирика, начинал смущенно признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое: «Честных кардиналов не так уж много, с ними надо обращаться повежливее».

Единственный, кто оставался, по-видимому, равнодушным к этому граду карикатур и пасквилей, был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, говорил Мартини, на то, чтобы высмеивать человека, который относится к этому так благодушно. Рассказывали, будто, принимая у себя архиепископа флорентийского, Монтанелли нашел в комнате один из злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и передал архиепископу со словами: «А ведь не глупо написано, не правда ли?»

В начале октября в городе появился памфлет, озаглавленный «Тайна благовещения». Если бы даже под ним не стояло уже знакомой читателям «подписи»—овода с распростертыми крыльышками,— большинство сразу догадалось бы, кому принадлежит этот памфлет, по его язвительному, желчному тону. Он был написан в форме диалога между девой Марией — Тосканой, и Монтанелли — ангелом, который возвещал пришествие иезуитов, держа в руках оливковую ветвь мира и белоснежные лилии — символ непорочности. Оскорбительные намеки и дерзкие догадки встречались там на каждом шагу. Вся Флоренция возмущалась несправедливостью и жестокостью этого пасквиля — и тем не менее, читая его, вся Флоренция хохотала до упаду. В серьезном тоне, с которым преподносились все эти нелепости, было столько комизма, что самые свирепые противники Овода восхищались памфлетом заодно с его горячими поклонниками. Несмотря на свою отталкивающую грубость, эта сатира оказала известное действие на умонастроения в городе. Репутация Монтанелли была слишком высо-

ка, чтобы ее мог поколебать какой-то пасквиль, пусть даже самый остроумный, и все же общественное мнение чуть не обернулось против него. Овод знал, куда ужалить, и, хотя карету Монтанелли по-прежнему встречали и провожали толпы народа, сквозь приветственные возгласы и благословения часто прорывались зловещие крики: «Иезуит!», «Санфедистский шпион!»

Но у Монтанелли не было недостатка в приверженцах. Через два дня после выхода памфлета влиятельный клерикальный орган «Церковнослужитель» поместил блестящую статью «Ответ на «Тайну благовещения», подписанную «Сын церкви». Это была горячая защита Монтанелли от клеветнических выпадов Овода. Анонимный автор начинал с горячего и красноречивого изложения доктрины «на земле мир и в людях благоволение», провозвестником которой был новый папа, требовал от Овода, чтобы тот подкрепил доказательствами хотя бы один из своих поклепов, и под конец заклинал читателей не верить презренному клеветнику. По убедительности приводимых доводов и по своим литературным достоинствам «Ответ» был намного выше обычного уровня газетных статей, и им заинтересовался весь город, тем более что даже редактор «Церковнослужителя» не знал, кто скрывается под псевдонимом «Сын церкви». Статья вскоре вышла отдельной брошюрой, и об анонимном защитнике Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции.

Овод разразился яростными нападками на нового папу и его приспешников, а в особенности на Монтанелли, осторожно намекнув, что газетный панегирик был, по всей вероятности, с его же согласия и написан. Анонимный защитник ответил на это негодующим протестом. Полемика между двумя авторами не прекращалась все время, пока Монтанелли жил во Флоренции, и публика уделяла ей больше внимания, чем самому проповеднику.

Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но ничего этим не добились. Слушая их, он только любезно улыбался и отвечал, чуть заикаясь:

— П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я специально выговорил себе п-право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет М-монтанелли. Таков был уговор.

В конце октября Монтанелли выехал к себе в епархию. Перед отъездом в прощальной проповеди он коснулся нашумевшей полемики, выразил сожаление по поводу излишней горячности обоих авторов и просил своего неизвестного защитника стать примером, заслуживающим подражания, то есть первым прекратить эту бессмысленную и недостойную словесную войну. На следующий день в «Церковнослужителе» появилась заметка, извещающая о том, что, исполняя желание монсеньера Монтанелли, высказанное публично, «Сын церкви» прекращает спор.

Последнее слово осталось за Оводом. «Обезоруженный христианской кротостью Монтанелли,— писал он в своем очередном памфлете,— я готов со слезами кинуться на шею первому встречному санфедисту и даже не прочь обнять своего анонимного противника! А если бы мои читатели знали — как знаем мы с кардиналом,— что под этим подразумевается и почему мой противник держит свое имя в тайне, они уверовали бы в искренность моего раскаяния».

В конце ноября Овод сказал в комитете, что хочет съездить недели на две к морю, и уехал,— по-видимому, в Ливорно. Но когда вскоре туда же явился доктор Риккардо и захотел повидаться с ним, его нигде не оказалось. Пятого декабря в Папской области, вдоль всей цепи Апеннинских гор, начались бурные политические выступления, и многие стали тогда догадываться, почему Оводу вдруг пришла фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда восстание было подавлено, и, встретив на улице Риккардо, сказал ему любезным тоном:

— Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой чудесный старинный город! В нем чувствуешь себя, точно в счастливой Аркадии!

На святках он присутствовал на собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было весьма многолюдное, и когда Овод вошел в комнату, с улыбкой прося извинить его за

опоздание, для него не нашлось свободного места. Риккардо хотел было принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его:

— Не беспокойтесь, я отлично устроюсь.

Он подошел к окну, возле которого сидела Джемма, и, сев на подоконник, медленно откинул голову к шторе.

Джемма чувствовала на себе загадочный, как у сфинкса, взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами кисти Леонардо да Винчи, и ее инстинктивное недоверие к этому человеку усилилось, перешло в безотчетный страх.

На собрании был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожающего Тоскане голода. Комитет должен был наметить те меры, какие следовало принять против этого бедствия. Прийти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко разделились. Наиболее передовая часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за обращение к правительству и к обществу с призывом немедленно оказать помощь крестьянам. Более умеренные, в том числе, конечно, и Грассини, опасались, что слишком энергичный тон обращения может только озлобить правительство, ни в чем не убедив его.

— Разумеется, господа, весьма желательно, чтобы помочь была оказана как можно скорее,— говорил Грассини, снисходительно поглядывая на волнующихся радикалов.— Но многие из нас тешат себя несбыточными мечтами. Если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Заставить правительство провести обследование урожая и то было бы шагом вперед.

Галли, сидевший в углу около камина, вскочил с места и накинулся на своего противника.

— Шагом вперед? Но когда голод наступит на самом деле, его этим не остановишь. Если мы пойдем такими шагами, народ перемрет, не дождавшись нашей помощи.

— Интересно бы знать...— начал было Саккони.

Но тут с разных мест раздались голоса:

— Говорите громче: не слышно!

— И не удивительно, когда на улице такой адский шум! — сердито сказал Галли.— Окно закрыто, Риккардо? Я самого себя не слышу!

Джемма оглянулась.

— Да,— сказала она,— окно закрыто. Там, кажется, проезжает бродячий цирк.

Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще звуки скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.

— Теперь уж такие дни, приходится мириться с этим,— сказал Риккардо.— На святках всегда бывает шумно... Так что вы говорите, Саккони?

— Я говорю: интересно бы знать, что думают о борьбе с голодом в Пизе и в Ливорно. Может быть, синьор Риварес расскажет нам? Он как раз оттуда.

Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили в комнате.

— Синьор Риварес! — окликнула его Джемма, сидевшая к нему ближе всех.

Овод не отозвался, и тогда она наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и Джемма вздрогнула, пораженная страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновенье ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы Овода как-то странно дрогнули.

— Да, это бродячий цирк,— прошептал он.

Ее первым инстинктивным движением было оградить Овода от любопытных взоров. Не понимая еще, в чем дело, Джемма догадалась, что он весь — и душой и телом — во власти какой-то галлюцинации. Она быстро встала и, заслонив его собой, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу. Никто, кроме нее, не видел его лица.

По улице двигалась труппа бродячего цирка — клоуны верхом на ослах, арлекины в пестрых костюмах. Праздничная толпа масок, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась серпантином с клоунами, швыряла мешочки с леденцами коломбине, которая восседала в повозке, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и с фальшивой улыбкой

на подкрашенных губах. За повозкой кто только не толпился — нищие, мальчишки, выделявшие на ходу всякие трюки, и продавцы безделушек и сластей. Все они толкались, хотели и аплодировали кому-то, но кому именно, Джемма сначала не могла разглядеть в этой толпе. А потом она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, видимо, был в этой труппе и забавлял зрителей страшными гримасами и кривлянием.

— Что там происходит? — спросил Риккардо, подходя к окну.— Чем вы так заинтересовались?

Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то комедиантов.

Джемма повернулась к нему.

— Ничего особенного,— сказала она.— Просто бродячий цирк. Но они так шумят.., я заинтересовалась, что там такое.

Она стояла, оперевшись о подоконник, и вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ей руку.

— Благодарю вас! — прошептал он, закрыл окно и, сев на подоконник, сказал шутливым тоном: — Простите, господа. Я загляделся на комедиантов. Весьма любопытное зрелище.

— Саккони задал вам вопрос! — резко сказал Мартини.

Поведение Овода казалось ему нелепым ломаньем, и он досадовал, что Джемма так бес tactно последовала его примеру. Это было совсем не похоже на нее.

Овод заявил, что ему ничего не известно о настроениях в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И тотчас же пустился рассуждать сначала о сельском хозяйстве, затем о прокламации и под конец замучил всех потоком слов и заиканьем. Казалось: он находил какое-то болезненное удовольствие в звуках собственного голоса.

Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошел к Мартини.

— Оставайтесь обедать, Фабрици и Саккони тоже останутся.

— Благодарю, но я хочу проводить синьору Беллу.

— Вы, кажется, опасаетесь, что я не доберусь до дома одна? — сказала Джемма, поднимаясь и накидывая плащ.— Конечно, он останется у вас, доктор Риккардо! Ему полезно развлечься. Он слишком засиделся дома.

— Если позволите, я вас провожу,— вмешался в их разговор Овод.— Я иду в ту же сторону.

— Если вам в самом деле по дороге...

— А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечером? — спросил Риккардо, отворяя им дверь.

Овод, смеясь, оглянулся через плечо.

— У меня, друг мой? Нет, я хочу пойти в цирк.

— Что за чудак! — сказал Риккардо, вернувшись в комнату.— Откуда у него такое пристрастие к балаганным шутам.

— Очевидно, родство душ,— сказал Мартини.— Он сам настоящий балаганный шут.

— Хорошо, если только шут,— серьезным тоном проговорил Фабрицци.— Но шут очень опасный.

— Опасный? В каком отношении?

— Не нравятся мне его таинственные увеселительные поездки, о которых он с таким удовольствием распространяется. Это уже третья по счету, и я не верю, что он был в Пизе.

— По-моему, ни для кого не секрет, что Риварес ездит в горы,— сказал Саккони.— Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами — давние связи, еще со временем восстания в Савиньо. И вполне естественно, что он пользуется их дружескими услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу Папской области.

— Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить,— сказал Риккардо.— Мне пришло в голову, что самое лучшее — попросить Ривареса взять на себя руководство нашей контрабандой. Типография в Пистойе, по-моему, работает очень плохо, а доставка туда литературы одним и тем же способом — в сигарах — чересчур примитивна.

— Однако до сих пор она оправдывала себя,— упрямово возразил Мартини.

Галли и Риккардо вечно выставляли Овода в качестве образца для подражания, и Мартини начало надоедать это. Он положительно находил, что все шло как

нельзя лучше, пока среди них не появился этот «томный пират», вздумавший учить всех уму-разуму.

— Да, до сих пор она удовлетворяла нас за неимением лучшего. Но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций. Я думаю, если это дело возьмет на себя Риварес, больше таких провалов не будет.

— Почему вы так думаете?

— Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужаков или, может быть, даже просто как на дойную корову; а Риварес — по меньшей мере их друг, если не предводитель. Они слушаются его и верят ему. Для участника восстания в Савиньо апеннинские контрабандисты будут рады сделать много такого, чего от них не добьется никто другой. А во-вторых, едва ли между нами найдется хоть один, кто так хорошо знал бы горы, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался там, и ему отлично известна каждая тропинка, которой они пользуются. Ни один контрабандист не посмеет обмануть Ривареса, а если даже и посмеет, то потерпит неудачу.

— Итак, вы предлагаете поручить ему доставку нашей литературы в Папскую область — распространение, адреса, тайные склады и вообще все — или только провоз через границу?

— Наши адреса и тайные склады ему, вероятно, все известны. И не только наши, а и многие другие. Так что его учить нечему. Ну, а что касается распространения — решайте. По-моему, самое важное — провоз через границу; а когда литература попадет в Болонью, распространить ее будет не так уж трудно.

— Если вы спросите меня, — сказал Мартини, — то я против такого плана. Ведь это только наше предположение, что Риварес настолько ловок. В сущности, никто из нас не видел его на этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы...

— О, в этом можете не сомневаться! — перебил его Риккардо. — Он головы не теряет — восстание в Савиньо — лучшее тому доказательство!

— А кроме того, — продолжал Мартини, — хоть я и мало чего знаю о Риваресе, но мне кажется, что ему нельзя доверять все наши партийные тайны. По-моему,

он человек легкомысленный и любит рисоваться. Передать же контрабандную доставку литературы в руки одного человека — вещь очень серьезная. Что вы об этом думаете, Фабрицци?

— Если бы речь шла только о ваших возражениях, Мартини, я бы их отбросил, поскольку Овод безусловно обладает всеми качествами, о которых говорит Риккардо. Что касается меня, то я уверен в его смелости, честности и самообладании. Горы и горцев он знает прекрасно, в этом мы уже убедились. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит туда только ради контрабандной доставки своих памфлетов. По-моему, у него есть и другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами — я высказываю только свое предположение. Мне кажется, что он связан с одной из тамошних групп и, может быть, даже с самой опасной.

— С какой? С «Красными поясами»?

— Нет, с «Occollettatori».

— С «Кинжалщиками»? Но ведь это маленькая кучка бродяг, по большей части из крестьян, неграмотных, без всякого политического опыта.

— То же самое можно сказать и о повстанцах из Савиньо. Однако среди них были и образованные люди, которые ими и руководили. По-видимому, так же обстоит дело и у «Кинжалщиков». Кроме того известно, что большинство членов самых крайних группировок в Романье — бывшие участники восстания в Савиньо, которые поняли, что в открытой борьбе клерикалов не одолеешь, и стали на путь террористических убийств. Потерпев неудачу с винтовками, они взялись за кинжалы.

— А почему вы думаете, что Риварес связан с ними?

— Это только мое предположение. Во всяком случае, прежде чем доверять ему доставку нашей литературы, надо все выяснить. Если Риварес вздумает вести оба дела сразу, он может сильно повредить нашей партии: просто погубит ее репутацию и ровно ничего не добьется. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас я хочу поделиться с вами вестями из Рима. Ходят слухи, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления...

ГЛАВА VI

Джемма и Овод молча шли по набережной. Его потребность говорить, говорить без умолку, по-видимому, иссякла. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Риккардо, и Джемму радовало его молчание. Ей всегда было как-то неловко в обществе Овода, а в этот день она чувствовала себя особенно стесненной, потому что его странное поведение у Риккардо сильно озадачило ее.

У дворца Уффици он вдруг остановился и спросил:

— Вы не устали?

— Нет. А что?

— И не очень заняты сегодня вечером?

— Нет.

— Я прошу вас оказать мне особую милость — пойдемте гулять.

— Куда?

— Да просто так, куда вы захотите.

— Что это вам вздумалось?

Овод ответил не сразу.

— Это не так просто объяснить... Но я вас очень прошу!

Он поднял на нее глаза. Их выражение поразило Джемму.

— С вами происходит что-то странное, — мягко сказала она.

Овод выдернул цветок из своей бутоньерки и стал отрывать от него лепестки. Кого он ей напоминал? Такие же нервно-торопливые движения пальцев...

— Мне тяжело, — сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук. — Сегодня вечером я не хочу оставаться наедине с самим собой. Так пойдемте?

— Да, конечно. Но не лучше ли пойти ко мне?

— Нет, пообедаем в ресторане. Это недалеко, на площади Синьории. Не отказывайтесь, прошу вас, вы уже обещали!

Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не притронулся к нему, все время упорно молчал, крошил хлеб и теребил баxому салфетки. Джемма чувствовала себя очень неловко и начинала жалеть, что со-

гласилась пойти с ним. Молчание становилось тягостным, но ей не хотелось говорить о пустяках с человеком, который, судя по всему, забыл о ее присутствии. Наконец он поднял на нее глаза и вдруг сказал:

— Хотите посмотреть представление в цирке?

Джемма удивленно взглянула на него. Дался ему этот цирк!

— Видели вы когда-нибудь такие представления? — спросил он, раньше чем она успела ответить.

— Нет, не видела. Меня они не интересовали.

— Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений. Давайте вернемся назад, на Порта-алла-Кроче.

Бродячий цирк раскинул свой балаган за городскими воротами. Когда Овод и Джемма подошли к нему, невыносимый визг скрипок и барабанный бой возвестили о том, что представление началось.

Оно было весьма примитивно. Вся труппа состояла из нескольких клоунов, арлекинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обручи, накрашенной коломбины и горбuna, забавлявшего публику своими глупыми ужимками. Остроты не оскорбляли уха грубостью, но были избиты и плоски. Отпечаток пошлости лежал здесь на всем. Публика со свойственной тосканцам вежливостью смеялась и аплодировала: но больше всего ее веселили выходки горбuna, в которых Джемма не находила ничего остроумного, не видела никакого искусства. Это было просто грубое и безобразное кривлянье. Зрители передразнивали его и, поднимая детей на плечи, показывали им «уродца».

— Синьор Риварес, неужели вам на самом деле это нравится? — спросила Джемма, оборачиваясь к Оводу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке.— По-моему...

Джемма не договорила, продолжая молча смотреть на него. Ни разу в жизни, разве только когда они стояли с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не приходилось ей видеть такого безграничного, безысходного страдания на человеческом лице. «Дантов ад», — мелькнуло у нее в мыслях.

Но вот горбун, получив пинок от одного из клоунов, сделал сальто и кубарем выкатился с арены. Начался

диалог между двумя клоунами, и Овод выпрямился, точно проснувшись.

— Пойдемте,— сказал он.— Или вы хотите остаться?

— Нет, давайте уйдем.

Они вышли из балагана и по зеленой лужайке пошли к реке. Несколько минут оба молчали.

— Ну, как вам понравилось представление? — спросил Овод.

— Довольно грустное зрелище, а подчас просто неприятное.

— Что же именно вам показалось неприятным?

— Да все эти гримасы и кривляния. Они просто безобразны. В них нет ничего остроумного.

— Вы говорите о горбуне?

Помня, с какой болезненной чувствительностью Овод относится к своим физическим недостаткам, Джемма меньше всего хотела касаться этой части представления. Но он сам заговорил о горбуне, и она подтвердила:

— Да, горбун мне совсем не понравился.

— А ведь он забавлял публику больше всех.

— Вот это самое страшное.

— Почему? Не потому ли, что его выходки антихудожественны?

— Там все антихудожественно, а эта жестокость...

Он улыбнулся:

— Жестокость? По отношению к горбуну?

— Да... Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно. Для него кривляния — такой же способ зарабатывать кусок хлеба, как прыжки для наездника и роль коломбины для актрисы. Но когда смотришь на этого горбuna, становится тяжело на душе. Его роль унизительна — это издевательство над человеческим достоинством.

— Вряд ли именно арена так приижает чувство собственного достоинства. Большинство из нас чем-то унижены.

— Да, но здесь... Вам это покажется, может быть, нелепым предрассудком, но для меня человеческое тело священно. Я не выношу, когда над ним издеваются и уродуют его.

— Человеческое тело?.. А душа?

Овод остановился и, опершись о каменный парапет набережной, посмотрел Джемме прямо в глаза.

— Душа? — повторила она, тоже останавливаясь и с удивлением глядя на него.

Он вскинул руки с неожиданной горячностью.

— Неужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа, живая, борющаяся человеческая душа, запрятанная в это скрюченное тело, душа, которую заставили служить ему, как рабыню? Вы, такая отзывчивая, жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками, а подумали ли вы когда-нибудь о несчастной душе, у которой нет даже этих пестрых тряпок, чтобы прикрыть свою страшную наготу? Подумайте, как она дрожит от холода, как на глазах у всех ее душит стыд, как терзает ее, точно бич, этот смех, как жжет он ее, точно раскаленное железо! Подумайте, как она беспомощно озирается вокруг на горы, которые не хотят обрушиться на нее, на камни, которые не хотят ее прикрыть; она завидует даже крысам, потому что те могут заползти в нору и спрятаться там. И вспомните еще, что ведь душа немая, у нее нет голоса, она не может кричать. Она должна терпеть, терпеть и терпеть... Впрочем, я говорю глупости... Почему же вы не смеетесь? У вас нет чувства юмора!

Джемма медленно повернулась и молча пошла по набережной. За весь этот вечер ей ни разу не пришло в голову, что волнение Овода может иметь связь с бродячим цирком, и теперь, когда эта внезапная вспышка озарила его внутреннюю жизнь, она не могла найти ни слова утешения, хотя сердце ее было переполнено жалостью к нему. Он шел рядом с ней, глядя на воду.

— Поймите, прошу вас,— заговорил он вдруг, вызывающе посмотрев на нее,— все то, что я сейчас говорил,— это просто фантазия. Я иной раз даю себе волю, но не люблю, когда мои фантазии принимают всерьез.

Джемма ничего не ответила. Они молча продолжали путь. У дворца Уффици Овод вдруг быстро перешел дорогу и нагнулся над темным комком, лежавшим у решетки.

— Что с тобой, малыш? — спросил он с такой нежностью в голосе, какой Джемма у него еще не слышала.— Почему ты не идешь домой?

Комок зашевелился, послышалось неясное, жалобное бормотанье. Джемма подошла и увидела ребенка

лет шести, оборванного и грязного, который скорчился на тротуаре, как испуганный зверек. Овод стоял, наклонившись над ним, и гладил его по растрепанным волосам.

— Что случилось? — повторил он, согнувшись еще ниже, чтобы расслышать невнятный ответ.— Нужно идти домой, в постель. Маленьким детям не место ночью на улице. Ты замерзнешь. Дай руку, вставай! Ну, будь мужчиной! Где ты живешь?

Он взял ребенка за руку, но тот пронзительно вскрикнул и отшатнулся от него.

— Ну что, что с тобой? — Овод опустился рядом с ним на колени.— Ах, синьора, взгляните!

Плечо у мальчика было все в крови.

— Скажи мне, что с тобой? — ласково продолжал Овод.— Ты упал?.. Нет? Кто-нибудь побил тебя?.. Я так и думал. Кто же это?

— Дядя.

— Когда?

— Сегодня утром. Он был пьяный, а я... я...

— А ты попался ему под руку. Да? Не нужно попадаться под руку пьяным, дружок! Они этого не любят... Что же мы будем делать с этим малышом, синьора? Ну, иди на свет, сынок, дай я посмотрю твоё плечо. Обними меня за шею, я ничего тебе не сделаю... Ну, вот так.

Он взял мальчика на руки и, перенеся его через улицу, посадил на широкий каменный парапет. Потом вынул из кармана нож и ловко отрезал разорванный рукав, прислонив голову ребенка к своей груди; Джемма поддерживала поврежденную руку. Плечо было все в синяках и ссадинах, повыше локтя — глубокая рана.

— Досталось тебе, малыш! — сказал Овод, перевязывая ему рану носовым платком, чтобы она не касалась куртки.— Чем это он ударил?

— Лопатой. Я попросил у него сольдо¹, хотел купить в лавке, на углу, немножко поленты², а он ударил меня лопатой.

Овод вздрогнул.

— Да,— сказал он мягко,— это очень больно.

¹ Сольдо — медная итальянская монета.

² Полента — дешевое народное итальянское блюдо.

— Он ударил меня лопатой, и я... я убежал... потому что он ударил меня.

— И все это время бродил по улицам голодный?

Вместо ответа ребенок зарыдал. Овод снял его с парапета.

— Ну, не плачь, не плачь! Сейчас мы все уладим. Как бы только достать коляску? Они, наверно, все у театра — там сегодня большой съезд. Мне совестно таскать вас за собой, синьора, но...

— Я непременно пойду с вами. Моя помощь может понадобиться. Вы донесете его? Не тяжело?

— Ничего, донесу, не беспокойтесь.

У театра стояло несколько извозчичьих колясок, но все они были заняты. Спектакль кончился, и большинство публики уже разошлось. На афишах у подъезда крупными буквами было напечатано имя Зиты. Она танцевала в тот вечер. Попросив Джемму подождать минутку, Овод подошел к актерскому входу и обратился к служителю:

— Мадам Рени уехала?

— Нет, сударь,— ответил тот, глядя во все глаза на хорошо одетого господина с оборванным уличным мальчишкой на руках.— Мадам Рени сейчас выйдет. Ее ждет коляска... Да вот и она сама.

Зита спускалась по ступенькам под руку с молодым кавалерийским офицером. Она была ослепительно хороша в красном бархатном манто, накинутом поверх вечернего платья, у пояса которого висел огромный веер из страусовых перьев. Цыганка остановилась в дверях и, бросив своего кавалера, быстро подошла к Оводу.

— Феличе! — вполголоса, удивленно проговорила она.— Что это у вас такое?

— Я подобрал этого ребенка на улице. Он весь избит и голоден. Надо как можно скорее отвезти его ко мне домой. Свободных колясок нет, уступите мне вашу.

— Феличе! Неужели вы собираетесь взять этого оборвыша к себе? Позовите полицейского, и пусть он отнесет его в приют или еще куда-нибудь. Нельзя же собирать у себя нищих со всего города!

— Ребенка избили,— повторил Овод.— В приют его можно отправить и завтра, если это понадобится, а сейчас ему нужно сделать перевязку, его надо накормить.

Зита презрительно поморщилась:





— Смотрите! Он прислонился к вам головой. Как вы это терпите? Такая грязь!

Овод сверкнул на нее глазами.

— Ребенок голоден! — с яростью проговорил он.— Вы, верно, не понимаете, что это значит!

— Синьор Риварес,— сказала Джемма, подходя к ним,— моя квартира тут близко. Отнесем ребенка ко мне, и, если вы не найдете коляски, я оставлю его у себя на ночь.

Овод быстро повернулся к ней:

— Вы не побрезгаете им?

— Разумеется, нет... Прощайте, мадам Рени.

Цыганка сухо кивнула, передернула плечами, взяла офицера под руку и, подобрав шлейф, величественно проплыла мимо них к коляске, которую у нее собирались отнять.

— Синьор Риварес, если хотите, я пришлю экипаж за вами и за ребенком,— бросила она Оводу, остановившись у коляски.

— Хорошо. Я скажу куда.— Он подошел к краю тротуара, дал извозчику адрес и вернулся со своей ношей к Джемме.

Кэтти ждала хозяйку и, узнав о случившемся, побежала за горячей водой и всем, что нужно для перевязки. Овод усадил ребенка на стул, опустился рядом с ним на колени и, быстро сняв с него лохмотья, очень осторожно и ловко промыл и перевязал ему рану. Когда Джемма вошла в комнату с подносом в руках, он уже кончил возиться с ребенком и завертывал его в теплую одеяло.

— Можно теперь покормить вашего пациента? — спросила она, с улыбкой глядя на эту странную фигуру.— Я приготовила для него ужин.

Овод поднялся и собрал с полу грязные лохмотья.

— Какой мы тут наделали беспорядок! — сказал он.— Это надо сжечь, а завтра я куплю ему новое платье. Нет ли у вас коньяку, синьора? Хорошо бы дать бедняжке несколько глотков. Я же, если позволите, пойду вымыть руки.

Поев, ребенок тут же заснул на коленях у Овода, прислонившись головой к его белоснежной сорочке. Джемма помогла Кэтти прибрать комнату и снова села к столу.

— Синьор Риварес, вам надо поесть перед уходом. Вы не притронулись к обеду, а сейчас уже поздно.

— Я с удовольствием выпил бы чашку чаю. Но мне совестно беспокоить вас в такой поздний час.

— Какие пустяки! Положите ребенка на диван, ведь его тяжело держать. Подождите только, я покрою подушки простыней... Что же вы думаете делать с ним?

— Завтра? Поищу, нет ли у него других родственников, кроме этого пьяного скота. Если нет, то придется последовать совету мадам Рени и отдать его в приют. А правильнее всего было бы привязать ему камень на шею и бросить в реку. Но это грозит неприятными последствиями для меня... Спит крепким сном! Эх, бедняга! Ведь он беззащитней котенка!

Когда Кэтти принесла поднос с чаем, мальчик открыл глаза и стал с удивлением оглядываться по сторонам. Увидев своего покровителя, он сполз с дивана и, путаясь в складках одеяла, прижался к нему. Малыш настолько оправился, что в нем проснулось любопытство; указывая на обезображенную левую руку, в которой Овод держал кусок пирожного, он спросил:

— Что это?

— Это? Пирожное. Тебе тоже захотелось? Нет, на сегодня довольно. Подожди до завтра!

— Нет, это! — Мальчик протянул руку и дотронулся до обрубков пальцев и большого шрама на кисти Овода.

Овод положил пирожное на стол.

— Ах, вот о чем ты спрашиваешь! То же, что и у тебя на плече. Это сделал один человек, который был сильнее меня.

— Тебе было очень больно?

— Не помню. Не больнее, чем многое другое. Ну а теперь отправляйся спать и не задавай вопросов в такой поздний час.

Когда коляска приехала, мальчик спал, и Овод осторожно, не разбудив его, взял на руки и снес вниз.

— Вы были сегодня моим добрым ангелом,— сказал он Джемме, останавливаясь у дверей,— но, конечно, это не помешает намссориться в будущем, сколько душе угодно,

— Я совершенно не желаюссориться с кем бы то ни было.

— А я желаю! Жизнь была бы невыносима безссор. Добраяссора — соль земли. Это даже лучше представлений в цирке.

Онтихо рассмеялся и сошел с лестницы, неся на руках спящего ребенка.

ГЛАВА VII

В первых числах января Мартини разослал приглашения на ежемесячное собрание литературного комитета и в ответ получил от Овода лаконичную записку, нацарапанную карандашом: «Весьма сожалею. Прийти не могу». Мартини это не понравилось, так как в повестке было указано: «Очень важно». Такое легкомысленное отношение к делу казалось ему чуть ли не оскорбительным. Кроме того, в тот же день пришло еще три письма с дурными вестями, и вдобавок дул восточный ветер. Все это привело Мартини в очень плохое настроение, и когда доктор Риккардо спросил, пришел ли Риварес, он ответил сердито:

— Нет. Риварес, видимо, нашел что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее — не хочет.

— Мартини, другого такого придиры, как вы, нет во всей Флоренции, — сказал с раздражением Галли. — Если человек вам не нравится, то все, что он делает, непременно дурно. Как может Риварес прийти, если он болен?

— Кто вам сказал, что он болен?

— А вы разве не знаете? Он уже четвертый день не встает с постели.

— Что с ним?

— Не знаю. Из-за болезни он даже отложил свидание со мной, которое было назначено на четверг. А вчера, когда я зашел к нему, мне сказали, что он плохо себя чувствует и никого не может принять. Я думал, что при нем Риккардо.

— Нет, я тоже ничего не знал. Сегодня же вечером зайду к нему и посмотрю, не надо ли ему чего-нибудь.

На другой день Риккардо, бледный и усталый, появился в маленьком кабинете Джеммы. Она сидела у

стола и монотонным голосом диктовала Мартини цифры, а он с лупой в одной руке и тонко очищенным карандашом в другой делал на странице книги едва видные пометки. Джемма предостерегающе подняла руку. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Риккардо опустился на кушетку позади нее и зевнул, с трудом пересиливая дремоту.

— «Два, четыре; три, семь; шесть, один; три, пять; четыре, один,— с монотонностью автомата продолжала Джемма.— Восемь, четыре; семь, два; пять, один». Здесь кончается фраза, Чезаре.

Она воткнула булавку на том месте, где остановилась, и повернулась к Риккардо.

— Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид! Вы нездоровы?

— Нет, здоров, только очень устал. Я провел ужасную ночь у Ривареса.

— У Ривареса?

— Да. Просидел около него до утра, а теперь надо идти в больницу. Я зашел к вам спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы мог побывать с ним эти несколько дней. Он в тяжелом состоянии. Я, конечно, сделаю все, что могу. Но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет.

— А что с ним такое?

— Да сложное заболевание. Прежде всего...

— Прежде всего — вы завтракали?

— Да, благодарю вас. Так вот, о Риваресе... Заболевание у него, несомненно, сложное, тут и нервы... но главная причина болезни — старая, запущенная рана. Словом, состояние тяжелое. Рана, вероятно, получена во время войны в Южной Америке. Ее, конечно, не залечили как следует: все было сделано, наверно, на скользкую руку. Удивительно, как он еще жив... В результате хроническое воспаление, которое периодически обостряется, и всякий пустяк может вызвать новый приступ.

— Это опасно?

— Н-нет... В таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд.

— Значит, у него сильные боли?

— Ужасные! Удивляюсь, как он их выносит. Мне пришлось дать ему ночью опиум. Вообще я не люблю

давать опиум нервнобольным, но как-нибудь надо было облегчить боль.

— Значит, у него нервное заболевание?

— Да, конечно. Но сила воли у этого человека просто небывалая. Пока он не потерял сознания, его выдержка была поразительна. Но зато и задал же он мне работу к концу ночи! И как вы думаете, когда он заболел? Это тянется уже пять суток, а при нем ни души, если не считать дуры-хозяйки, которая так крепко спит, что тут хоть дом рухни — она все равно не проснется; а если и проснется, толку от нее будет мало.

— А где же эта танцовщица?

— Представьте, какая странная вещь! Он не пускает ее к себе. Его приводит в ужас мысль, что она может прийти. Не поймешь этого человека — сплошной клубок противоречий! — Риккардо вынул часы и озабоченно посмотрел на них.— Я опоздаю в больницу, но ничего не поделаешь. Придется младшему врачу начать обход без меня. Жалко, что мне не дали знать раньше: не следует запускать эту болезнь...

— Но почему же он не прислал сказать, что болен? — спросил Мартини.— Мы не бросили бы его одного, ему бы следовало это знать!

— И напрасно, доктор, вы не послали вчера за кем-нибудь из нас, вместо того, чтобы изматываться там самому,— сказала Джемма.

— Дорогая моя, я хотел было послать за Галли, но Риварес так вскипал при первом моем намеке, что я сейчас же отказался от этой мысли. А когда я спросил его, кого же ему привести, он испуганно посмотрел на меня, закрыл руками лицо и сказал: «Не говорите им, они будут смеяться». Это у него навязчивая идея: ему кажется, будто люди над чем-то смеются. Я так и не понял — над чем. Он все время говорит по-испански. Но ведь больные часто несут бог знает что.

— Кто при нем теперь? — спросила Джемма.

— Никого, кроме хозяйки и ее служанки.

— Я сейчас же пойду к нему,— сказал Мартини.

— Спасибо. А я загляну вечером. Вы найдете мой листок с наставлениями в ящике стола, что у большого окна, а опиум в другой комнате, на полке. Если опять начнутся боли, дайте ему еще одну дозу — не больше

одной. И ни в коем случае не оставляйте склянку на виду, а то как бы у него не явилось искушение принять больше чем следует...

Когда Мартини вошел в полутемную комнату, Овод быстро повернул голову, протянул ему горячую руку и заговорил, тщетно пытаясь сохранить обычную небрежность тона:

— А, Мартини! Вы, наверно, сердитесь за корректуру? Не ругайте меня, что я пропустил собрание комитета: я не совсем здоров, и...

— Бог с ним, с комитетом! Я видел сейчас Риккардо и пришел узнать, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.

У Овода лицо словно окаменело.

— Это очень любезно с вашей стороны. Но вы напрасно беспокоились: я просто немножко расклеился.

— Я так и понял со слов Риккардо. Ведь он пробыл у вас всю ночь?

Овод закусил губу.

— Благодарю вас. Теперь у меня все есть, и мне ничего больше не надо.

— Прекрасно! В таком случае я посижу в соседней комнате: может быть, вам приятнее быть одному. Я оставлю дверь полуоткрытой, чтобы вы могли позвать меня.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверяю вас, мне ничего не надо. Вы только напрасно потеряете время...

— Бросьте эти глупости! — резко перебил его Мартини.— Зачем вы меня обманываете? Думаете, я слепой? Лежите спокойно и постараитесь заснуть.

Мартини вышел в соседнюю комнату и, оставив дверь открытой, стал читать. Вскоре он услышал, как больной беспокойно зашевелился. Он отложил книгу и стал прислушиваться. Некоторое время в спальне было тихо, потом опять началось беспокойное метание, послышался вздох, словно Риварес стиснул зубы, чтобы подавить тяжелый стон. Мартини вернулся к нему.

— Может быть, нужно что-нибудь сделать, Риварес?

Ответа не последовало, и Мартини подошел к кровати.

Овод, бледный как смерть, взглянул на него и молча покачал головой.

— Не дать ли вам еще опиума? Риккардо говорил, что можно принять, если боли усилиятся.

— Нет, благодарю. Я еще могу терпеть. Потом может быть хуже...

Мартини пожал плечами и сел у кровати. В течение часа, показавшегося ему бесконечным, он молча наблюдал за больным, потом встал и принес опиум.

— Довольно, Риварес! Если вы еще можете терпеть, то я не могу. Надо принять опиум.

Не говоря ни слова, Овод принял лекарство. Потом отвернулся и закрыл глаза. Мартини снова сел. Дыхание больного постепенно становилось глубже и ровнее.

Овод был так измучен, что уснул как мертвый. Час проходил за часом, а он не шевелился. Днем и вечером Мартини не раз подходил к кровати и вглядывался в это неподвижное тело — кроме дыхания, в нем не замечалось никаких признаков жизни. Лицо было настолько изможденное и бледное, что на Мартини вдруг напал страх. Что, если он дал ему слишком большую дозу опиума? Изуродованная левая рука Овода лежала поверх одеяла, и Мартини осторожно тряхнул ее, думая его разбудить. Расстегнутый рукав сполз к локтю, обнаружив страшные шрамы, покрывавшие всю руку.

— Представляете, какой вид имела эта рука, когда раны были еще свежие? — послышался сзади голос Риккардо.

— А, это вы наконец? Слушайте, Риккардо, да что, он все так и будет спать? Я дал ему опиума часов десять назад, и с тех пор он не шевельнулся ни единой мускулом.

Риккардо наклонился и прислушался к дыханию Овода.

— Ничего, дышит ровно. Это просто от сильного переутомления после такой ночи. К утру приступ может повториться. Я надеюсь, кто-нибудь посидит около него?

— Галли будет дежурить. Он прислал сказать, что придет часов в десять.

— Теперь как раз около десяти... Ага, он просыпается! Позабочьтесь, чтобы бульон подали горячий... Спокойно, Риварес, спокойно! Не деритесь, я не епископ.

Овод вдруг приподнялся, глядя прямо перед собой испуганными глазами.

— Мой выход? — забормотал он по-испански.— Займите публику еще минутку... А! Я не заметил вас, Риккардо.— Он оглядел комнату и провел рукой по лбу, как будто не понимая, что с ним происходит.— Мартини! Я думал, вы давно ушли! Я, должно быть, спал...

— Да еще как! Точно спящая красавица! Десять часов кряду! А теперь вам надо выпить бульону и заснуть опять.

— Десять часов! Мартини, неужели вы были здесь все время?

— Да. Я уже начинал бояться, не угостили ли я вас чересчур большой дозой опиума.

Овод лукаво взглянул на него:

— Не повезло вам на этот раз! А как спокойны и мирны были бы без меня ваши комитетские заседания!.. Чего вы, черт возьми, пристаете ко мне, Риккардо? Ради бога, оставьте меня в покое. Терпеть не могу врачей.

— Ладно, выпейте вот это, и вас оставят в покое. Через день-два я все-таки зайду и хорошенько осмотрю вас. Надеюсь, что самое худшее миновало: вы уже не так похожи на мертвеца.

— Скоро я буду совсем здоров, благодарю... Кто это?.. Галли? Сегодня у меня, кажется, собрание всех граций...

— Я останусь около вас на ночь.

— Глупости! Мне никого не надо. Идите все по домам. Если даже приступ повторится, вы все равно не поможете: я не буду больше принимать опиум. Это хорошо один-два раза.

— Да, вы правы,— сказал Риккардо.— Но придерживаться этого решения не так-то легко.

Овод посмотрел на него и улыбнулся.

— Не бойтесь. Если б у меня была склонность к этому, я давно бы стал наркоманом.

— Во всяком случае, мы не оставим вас без присмотра,— сухо ответил Риккардо.— Пройдите на минуту в соседнюю комнату, Галли. Спокойной ночи, Риварес! Я загляну завтра.

Мартини хотел выйти следом за ними, но в эту минуту Овод негромко окликнул его и протянул ему руку:

— Благодарю вас.

— Ну что за глупости! Спите.

Риккардо ушел, а Мартини остался поговорить с Галли в соседней комнате. Отворив через несколько минут входную дверь, он увидел, как к садовой калитке подъехал экипаж, из него вышла женщина и пошла по дорожке к дому. Это была Зита, вернувшаяся, должно быть, с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу, посторонился, уступая ей дорогу, и прошел садом в темный переулок, который вел к Поджио Империале. Но вот калитка сзади хлопнула, и в переулке послышались торопливые шаги.

— Подождите! — крикнула Зита.

Лишь только Мартини повернулся назад, она остановилась, потом медленно пошла ему навстречу, ведя рукой по живой изгороди. При свете единственного фонаря в конце переулка Мартини увидел, что танцовщица идет, опустив голову, точно робея или стыдясь чего-то.

— Как он себя чувствует? — спросила она, не глядя на Мартини.

— Гораздо лучше, чем утром. Он спал почти весь день, и вид у него не такой измученный. Кажется, приступ проходит.

Она стояла, по-прежнему опустив голову.

— Ему было очень плохо?

— Так плохо, что хуже, по-моему, и быть не может,

— Я так и думала. Если он не пускает меня к себе, значит, ему очень плохо.

— А часто у него бывают такие приступы?

— Как когда... Летом, в Швейцарии, он совсем не болел, а прошлой зимой, когда мы жили в Вене, было просто ужасно. Я не смела к нему входить по нескольку дней. Он не выносит моего присутствия во время болезни...

Она подняла на Мартини глаза и тут же потупилась.

— Когда ему становится плохо, он под любым предлогом отсылает меня одну на бал, на концерт или еще куда-нибудь, а сам запирается у себя в комнате. А я вернусь украдкой, сяду у его двери и сижу. Если бы он узнал об этом, мне бы так досталось! Когда собака склонит за дверью, он ее пускает, а меня — нет. Должно быть, собака ему дороже...

Она говорила все это каким-то странным, вызывающим тоном.

— Будем надеяться, что теперь дело пойдет на поправку,— ласково сказал Мартини.— Доктор Риккардо взялся за него всерьез. Может быть, и полное выздоровление не за горами. Во всяком случае, сейчас он уже не так страдает. Но в следующий раз немедленно пошлите за нами. Если бы мы узнали о его болезни вовремя, все обошлось бы гораздо легче. До свидания!

Он протянул ей руку, но она отступила назад, резко мотнув головой:

— Не понимаю, какая вам охота пожимать руку его любовнице!

— Воля ваша, но...— смущенно проговорил Мартини.

Зита топнула ногой.

— Ненавижу вас! — крикнула она, и глаза у нее засверкали, как раскаленные угли.— Ненавижу вас всех! Вы приходите, говорите с ним о политике! Он позволяет вам сидеть около него всю ночь и давать ему лекарства, а я не смею даже посмотреть на него в дверную щелку! Что он для вас? Кто дал вам право отнимать его у меня? Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Она разразилась бурными рыданиями и, кинувшись к дому, захлопнула калитку перед носом у Мартини.

«Бог ты мой! — мысленно проговорил он, идя темным переулком.— Эта женщина не на шутку любит его! Вот чудеса!»

ГЛАВА VIII

Овод быстро поправлялся. В одно из своих посещений на следующей неделе Риккардо застал его уже на кушетке облаченным в турецкий халат. С ним были Мартини и Галли. Овод захотел даже выйти на воздух, но Риккардо только рассмеялся на это и спросил, не лучше ли уж сразу предпринять прогулку до Фьеоле.

— Можете также нанести визит Грассини,— добавил он язвительно.— Я уверен, что синьора будет в восторге, особенно сейчас, когда на лице у вас такая интересная бледность.

Овод трагически всплеснул руками.

— Боже мой! А я об этом и не подумал. Она примет меня за итальянского мученика и будет разглагольствовать о патриотизме. Мне придется войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземелье и довольно плохо потом склеили. Ей захочется узнать в точности мои ощущения. Вы думаете, ее трудно провести, Риккардо? Бьюсь об заклад, что она примет на веру самую диковинную ложь, какую только можно измыслить. Ставлю свой индийский кинжал против заспиртованного солитера из вашего кабинета. Соглашайтесь, условия выгодные.

— Спасибо, я не любитель смертоносного оружия.

— Солитер тоже смертоносен, только он далеко не так красив.

— Во всяком случае, друг мой, без кинжала я какнибудь обойдусь, а солитер мне нужен... Мартини, я должен бежать. Значит, этот беспокойный пациент остается на вашем попечении?

— Да. Но только до трех часов. Мы с Галли уезжаем в Сан-Миниато, но меня заменит синьора Болла.

— Синьора Болла? — испуганно переспросил Овод.— Нет, Мартини, это невозможно! Я не допущу, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Не здесь же!

— Давно ли вы стали так строго соблюдать приличия? — спросил, смеясь, Риккардо.— Синьора Болла — наша главная сиделка. Она начала ухаживать за больными еще тогда, когда бегала в коротеньких платьцах. Лучшей сестры милосердия я не знаю. «Не здесь же?» Да вы, может быть, говорите о госпоже Грассини?.. Мартини, если придет синьора Болла, для нее не надо оставлять никаких указаний. Боже мой, уже половина третьего! Мне пора.

— Ну, Риварес, примите-ка лекарство до ее прихода,— сказал Галли, подходя к Оводу со стаканом.

— К черту лекарство!

Как и все выздоравливающие, Овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам.

— З-зачем вы пичкаете м-меня всякой дрянью, когда боли прошли?

— Именно затем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите так обессилить, чтобы синьоре Болле пришлось давать вам опиум?

— Милостивый государь. Если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую можно облегчить вашими дрянными лекарствами. От них столько же пользы, сколько от игрушечного шланга на пожаре. Впрочем, как хотите, дело ваше.

Он взял стакан левой рукой. Страшные шрамы на ней напомнили Галли о бывшем у них перед тем разговоре.

— Да, кстати,— спросил он,— где вы получили эти раны? На войне, вероятно?

— Я же только что рассказывал, что меня бросили в мрачное подземелье и...

— Знаю. Но это вариант для синьоры Грассини... Нет, в самом деле, в бразильскую войну?

— Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах... Всякое бывало.

. — А! Во время научной экспедиции?.. Можете опустить рукав. С меня хватит этого зрелища... Бурное это было время в вашей жизни, должно быть?

— Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений,— небрежно сказал Овод.— И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных.

— Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений... разве что на вас нападали дикие звери. Например, эти шрамы на левой руке.

— А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, выстрелил...

Послышался стук в дверь.

— Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так отворите, пожалуйста... Вы очень добры, синьора... Извините, что я не встаю.

— И незачем вам вставать. Я не с визитом... Я пришла пораньше, Чезаре: вы, наверно, торопитесь.

— Нет, у меня еще есть четверть часа. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно туда же?

— Осторожно, там яйца. Самые свежие. Кэтти привезла их из Монте Оливето сегодня утром... А это рож-

дественские розы, синьор Риварес. Я знаю, вы любите цветы.

Она присела к столу и стала подрезать стебли, потом поставила цветы в вазу.

— Риварес, вы начали рассказывать про пуму,— заговорил опять Галли.— Как же это было?

— Ах да! Галли расспрашивал меня, синьора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так изуродована левая рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и когда я выстрелил, ружье дало осечку: оказывается, порох отсырел. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность, и вот результат.

— Нечего сказать, приятное приключение!

— Ну, не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно, но в общем жизнь была преинтересная. Ловля змей, например...

Он болтал, рассказывал случай за случаем — об аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о стычках с туземцами, о встречах с дикими зверями. Галли слушал с увлечением, словно ребенок — сказку и то и дело прерывал его вопросами. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычное. Джемма достала из корзинки вязанье и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. Во всех этих рассказах слышались хвастливость и самодовольство. Несмотря на свое невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством,— как сам он, Мартини, мог убедиться неделю тому назад,— ему решительно не нравился Овод, не нравились его манеры, его поступки.

— Вот это жизнь! — вздохнул Галли с простодушной завистью.— Удивляюсь, как вы решились покинуть Бразилию. Какими скучными должны казаться после нее все другие страны!

— Лучше всего мне жилось, пожалуй, в Перу и в Эквадоре,—продолжал Овод.— Вот где действительно великолепно! Правда, слишком уж жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и условия жизни подчас очень суровы. Но красота природы превосходит всякое воображение.

— Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красота природы,— сказал Галли.— Там человек может действительно сохранить свое человеческое достоинство, не то что в наших скученных городах...

— Да,— согласился Овод,— но только...

Джемма отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вспыхнул и не кончил фразы.

— Неужели опять начинается приступ? — спросил тревожно Галли.

— Нет, ничего, не обращайте внимания. Ваши снаряжения помогли, хоть я и п-проклинал их... Вы уже уходите, Мартини?

— Да... Идемте, Галли, а то опоздаем.

Джемма вышла за ними и скоро вернулась со стаканом гоголь-моголя.

— Выпейте,— сказала она мягко, но настойчиво и снова села за свое вязанье.

Овод кротко повиновался.

С полчаса оба молчали. Наконец он тихо проговорил:

— Синьора Болла!

Джемма взглянула на него. Он обрывал бахрому пледа, которым была покрыта кушетка, и не поднимал глаз.

— Скажите, вы не поверили моим рассказам?

— Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали,— спокойно ответила Джемма.

— Вы совершенно правы. Я все время лгал.

— И о том, что касалось войны?

— Обо всем вообще. Я не участвовал в той войне. А экспедиция... Приключения там бывали, и большая часть того, о чем я рассказывал,— действительные факты. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, и теперь я могу сознаться во всем остальном.

— Стоит ли тратить силы на сочинение таких небылиц? — спросила Джемма.— По-моему, нет.

— А что же мне было делать? Вы помните вашу английскую пословицу: «Не задавай вопросов — не услышишь лжи». Мне не доставляет ни малейшего удовольствия дурачить людей, но должен я что-то отвечать, когда

меня спрашивают, каким образом я стал калекой. А уж если врать, так врать забавно. Вы видели, как Галли был доволен.

— Неужели вам важнее позабавить Галли, чем сказать правду?

— Правду...— Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку пледа.— Вы хотите, чтобы я сказал правду этим людям? Да лучше я себе язык отрежу! — И затем с какой-то неуклюжей и робкой порывистостью добавил: — Я еще никому не рассказывал правды, но вам, если хотите, расскажу.

Она молча опустила вязанье на колени. Было что-то мучительно трогательное в том, что этот черствый, скрытный, неприятный человек решил довериться женщине, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал.

После долгого молчания Джемма взглянула на него. Овод полулежал, облокотившись на столик, стоявший возле кушетки, и прикрыв изувеченной рукой глаза. Пальцы этой руки нервно вздрагивали, на кисти, в том месте, где был шрам, четко бился пульс. Джемма подошла к кушетке и тихо окликнула его. Он вздрогнул и поднял голову.

— Я совсем з-забыл,— проговорил он извиняющимся тоном.— Я х-хотел рассказать вам о...

— О несчастном случае... или что там было... после чего вы стали хромать. Но если вам тяжело об этом вспоминать...

— О несчастном случае? Ах, о побоях. Нет! это не был несчастный случай! Меня просто избили кочергой.

Джемма смотрела на него в полном недоумения. Он откинул дрожащей рукой волосы со лба и улыбнулся.

— Может быть, вы присядете? Пожалуйста, придвиньте кресло поближе. К сожалению, я не могу сделать это сам. З-знаете, я, пожалуй, был бы д-драгоценной находкой для Риккардо, если бы ему пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, за исключением шеи.

— И вашего мужества,— мягко вставила Джемма.— Но, может быть, его и нельзя сломить?

Овод покачал головой.

— Нет,— сказал он,— мужество мое кое-как удалось починить потом, вместе со всем прочим, что от меня осталось. Но тогда оно было разбито, как чайная чашка. В том-то и весь ужас... Да, так я начал рассказывать о кочерге.

Это было... дайте припомнить... лет тринацать назад, в Лиме. Я говорил, что Перу прекрасная страна, но она не так уж прекрасна для тех, кто очутился там без гроша в кармане, как было со мной. Я побывал в Аргентине, потом в Чили. Бродил по всей стране, чуть не умирая с голода, и приехал в Лиму из Вальпараисо на судне, перевозившем скот. В самом городе мне не удалось найти работу, и я спустился к докам, в Кальяо,— решил попытать счастья там. Ну, как известно, во всех портовых городах есть трущобы, в которых собираются матросы, и в конце концов я устроился в одном из игорных притонов. Я исполнял должность повара, маркера, подавал напитки матросам и их женщинам и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. Там меня кормили, я видел человеческие лица, слышал хоть какую-то человеческую речь. Вы, может быть, скажете, что радоваться было нечему, но незадолго перед тем я болел желтой лихорадкой, долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и это вселило в меня ужас... И вот однажды ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал буйнить. Он в этот день сошел на берег, проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел с голода; но этот человек был вдвое сильнее меня: мне пошел тогда только двадцать первый год, и после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга...— Овод замолчал и взглянул украдкой на Джемму.— Он, вероятно, хотел разделаться со мной, отправить на тот свет, но, будучи индийским матросом, выполнял свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я мог вернуться к жизни.

— А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса?

Овод посмотрел на нее и расхохотался.

— *Остальные!* Игрови и другие завсегдатаи притона? Как же вы не понимаете! Я был слугой, *собственностью* этих негров, китайцев и прочего сброва. Они окружили

нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища. Там смотрят на подобные вещи как на забаву. Конечно, в том случае, если действующим лицом является кто-то другой.

Джемма содрогнулась.

— Чем же все это кончилось?

— Этого я вам не могу сказать. После такого избиения человек обычно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач, и, по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали. Он починил меня кое-как. Риккардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я очнулся, одна старуха туземка взяла меня к себе из христианского милосердия — не правда ли, странно звучит? Помню, как она, бывало, сидит, скорчившись, в углу хижины, сосет свою прокуренную трубку, сплевывает на пол и напевает что-то себе под нос. Старуха оказалась добрая, она все говорила, что у нее я могу умереть спокойно: никто мне не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудная это была работа — возвращаться к жизни, и теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпение у этой старухи было поразительное. Я пробыл у нее... дай бог памяти... месяца четыре и все это время то бредил, то буйствовал, как медведь с болячкой в ухе. Боль была, надо сказать, довольно сильная, а я человек, изнеженный еще с детства.

— Что же было дальше?

— Дальше... кое-как поправился и уполз от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять состраданием бедной женщины. Нет, мне было не до этого. Я просто не мог больше выносить ее лачужку... Вы говорили о моем мужестве. Посмотрели бы вы на меня тогда! Приступы боли возобновлялись каждый вечер, как только начинало смеркаться. После полудня я обычно лежал один и следил, как солнце опускается все ниже и ниже... О, вам никогда этого не понять! Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат...

Наступила долгая пауза.

— Потом я пошел бродить по стране в надежде найти какую-нибудь работу. Оставаться в Лиме не было ни-

какой возможности. Я сошел бы с ума... Добрался до Куско... Однако зачем мучить вас этой старой историей — в ней даже нет ничего занимательного.

Джемма подняла голову и посмотрела на него серьезным, глубоким взглядом.

— Не говорите так, *прошу* вас,— сказала она.

Овод закусил губу и оторвал еще одну бахромку от пледа.

— Значит, рассказывать дальше? — спросил он немного погодя.

— Если... если хотите... Но воспоминания мучительны для вас.

— А вы думаете, я забываю об этом, когда молчу? Тогда еще хуже. Но меня мучают не сами воспоминания. Нет, страшно то, что я потерял тогда всякую власть над собой.

— Я не совсем понимаю...

— Мое мужество пришло к концу, и я оказался трусом.

— Но ведь есть предел всякому терпению!

— Да, и человек, который достиг этого предела, не знает, что с ним будет в следующий раз.

— Скажите, если можете,— нерешительно спросила Джемма,— каким образом вы в двадцать лет оказались заброшенным в такую даль?

— Очень просто. Дома, на родине, жизнь улыбалась мне, но я убежал оттуда.

— Почему?

Он засмеялся коротким, сухим смехом.

— Почему? Должно быть, потому, что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты и засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня... Что с вами? Почему вы так вздрогнули?

— Ничего. Продолжайте, пожалуйста.

— Я открыл, что меня подло обманули. Случай, весьма обыкновенный, конечно, но, повторяю, я был молод, самонадеян и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил: будь что будет — и убежал в Южную Америку, без единого сольдо, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всем готовом. В резуль-

тате я сам попал в настоящий ад, и это излечило меня от веры в ад воображаемый. Я уже был на самом дне... Так прошло пять лет... потом экспедиция Дюпре вытащила меня на поверхность.

— Пять лет! Это ужасно! Но неужели у вас не было друзей?

— Друзей? — Он проговорил с яростью: — У меня никогда не было ни одного друга.

Но через секунду словно устыдился своей вспышки и поспешил прибавить:

— Не придавайте всему этому такого значения. Я, пожалуй, изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были во все не так плохи: я был молод, силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не изувечил меня... После этого я уже не мог найти работу. Удивительно, каким совершенным оружием может быть кочерга в умелых руках! А калеку, понятно, никто не наймет.

— Что же вы делали?

— Работал где мог. Одно время у служил неграм, работавшим на сахарных плантациях. Между прочим, удивительное дело! Рабы всегда ухитряются завести себе собственного раба, и для негра нет большего удовольствия в жизни, чем измыватьсь над своим белым слугой. Впрочем, надсмотрщики гнали меня прочь. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро, да и большие тяжести были мне не под силу. А кроме того, у меня то и дело повторялось воспаление или как там называется эта проклятая болезнь...

Через некоторое время я перекочевал с плантаций на серебряные рудники и пытался устроиться там. Но управляющие смеялись, как только я заговаривал о работе, а рудокопы буквально травили меня.

— За что?

— Такова уж, должно быть, человеческая натура. Они видели, что я могу отбиваться только одной рукой. Большинство их были жалкие подонки — метисы, негры. А китайские кули — вот ужас! Наконец я ушел с этих рудников и отправился бродяжничать, в надежде, что подвернется какая-нибудь работа.

— Бродяжничать? С больной ногой?

Овод вдруг поднял на нее глаза, судорожно переведя дыхание.

— Я... я голодал,— сказал он.

Джемма отвернулась от него и оперлась на руку подбородком.

Он помолчал, потом заговорил снова, все больше и больше понижая голос:

— Я бродил и бродил без конца, до умопомрачения, и все-таки ничего не нашел. Пробрался в Эквадор, но там оказалось еще хуже. Иногда перепадала паяльная работа — я довольно хороший паяльщик,— или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что меня нанимали вычистить свиной хлев или... да не стоит перечислять... И вот однажды...

Тонкая смуглая рука Овода вдруг сжалась в кулак, и Джемма, подняв голову, с тревогой взглянула ему в лицо. Оно было обращено к ней в профиль, и она увидела жилку на виске, бившуюся частыми неровными ударами. Джемма наклонилась и нежно взяла его за руку.

— Не надо больше. Это все так страшно, что даже говорить тяжело.

Он нерешительно посмотрел на ее руку, покачал головой и продолжал твердым голосом:

— И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните, тот цирк, где мы были с вами? Так вот такой же, только еще хуже, еще непристойнее. Тамошняя публика хуже наших флорентийцев—им чем грубее, грязнее, тем лучше. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошел к ним и попросил милостыни. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в обморок. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание, точно институтка, затянутая в корсет. Меня внесли в палатку, накормили, дали мне коньяку, а на другое утро предложили мне...

Снова пауза.

— Им требовался горбун, вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками, а неграм — над кем потешаться... Помните клоуна в цирке? Вот и я был таким же целых два года. Вы, наверно, питаете гуманные чувства к неграм и китайцам. Но вам не приходилось быть в их полной власти.

Итак, я научился выделывать кое-какие трюки. Но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это

исправили: мне приделали фальшивый горб и постарались извлечь все, что можно, из больной ноги и руки. Зрители там непрятательные — можно полюбоваться, как мучают живое существо, и с них этого достаточно. А шутовской наряд довершал впечатление.

Все бы шло прекрасно, но я часто болел и не мог выходить на арену. Если содержатель труппы бывал не в духе, он требовал, чтобы я все-таки участвовал в представлении, и в такие вечера публика получала особое удовольствие. Помню, как-то раз у меня были сильные боли. Я вышел на арену и посреди представления упал в обморок. Потом очнулся и вижу: вокруг толпятся люди, все кричат, улюлюкают, забрасывают меня...

— Не надо! Я не могу больше! Ради бога, перестаньте! — Джемма вскочила, зажав уши.

Овод замолчал и, подняв голову, увидел слезы у нее на глазах.

— Боже мой! Какой я идиот! — прошептал он.

Джемма отошла к окну, и когда она обернулась, Овод снова сидел, облокотившись на столик и прикрыв глаза рукой. Казалось, он забыл о ее присутствии. Она села возле него и после долгого молчания медленно проговорила:

— Я хочу вас спросить...

— Да? — Он не шелохнулся.

— Почему вы тогда не перерезали себе горло?

Пораженный, он взглянул на нее:

— Вот не ожидал от вас такого вопроса? А как же мое дело? Кто бы выполнил его за меня?

— Ваше дело? А-а, понимаю... И вам не стыдно говорить о своей трусости! Претерпеть все это и не забыть о стоящей перед вами цели! Вы самый мужественный человек, какого я встречала!

Он снова прикрыл глаза рукой и горячо сжал пальцы Джеммы. Наступило молчание, которому, казалось, не будет конца.

И вдруг в саду, под окнами, чистый женский голос запел французскую бесхитростную песенку:

Eh, Pierrôt! Danse, Pierrôt!
Danse un peu, mon pauvre Jeannôt!
Vive la danse et l'allégress!
Jouissons de notre bell' jeunesse!
Si moi je pleure ou moi je soupire,

Si moi je fais la triste figure —
Monsieur, ce n'est que pour rire!
На! На, ха, ха!
Monsieur, ce n'est que pour rire! ¹

При первых же словах этой песни Овод с глухим стоном отшатнулся от Джеммы. Но она удержала его за руку и крепко сжала ее в своих, будто стараясь облегчить ему боль во время тяжелой операции. Когда же песня оборвалась и в саду раздались аплодисменты и смех, он медленно проговорил, устремив на нее страшальческий, как у затравленного зверя, взгляд:

— Да, это Зита со своими друзьями. Она хотела прийти ко мне в тот вечер, когда здесь был Риккардо. Я сошел бы с ума от одного ее прикосновения!

— Но ведь она не понимает этого,— мягко сказала Джемма.— Она даже не подозревает, что вам тяжело с ней.

— Она креолка, — ответил он, весь передернувшись.— Помните ее лицо в тот вечер, когда мы подобрали на улице бездомного ребенка? Вот так они смеются, все эти креолы, метисы.

В саду снова раздался взрыв смеха. Джемма поднялась и распахнула окно. Кокетливо повязанная шарфом с золотой вышивкой, Зита стояла посреди дорожки, подняв над головой руку с букетом фиалок, за которым тянулись три молодых кавалерийских офицера.

— Мадам Рени! — окликнула ее Джемма.

Словно туча нашла на лице Зиты.

— Что вам угодно, сударыня? — спросила она, бросив на Джемму вызывающий взгляд.

— Попросите, пожалуйста, ваших друзей говорить немножко потише. Синьор Риварес плохо себя чувствует.

Танцовщица швырнула фиалки на землю.

— Allez-vous-en! — крикнула она, круто повернув-

¹ Эй, Пьерро! Танцуй, Пьерро!
Потанцуй и ты, Жанно!
Веселись, мы поглядим.
Хорошо быть молодым!
Коль плачу я или вздыхаю,
Коль у меня печальный вид —
Я вас развеселить желаю!
Ха! Ха, ха, ха!
Я вас развеселить желаю!

вшись к удивленным офицерам.— Vous m'embêtez, messieurs! ¹ — и медленно вышла из сада.

Джемма закрыла окно.

— Они ушли,— сказала она.

— Благодарю... И простите, что вам пришлось побеспокоиться из-за меня.

— Беспокойство небольшое...

Он сразу уловил нерешительные нотки в ее голосе.

— Беспокойство не большое, но..? Вы не докончили фразы, сеньора, там было «но».

— Если вы умеете читать чужие мысли, то не извольте обижаться на них. Правда, это не мое дело, но я не понимаю...

— Моего отвращения к мадам Рени? Это только, когда я...

— Нет, я не понимаю, как вы можете жить вместе с ней, если она вызывает у вас такие чувства. По-моему, это оскорбительно для нее как для женщины, и...

— Как для женщины? — Он резко рассмеялся.— И вы называете *ее* женщиной? «Madame, ce n'est que pour rire!»

— Это нечестно!— воскликнула Джемма.— Кто дал вам право говорить о ней в таком тоне с другими... и особенно с женщинами!

Овод отвернулся к окну и широко открытыми глазами посмотрел на заходящее солнце. Джемма опустила шторы и жалюзи, чтобы ему не было видно заката, потом села к столику у другого окна и снова взялась за вязанье.

— Не зажечь ли лампу? — спросила она немного погодя.

Овод покачал головой.

Когда стемнело, Джемма свернула работу и положила ее в корзинку. Опустив руки на колени, она молча смотрела на неподвижную фигуру Овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое, самоуверенное выражение его лица и подчеркивал трагические складки у рта. В какой-то странной связи Джемма вспомнила вдруг каменный крест, поставленный ее отцом в память Артура, и надпись на нем:

Все твои волны и бури прошли надо мной.

¹ Уходите! Вы мне надоели, господа!(франц.)

Целый час прошел в молчании. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажженной лампой, она остановилась в дверях, думая, что Овод заснул. Но как только свет упал на него, он повернулся к ней голову.

— Я сварила вам кофе,— сказала Джемма, опуская лампу на стол.

— Поставьте его и, пожалуйста, подойдите ко мне. Он взял ее руки в свои.

— Знаете, о чем я думал? Вы совершенно правы, моя жизнь исковеркана. Но ведь женщину, достойную твоей... любви, встречаешь не каждый день. А мне пришлось перенести столько всяких бед! Я боюсь...

— Чего?

— Темноты. Иногда я просто *не могу* оставаться один ночью. Мне нужно, чтобы рядом со мной было живое существо... что-то осязаемое. Темнота, кромешная темнота вокруг... Нет, нет! Я боюсь не ада! Ад—это детская игрушка. Меня страшит темнота *внутренняя*... там нет ни плача, ни скрежета зубовного, а только тишина... мертвая тишина.

Зрачки у него расширились, он замолчал. Джемма ждала, затаив дыхание.

— Вы, наверно, думаете, что за фантазия! Да! Вам этого не понять — к счастью для вас самой. А у меня все шансы сойти с ума, если я буду жить один. Не судите меня слишком строго, если можете. Я не так мерзок, как, может быть, кажется на первый взгляд.

— Могу ли я судить,— ответила она.— Мне не приходилось испытывать такие страдания. Но беды... у кого их не было! И мне думается, если смалодушствовать и совершить несправедливость, жестокость,— раскаяния все равно не минуешь. Но вы не устояли только в этом, а я на вашем месте потеряла бы последние силы, прокляла бы бога и покончила с собой.

Овод все еще держал ее руки в своих.

— Скажите мне,— совсем тихо проговорил он,— а вам никогда не приходилось поступать жестоко?

Джемма ничего не ответила ему, но голова ее поникла и две крупные слезы упали на его руку.

— Говорите,— горячо зашептал он, сжимая ее пальцы,— говорите! Ведь я рассказал вам о всех своих страданиях.

— Да... много лет назад... Я была жестока с человеком, которого любила больше всех на свете.

Руки, сжимавшие ее пальцы, судорожно вздрогнули, но не разжались.

— Он был нашим товарищем,— продолжала Джемма,— его оболгали, на него возвели явный поклеп в полиции, а я всему поверила. Я ударила его по лицу, как предателя... Он ушел и утопился. Через два дня я узнала, что он был ни в чем не виновен... Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших... Я охотно дала бы отсечь себе правую руку, если бы этим можно было исправить то, что сделано.

Новый для нее, опасный огонек сверкнул в глазах Овода.

Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы. Она испуганно отшатнулась от него.

— Не надо! — сказала она умоляющим тоном.— Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.

— А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?

— Тому, кого я убила... Ах, вот идет Чезаре! Наконец-то! Мне... мне надо идти.

Войдя в комнату, Мартини застал Овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе, и он тихо и монотонно, видимо не получая от этого никакого удовольствия, сыпал ругательствами.

ГЛАВА IX

Несколько дней спустя Овод вошел в читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был еще очень бледен и хромал сильнее, чем всегда. Риккардо, сидевший за соседним столом, поднял голову. Он любил Овода, но не выносил в нем одной черты — озлобленности на всех и вся.

— Подготовляете очередное нападение на несчастного кардинала? — язвительно спросил Риккардо.

— Почему это вы, милейший, в-всегда приписываете людям з-злые умысли? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современном богословии для и-новой газеты.

→ Для какой новой газеты? — Риккардо нахмурился. Ни для кого не было тайной, что оппозиция только дождалась нового закона о печати, чтобы поразить читателей газетой радикального направления, но открыто об этом не говорили.

— Для «Шарлатана», или — как она называется — «Церковная хроника»?

— Тише, Риварес! Мы мешаем другим.

— Ну, так вернитесь к своей хирургии, если это ваше дело, и предоставьте м-мне заниматься моим делом — богословием. Я не м-мешаю вам возиться со сломанными костями, хотя знаю о них гораздо больше, чем вы.

И Овод погрузился в изучение тома проповедей. Вскоре к нему подошел один из библиотекарей.

— Синьор Риварес, если не ошибаюсь, вы были членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки. Помогите нам выйти из затруднения. Одна дама спрашивала отчеты этой экспедиции, а они как раз у переплетчика.

— Какие сведения ей нужны?

— Она хочет знать только, когда экспедиция выехала и когда она проходила через Эквадор.

— Экспедиция выехала из Парижа осенью тысяча восемьсот тридцать седьмого года и прошла через Кито в апреле тридцать восьмого. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио и вернулись в Париж летом сорок первого года. Не нужны ли вашей читательнице даты отдельных открытых?

— Нет, спасибо. Это как раз то, что ей требуется. Я все записал. Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок синьоре Болла... Еще раз благодарю вас, синьор Риварес. Простите за беспокойство.

Нахмутившись, Овод откинулся на спинку стула. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать, когда экспедиция проходила через Эквадор?

Джемма ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер в мае 1833. Пять лет...

Она взволнованно ходила по комнате. Последние ночи ей плохо спалось, и под глазами у нее были темные круги,

Пять лет... И он говорил о «богатом доме», о ком-то, «кому он верил и кто его обманул»... Обманул его, а обман открылся...

Она остановилась и подняла обе руки к голове. Нет, это чистое безумие! Этого не может быть... А между тем как тщательно обыскали они тогда всю гавань!

— Пять лет... И ему не было двадцати одного, когда тот матрос... Значит, он убежал из дома девятнадцати лет. Ведь он сказал: «полтора года»... А эти голубые глаза и эти первые пальцы? И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет... Пять лет... •

Если бы только знать наверное, что Артур утонул, если бы она видела его труп... Когда-нибудь эта старая рана зажила бы наконец и тяжелое воспоминание перестало бы так мучить ее. И лет через двадцать она, может быть, привыкла бы оглядываться на прошлое без ужаса.

Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днем, год за годом стойко боролась она с угрызениями совести. Она не переставала твердить себе, что служит будущему, и старалась отгородиться от неотступного призрака прошлого. Но изо дня в день, из года в год ее преследовал образ утопленника, уносимого в море, в сердце звучал горький вопль, который она не могла заглушить: «Артур погиб! Я убила его!» Порой ей казалось, что такое бремя слишком тяжело для ее плеч.

И, однако, Джемма отдала бы теперь половину жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Горькая мысль, что она убила Артура, стала привычной; ее душа слишком долго изнемогала под этой тяжестью, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а... Джемма опустилась на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся ее жизнь была омрачена призраком его смерти! О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-либо худшее!

Подробно, безжалостно вспоминала Джемма весь ад его прошлой жизни. И так ярко предстал этот ад в ее воображении, словно она видела и испытала все это сама: дрожь беззащитной души, надругательства горше смерти, ужас одиночества и неотступные жестокие муки. Так ясно видела она эту грязную лачугу, как будто сама

была там, как будто страдала вместе с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в этом страшном бродячем цирке...

Бродячий цирк... Отогнать от себя хотя бы эту мысль... Ведь так можно потерять рассудок!

Джемма выдвинула ящик письменного стола. Там у нее лежало несколько реликвий, с которыми она не могла заставить себя расстаться. Она не отличалась сентиментальностью и все-таки хранила кое-что на память: это было уступкой слабой стороне ее «я», которую Джемма так упорно подавляла в себе. Она очень редко заглядывала в этот ящик.

Вот они — первые письма Джованни, цветы, что лежали в его мертвой руке, локон ее ребенка, увядший лист с могилы отца. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было десять лет,— единственный его портрет.

Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ Артура-юноши не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо! Нежная линия рта, большие серьезные глаза, ангельская чистота выражения — все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И медленные слепящие слезы скрыли от нее портрет.

Как могла ей прийти в голову такая мысль? Разве не святотатство навязывать этому светлому далекому духу грязь и скорбь жизни? Видно, боги любили его и дали ему умереть молодым. В тысячу раз лучше перейти в небытие, чем остаться жить и превратиться в Овода, в этого Овода, с его роскошными галстуками, сомнительными остротами, язвительностью и с этой танцовщицей... Нет, нет! Это страшный плод ее воображения. Она ранит себе сердце пустыми выдумками — Артур мертв!

— Можно войти? — негромко спросили у двери.

Джемма вздрогнула так сильно, что портрет выпал у нее из рук. Овод прошел, хромая, через всю комнату, поднял его и подал ей.

— Как вы меня испугали! — сказала она.

— П-простите, пожалуйста. Быть может, я вам помешал?

— Нет, я перебирала разные старые вещи.

С минуту Джемма колебалась, потом протянула ему портрет.

— Что вы скажете об этой головке?

И пока Овод рассматривал портрет, она следила за ним так напряженно, точно вся ее жизнь зависела от выражения его лица. Но он только критически поднял брови и сказал:

— Трудную вы мне задали задачу. Миниатюра вызвела, а детские лица вообще читать нелегко. Но мне думается, что этот ребенок должен был стать несчастным человеком. И самое разумное, что он мог сделать, это остаться таким вот малышом.

— Почему?

— Посмотрите на линию нижней губы. В нашем мире нет места таким натурам. Для них с-страдание есть с-страдание, а неправда — неправда. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своем деле.

— Портрет никого вам не напоминает?

Он еще пристальнее посмотрел на миниатюру.

— Да. Как странно!.. Да, конечно, очень похож...

— На кого?

— На к-кардинала М-монтанелли. Быть может, у этого безупречного пастыря имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?

— Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.

— Того, кого вы убили?

Джемма невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это страшное слово!

— Да, того, кого я убила... если он действительно умер.

— Если?

Она не спускала глаз с его лица.

— Иногда я в этом сомневаюсь. Тела ведь так и не нашли. Может быть, он, как и вы, убежал из дома и уехал в Южную Америку.

— Будем надеяться, что нет. Вам было бы тяжело жить с такой мыслью. В свое время я участвовал в жестоких схватках и мне пришлось препроводить, может быть, не одного человека в царство теней, но если бы я знал, что какое-то живое существо по моей вине отправилось в Южную Америку, я потерял бы сон.

— Значит, вы думаете,—сказала Джемма, сжав руки и подходя к нему,— что, если бы этот человек не утонул... а пережил то, что пережили вы, он никогда не вер-

нулся бы домой и не предал бы прошлое забвению? Вы думаете, он не мог бы простить? Ведь и мне это многого стоило! Смотрите!

Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая серебряная полоса.

Наступило долгое молчание.

— Я думаю,— медленно сказал Овод,— что мертвым лучше оставаться мертвыми. Прошлое трудно забыть. И на месте вашего друга я продолжал бы оставаться мертвым. Встреча с привидением — весть неприятная.

Джемма положила портрет в ящик и заперла его на ключ.

— Жестокая мысль,— сказала она.— Поговорим о чем-нибудь другом.

— Я пришел посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно — по секрету. Мне пришел в голову некий план.

Джемма придвинула стул к столу и села.

— Что вы думаете о проектируемом законе относительно печати? — начал он ровным голосом, без обычного заикания.

— Что я думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше это, чем совсем ничего.

— Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые хотят издавать здешние добрые люди?

— Да, я бы хотела этим заняться. При выпуске новой газеты всегда бывает много технической работы: поиски типографии, распространение и...

— И долго вы намерены губить таким образом свои способности?

— Почему «губить»?

— Конечно, губить. Ведь для вас не секрет, что вы гораздо умнее большинства мужчин, с которыми вам приходится работать, а вы позволяете им превращать вас в какого-то *Johannes factotum*. В умственном отношении Грассини и Галли просто школьники в сравнении с вами, а вы сидите и правите их статьи, точно мальчишка-ученик.

— Во-первых, я не все время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы сильно преувеличиваете мои способности: они не так блестящи, как вам кажется.

— Я вовсе не считаю их блестящими,— спокойно ответил Овод.— У вас твердый и здравый ум, что гораздо важнее. На этих унылых заседаниях комитета вы первая замечаете ошибки ваших товарищей.

— Вы несправедливы к ним. У Мартини очень хорошая голова, а в способностях Фабрици и Лега я не сомневаюсь. Что касается Грассини, то он знает экономическую статистику Италии, может быть, лучше всякого чиновника.

— Это еще не так много. Но бог с ними! Факт остается фактом: с вашими способностями вы могли бы выполнять более серьезную работу и играть более ответственную роль.

— Я вполне довольна своим положением. Моя работа, может статься, не так уж важна, но ведь всякий делает что может.

— Синьора Болла, мы с вами говорим начистоту, и не стоит нам одаривать друг друга комплиментами и скромничать. Ответьте мне прямо: признаете ли вы, что ваша теперешняя работа может выполняться людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму?

— Ну, если уж вы так настаиваете, то, пожалуй, это до известной степени верно.

— Так почему же вы это допускаете?

Молчание.

— Почему вы это допускаете?

— Потому что я тут бессильна.

— Бессильны? Не понимаю!

Она укоризненно взглянула на него.

— Это не великодушно... Нехорошо так настойчиво требовать ответа.

— А все-таки вы мне ответите.

— Ну хорошо. Потому, что моя жизнь разбита. У меня нет сил взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только в труженицы, на партийную техническую работу. Ее я, по крайней мере, исполняю добросовестно, а ведь кто-нибудь должен ею заниматься.

— Да. Разумеется, кто-нибудь должен, но, конечно, не один и тот же человек.

— Я, кажется, только на это и способна.

Он прищурился, бросив на нее загадочный взгляд. Джемма подняла голову.

— Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Зачем говорить со мной о работе, которую я могла бы делать? Я ее не сделаю теперь. Но я могу помочь вам обдумать ваш план. В чем он состоит?

— Вы начинаете с заявления, что предлагать вам работу бесполезно, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мне нужно, чтобы вы не только обдумали мой план, но и помогли его выполнить.

— Расскажите сначала, в чем дело, а потом поговорим.

— Прежде всего я хочу знать вот что: слыхали вы что-нибудь о подготовке восстания в Венеции?

— Со времени амнистии ни о чем другом не говорят, как о предстоящих восстаниях и о санфедистских заговорах, но я скептически отношусь и к тому и к другому.

— Я тоже в большинстве случаев. Но сейчас речь идет о серьезной подготовке к восстанию против австрийцев в целой провинции. В Папской области — особенно в четырех легатствах — молодежь намеревается тайно перейти границу и примкнуть к восставшим. Друзья из Романьи сообщают мне...

— Скажите, — прервала его Джемма, — вы вполне уверены, что на ваших друзей можно положиться?

— Вполне. Я знаю их лично и работал с ними.

— Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите мое недоверие, но я всегда немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от тайных организаций. Мне кажется...

— Кто вам сказал, что я член какой-то тайной организации? — резко спросил он.

— Никто, я сама догадалась.

— А! — Овод откинулся на спинку стула и посмотрел на Джемму нахмутившись. — Вы всегда угадываете чужие тайны?

— Очень часто. Я довольно наблюдательна, и имею привычку устанавливать связь между фактами. Так что будьте осторожны со мной.

— Я ничего не имею против того, чтобы вы знали о моих делах, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не стала достоянием...





Джемма посмотрела на него не то удивленно, не то обиженно.

— По-моему, это излишний вопрос,— сказала она.

— Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам вашей партии, быть может...

— Партия имеет дело с фактами, а не с моими догадками и домыслами. Само собой разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила.

— Благодарю вас. Вы, быть может, угадали даже, к какой организации я принадлежу?

— Я надеюсь... не обижайтесь только за мою откровенность, вы ведь сами начали этот разговор,— я надеюсь, что это не «Кинжалщики».

— Почему вы на это надеетесь?

— Потому что вы достойны лучшего.

— Все мы достойны лучшего, чем есть на самом деле. Вот вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом организации «Красные пояса». Там более крепкий народ, серьезнее относятся к своему делу.

— Под «делом» вы имеете в виду убийства?

— Да, между прочим и убийства. Кинжал — очень полезная вещь, но лишь тогда, когда за ним стоит хорошо организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с той организацией. Они думают, что кинжал может устранить любую трудность, и сильно ошибаются: устранить можно многое, но не все.

— Неужели вы в самом деле верите в это?

Овод с удивлением посмотрел на нее.

— Конечно,— продолжала Джемма,— с помощью кинжала можно устранить конкретного носителя зла — какого-нибудь шпика или особо зловредного представителя власти, но не возникает ли на месте прежнего препятствия новое, более серьезное? Вот в чем вопрос! Не получится ли, как в притче о выметенном и прибранном доме и о семи злых духах? Ведь каждый новый террористический акт еще больше озлобляет полицию, а народ приучает смотреть на жестокости и насилие, как на самое обыкновенное дело.

— А что же, по-вашему, будет, когда грянет революция? Народу придется привыкать к насилию. Война есть война.

— Это совсем другое дело. Революция — преходящий момент в жизни народа. Такова цена, которую мы

платим за движение вперед. Да! Во время революций насилия неизбежны, но это будет только в отдельных случаях, это будут исключения, вызванные исключительностью исторического момента. А в террористических убийствах самое страшное то, что они становятся чем-то заурядным, на них начинают смотреть, как на нечто обыденное, у людей притупляется чувство святости человеческой жизни. Я редко бывала в Романье, но по тому, что мне пришлось наблюдать в этой области, у меня сложилось впечатление, что там вошли или входят в обычновение насильтственные методы борьбы.

— Лучше это, чем послушание и покорность.

— Не думаю... во всякой привычке есть что-то дурное, рабское, а эта, кроме всего прочего, воспитывает в людях жестокость. Если революционная деятельность должна заключаться только в том, чтобы вырывать у правительства те или иные уступки, тогда тайные организации и кинжал покажутся вам лучшим оружием в борьбе, ибо правительства боятся их больше всего на свете. Но если вы думаете — так же, как и я, что борьба с правительством — это лишь средство, то главная наша цель — изменить отношение человека к человеку. Приучая невежественных людей к виду крови, вы уменьшаете в их глазах ценность человеческой жизни.

— А ценность религии?

— Не понимаю.

Он улыбнулся:

— Мы с вами расходимся во мнениях относительно того, где корень всех наших бед. По-вашему, он в недооценке человеческой жизни...

— Вернее, в недооценке человеческой личности, которая священна.

— Извольте, можно и так. Но, по-моему, главная причина всех наших несчастий и ошибок — душевная болезнь, именуемая религией.

— Вы говорите о какой-нибудь одной религии?

— О нет! Они отличаются одна от другой лишь внешними симптомами. А сама болезнь — это религиозная направленность ума, это потребность человека создать себе фетиш и обоготовить его, пасть ниц перед кем-нибудь и поклоняться кому-нибудь. Кто это будет — Христос, Будда или дикарский тотем,— не имеет значения.

Вы, конечно, не согласитесь со мной. Можете считать себя атеисткой, агностиком, кем заблагорассудится,— все равно, я за пять шагов чувствую вашу религиозность. Впрочем, наш спор бесцелен, хотя вы грубо ошибаетесь, думая, что я рассматриваю террористические акты только как способ расправы со зловредными представителями власти. Нет, это способ — и, по-моему, наилучший способ, подрывать авторитет церкви и приучать народ к тому, чтобы он смотрел на ее служителей, как на паразитов.

— А когда вы достигнете своей цели, когда вы разбудите зверя, дремлющего в человеке, и натравите его на церковь, тогда...

— Тогда я скажу, что сделал свое дело, ради которого стоило жить.

— Так вот о каком деле шла речь в тот раз!

— Да, вы угадали.

Она вздрогнула и отвернулась от него.

— Вы разочаровались во мне? — с улыбкой спросил Овод.

— Нет, не разочаровалась... Я... я, кажется, начинаю бояться вас.

Прошла минута, и, взглянув на него, Джемма проговорила своим обычным деловым тоном:

— Да, спорить нам бесполезно. У нас слишком разные мерила. Я, например, верю в пропаганду, пропаганду и еще раз пропаганду и в открытое восстание, если оно возможно.

— Тогда вернемся к моему плану. Он имеет отношение к пропаганде, но только некоторое, а к восстанию — непосредственное.

— Я вас слушаю.

— Итак, я уже сказал, что из Романьи в Венецию направляется много добровольцев. Мы еще не знаем, когда вспыхнет восстание. Быть может, не раньше осени или зимы. Но добровольцев в Апеннинах нужно вооружить, чтобы они по первому зову могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в Папскую область оружие и боевые припасы.

— Погодите минутку... Как вы работаете с этими людьми? Революционеры в Венеции и Ломбардии стоят за нового папу. Они сторонники либеральных реформ и положительно относятся к прогрессивному церковному

движению. Как можете вы, такой непримиримый антиклерикал, уживаться с ними?

Овод пожал плечами:

— Что мне до того, что они забавляются тряпочной куклой? Лишь бы делали свое дело! Да, конечно, они будут носиться с папой. Почему это должно меня тревожить, если мы все же идем на восстание? Побить собаку можно любой палкой, и любой боевой клич хорош, если с ним поднимешь народ на австрийцев.

— Чего же вы ждете от меня?

— Главным образом, чтобы вы помогли мне переправить оружие через границу.

— Но как я это сделаю?

— Вы сделаете это лучше всех. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и с доставкой предстоит немало затруднений. Ввозить через порты Папской области невозможно; значит, придется доставлять в Тоскану, а оттуда переправлять через Апеннины.

— Но тогда у вас будут две границы вместо одной!

— Да, но все другие пути безнадежны. Ведь привести большое судно в неторговую гавань нельзя, а вы знаете, что в Чивита-Веккиа заходят самое большее три парусных лодки да какая-нибудь рыбачья шхуна. Если только мы доставим наш груз в Тоскану, я берусь пронести его через границу Папской области. Мои товарищи знают там каждую горную тропинку, и у нас много мест, где можно прятать оружие. Судно должно прийти морским путем в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связей с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть.

— Дайте мне подумать пять минут.

Джемма облокотилась о колено, подперев подбородок ладонью, и вскоре сказала:

— Я, вероятно, смогу вам помочь, но до того, как мы начнем обсуждать все подробно, ответьте на один вопрос. Вы можете дать мне слово, что это дело не будет связано с убийствами и вообще с насилием?

— Разумеется! Я никогда не предложил бы вам участвовать в том, чего вы не одобряете.

— Когда нужен окончательный ответ?

— Время не терпит, но я могу подождать два-три дня.

— Вы свободны в субботу вечером?

— Сейчас скажу... сегодня четверг... да, свободен.

— Ну, так приходите ко мне. За это время я все обдумаю и дам вам ответ.

В следующее воскресенье Джемма послала комитету флорентийской организации мадзинистов письмо, в котором сообщала, что намерена заняться одним делом политического характера и поэтому не сможет исполнять в течение нескольких месяцев ту работу, за которую до сих пор была ответственна перед партией.

В комитете ее письмо вызвало некоторое удивление, но возражать никто не стал. Джемму давно знали в партии как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на это основательные причины.

Мартини Джемма сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой «работе на границе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом — ей не хотелось, чтобы между ними возникали мучительные сомнения и тайны. Она считала себя обязанной доказать, что доверяет ему. Мартини ничего не сказал ей, но Джемма поняла, что эта новость глубоко его огорчила.

Они сидели у нее на террасе, глядя на видневшийся вдали, за красными крышами, Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая, что служило у него верным признаком волнения. Несколько минут Джемма молча смотрела на него.

— Чезаре, вас это очень обеспокоило, — сказала она наконец. — Мне ужасно неприятно, что вы так волнуетесь, но я не могла поступить иначе.

— Меня смущает не дело, за которое вы беретесь, — ответил он мрачно. — Я ничего об этом деле не знаю и думаю, что если вы соглашаетесь принять в нем участие, значит, оно того заслуживает. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.

— Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала ближе. Овод далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.

— Весьма вероятно. — С минуту Мартини молча шагал по террасе, потом вдруг остановился. — Джемма, от-

кажитесь! Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в его дела, чтобы не раскаиваться впоследствии.

— Ну что вы говорите, Чезаре! — мягко сказала Джемма. — Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению самостоятельно, хорошо все обдумав. Я знаю, вы не любите Ривареса, но речь идет о политической работе, а не о личностях.

— Мадонна, откажитесь! Это опасный человек. Он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем... и он любит вас.

Она отшатнулась от него.

— Чезаре, как вы могли вообразить такую нелепость!

— Он любит вас,— повторил Мартини.— Оставьте его, мадонна!

— Чезаре, милый, я не могу его оставить и не могу объяснить вам, почему. Мы связаны друг с другом... не по собственной воле.

— Если это так, то мне больше нечего сказать,— ответил Мартини усталым голосом.

Он ушел, сославшись на неотложные дела, и долго бродил по улицам. Все рисовалось ему в черном свете в тот вечер. Было у него единственное сокровище, и вот явился этот хитрец и украл его.

ГЛАВА X

В середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма свела его там с одним экспедитором, либерально настроенным англичанином, которого она и ее муж знали еще в Англии. Он уже не раз оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их в трудную минуту деньгами, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийной переписки и тому подобное. Но все это делалось через Джемму, из дружбы к ней. Согласно партийной дисциплине, она могла пользоваться этим знакомством по своему усмотрению. Но теперь успех был сомнителен. Одно дело — попросить дружески настроенного иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или спрятать в сейфе его конторы какие-нибудь документы, и совсем другое — предложить ему перевез-

ти контрабандой огнестрельное оружие для повстанцев. Джемма не надеялась, что он согласится.

— Можно, конечно, попробовать,— сказала она Оводу,— но я не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если бы вы пришли к Бейлис моей рекомендацией и попросили пятьсот скудо¹, отказа не было бы: он человек в высшей степени щедрый. Может одолжить в трудную минуту свой паспорт или спрятать у себя в подвале какого-нибудь беглеца. Но если вы заговорите с ним о ружьях, он удивится и примет нас обоих за существо-

— Но, может, он посоветует мне что-нибудь или свидет меня с кем-нибудь из расположенных к нам матросов,— ответил Овод.— Во всяком случае, надо попытаться.

Однажды в конце месяца он пришел к ней одетый менее элегантно, чем всегда, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.

— Наконец-то! А я уж начала бояться, не случилось ли с вами чего-нибудь.

— Я решил, что писать опасно, а раньше вернуться не мог.

— Вы только что приехали?

— Да, прямо с дилижанса. Я пришел сказать, что все улажено.

— Неужели Бейли согласился помочь?

— Больше чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, фрахт— все решительно. Ружья будут спрятаны в тюках товаров и придут прямо из Англии. Его компаньон и близкий друг, Вильямс, соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, а Бейли протащит его через таможню в Ливорно. Потому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я проводил его до Генуи.

— Чтобы обсудить по дороге все дела?

— Да. И мы говорили до тех пор, пока меня не укачало.

— Вы страдаете морской болезнью? — быстро спросила Джемма, вспомнив, как мучился Артур, когда ее отец повез однажды их обоих кататься по морю.

¹ Скудо — крупная итальянская серебряная монета.

— Совершенно не переношу моря, несмотря на то, что мне много приходилось плавать. Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Славный малый, неглупый и заслуживает полного доверия. Бейли ему в этом отношении не уступает, и оба они умеют держать язык за зубами.

— Все-таки Бейли идет на большой риск, соглашаясь на такое дело.

— Так я ему и сказал, но он лишь мрачно посмотрел на меня и ответил: «А вам-то что?» Другого ответа от него трудно было ожидать. Попадись он мне где-нибудь в Тимбукту, я бы подошел к нему и сказал: «Здравствуйте, англичанин!»

— Все-таки не понимаю, как вы добились их согласия! И особенно согласия Вильямса — на него я просто не рассчитывала.

— Да, сначала он отказался наотрез, но не из страха, а потому, что считал все предприятие «неделовым». Но мне удалось переубедить его... А теперь займемся деталями.

Когда Овод вернулся домой, солнце уже зашло, и в наступивших сумерках цветы японской айвы темными пятнами выступали на садовой стене. Он сорвал несколько веточек и понес их в дом. У него в кабинете сидела Зита. Она вскочила с места и кинулась ему навстречу со словами:

— Феличе! Я думала, ты никогда не вернешься!

Первым побуждением Овода было строго спросить ее, зачем она сюда пожаловала, однако, вспомнив, что они не виделись три недели, он протянул ей руку и холодно сказал:

— Здравствуй, Зита! Ну, как ты поживаешь?

Она подставила ему лицо для поцелуя, но он, словно не заметив этого, прошел мимо нее и взял со стола вазу. В ту же минуту дверь позади распахнулась настежь — Шайтан ворвался в кабинет и запрыгал вокруг хозяина, лаем, визгом и бурными ласками выражая ему свою радость. Овод положил цветы на стол и нагнулся к собаке.

— Здравствуй, Шайтан, здравствуй, старик! Да, да, это я. Ну, дай лапу!

Зита сразу помрачнела.

— Будем обедать? — сухо спросила она.— Я велела накрыть у себя — ведь ты писал, что вернешься сегодня вечером.

Овод быстро повернулся к ней:

— П-прости, бога ради! Но ты напрасно ждала меня. Сейчас я переоденусь и приду. Поставь, пожалуйста, цветы в воду.

Когда Овод вошел в столовую Зиты, Зита стояла перед зеркалом и прикалывала ветку айвы к корсажу. Решив, видимо, сменить гнев на милость, она протянула ему маленький букетик красных цветов:

— Вот тебе бутоньерка. Дай я приколю.

За обедом Овод старался изо всех сил быть любезным и весело болтал о разных пустяках. Зита отвечала ему сияющими улыбками. Ее откровенная радость смущала Овода. У Зиты была своя жизнь, свой круг друзей и знакомых — он привык к этому, и до сих пор ему не приходило в голову, что она может скучать по нему. А ей, видно, было тоскливо одной, если ее так взволновала их встреча.

— Давай пить кофе на террасе,— предложила Зита.— Вечер такой теплый!

— Хорошо! Гитару взять? Может, ты споешь мне?

Зита так и просияла. Овод был строгий ценитель и не часто просил ее петь.

На террасе вдоль всей стены шла широкая деревянная скамья. Овод устроился в углу, откуда открывался прекрасный вид на горы, а Зита села на перила, поставила ноги на скамью и прислонилась к колонне, поддерживающей крышу. Живописный пейзаж не трогал ее — она предпочитала смотреть на Овода.

— Дай мне папиросу. Я ни разу не курила с тех пор, как ты уехал.

— Хорошая мысль! Для полного блаженства не хватает только папиросы.

Зита наклонилась и внимательно посмотрела на него.

— Тебе правда хорошо сейчас?

Овод высоко поднял свои подвижные брови.

— Да, конечно. Я сытно пообедал, любуюсь видом, прекраснее которого, пожалуй, нет во всей Европе, а сейчас меня угостят кофе и венгерской народной песней. Кроме того, совесть моя спокойна, пищеварение в порядке. Что еще нужно человеку?

— А я знаю — что!
— Что?
— Вот! — Она бросила ему в руки маленькую картонную коробку.

— Ж-жареный миндаль! Почему же ты не сказала раньше, пока я еще не закурил?

— Глупый! Покуришь, а потом примешься за лакомство... А вот и кофе!

Овод с сосредоточенным видом грыз миндаль, прихлебывая маленькими глотками кофе и наслаждаясь, точно кошка, лакающая сливки.

— Как п-приятно, вернувшись из Ливорно, пить настоящий кофе после той б-бурды, которую подают там! — протянул он своим мурлыкающим голосом.

— Вот и посидел бы подольше дома.

— Долго не усидишь. Завтра я опять уезжаю.

Улыбку смело с губ Зиты:

— Завтра?.. Зачем? Куда?

— Да так... в два-три места. По делам.

Посоветовавшись с Джеммой, он решил сам съездить в Апеннины и условиться с контрабандистами о перевозке оружия. Переход границы Папской области грозил ему серьезной опасностью, но от его поездки зависел успех всей операции.

— Вечные дела! — чуть слышно вздохнула Зита. — А вслух спросила: — И это надолго?

— Нет, недели на две, на три.

— Те же самые дела? — вдруг спросила она.

— Какие «те же самые»?

— Да те, из-за которых ты когда-нибудь добьешься своего и сломаешь себе шею. Опять политика?

— Да, это имеет некоторое отношение к п-политике. Зита отшвырнула от себя папиросу.

— Ты меня не проведешь, — сказала она. — Я знаю, эта поездка опасная.

— Да, я отправляюсь п-прямо в ад кромешный, — лениво протянул Овод. — У тебя, вероятно, есть там друзья, которым ты хочешь послать в подарок веточки плюща? Только не обрывай его весь.

Зита рванула с колонны целую плеть и в сердцах бросила ее на пол.

— Поездка опасная, — повторила она, — а ты не считаешь нужным честно признаться мне во всем. По-твоему

му, со мной можно только шутить и дурачиться! Тебе, может быть, грозит виселица, а ты даже не желаешь сказать мне прости! Политика, вечная политика! Как мне это надоело!

— И мне т-тоже,— проговорил Овод сквозь зевоту.— Поэтому давай побеседуем о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споешь?

— Хорошо. Дай гитару. Что тебе спеть?

— Балладу о погибшем коне. Это у тебя лучше всего выходит.

Зита запела старинную венгерскую песню о человеке, который лишился сначала своего коня, потом крыши над головой, потом возлюбленной и утешал себя тем, что «больше потерял я на Мохачском поле». Это была любимая песнь Овода. Ее суровая, трагическая мелодия и горькое мужество припева трогали его так, как не трогала более сентиментальная музыка.

Зита была в голосе. Звуки лились из ее уст — чистые, полные силы и горячей жажды жизни. Итальянские и славянские песни не удавались ей, немецкие и польские, а венгерские она пела мастерски.

Овод слушал, затаив дыхание, широко раскрыв глаза. Так хорошо Зита еще никогда не пела. И вдруг на последних словах голос ее дрогнул:

Ну так что же! Больше потерял я...

Она всхлинула и спрятала лицо в густой завесе плюща.

— Зита! — Овод встал и взял у нее гитару.— Что с тобой?

Но она судорожно всхлипывала, закрыв лицо ладонями. Он тронул ее за плечо:

— Ну, что случилось? — ласково сказал он.

— Оставь меня! — проговорила она сквозь слезы, отстраняясь от него.— Оставь!

Овод спокойно вернулся на место и стал терпеливо ждать, когда рыдания стихнут. И вдруг Зита обняла его за шею и опустилась перед ним на колени:

— Феличе! Не уезжай! Не уезжай!

— Об этом после.— Он осторожно высвободился из ее объятий.— Скажи мне, что случилось? Ты чем-то напугана?

Зита молча покачала головой.

— Я тебя обидел?

— Нет.—Она коснулась ладонью его шеи.

— Так что же?

— Тебя убьют,— прошептала она наконец.— Ты попадешься... так сказал один человек, из тех, что ходят сюда... я слышала. А на мои расспросы ты отвечаешь смехом.

— Зита, милая! — сказал Овод, с удивлением глядя на нее.— Ты вообразила бог знает что! Может, меня и убьют когда-нибудь — революционеры часто так кончат, но почему это должно случиться именно теперь? Я рисую не больше других.

— Другие! Какое мне дело до других! Если б ты любил меня, то не уезжал бы так! Я лежу по ночам не смыкая глаз и все думаю, арестован ты или нет. А если засыпаю, то вижу во сне, будто тебя убили. О собаке, вот об этой собаке ты думаешь больше, чем обо мне!

Овод встал и медленно отошел на другой конец террасы. Он не был готов к такому объяснению и не знал, что сказать ей. Да, Джемма была права — он запутал свою жизнь, и распутать ее теперь будет трудно.

— Сядем и поговорим обо всем спокойно,— сказал он, подойдя к Зите.— Мы, видно, не поняли друг друга. Я не стал бы шутить, если б знал, что ты серьезно чем-то встревожена. Расскажи мне толком, что тебя так взволновало, и, может, тогда все станет ясно.

— Выяснять нечего. Я и так вижу, что ты ни в грош меня не ставишь.

— Дорогая моя, будем откровенны друг с другом. Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, насколько мне кажется, не обманывал тебя насчет своих...

— О да! Твоя честность бесспорна! Ты никогда не скрывал, что считаешь меня непорядочной женщиной — чем-то вроде дешевой побрякушки, побывавшей до тебя в других руках!

— Замолчи, Зита! Я не позволяю себе так думать о людях!

— Ты меня никогда не любил,— с горечью повторила она.

— Да, я тебя никогда не любил. Но выслушай и не суди строго, если можешь.

— Я не осуждаю, я...

— Подожди минутку. Вот что я хочу сказать: условия общепринятой морали для меня не существуют. Я считаю, что в основе отношений между мужчиной и женщиной должно быть чувство приязни или неприязни.

— Или деньги,— вставила Зита с резким смешком. Овод болезненно поморщился и замолчал.

— Да, это самая неприглядная сторона дела. Но, уверяю тебя, я не позволил бы себе воспользоваться твоим положением и между нами ничего бы не было, если бы я почувствовал твою неприязнь, твоё отвращение ко мне. Я никогда не поступал так с женщинами, никогда не обманывал их в своих чувствах. Поверь мне, что это правда.

Он ждал, что Зита скажет, но она молчала.

— Я рассуждал так,— снова заговорил Овод.— Человек живет один как перст в целом мире и чувствует, что присутствие женщины скрасит его одиночество. Он встречает женщину, которая нравится ему и которой он тоже не противен... Так почему же не принять по-дружески, с благодарностью то, что она может ему дать, зачем требовать и от нее и от себя большего? Я не вижу тут ничего дурного — лишь бы в таких отношениях все было по-честному, без обмана, без ненужных обид. Что же касается твоих связей с другими мужчинами до нашей встречи, то я об этом как-то не думал. Мне казалось, что наша дружба будет приятна, необременительна нам обоим, а лишь только она станет в тягость, каждый из нас волен уйти. Если я ошибся... если ты смотришь теперь на это по-иному, значит...

Он замолчал.

— Значит? — чуть слышно повторила Зита, не глядя на него.

— Значит, я поступил с тобой дурно, о чём весьма сожалею. Но это получилось помимо моей воли.

— Ты «весма сожалеешь», «это получилось помимо твоей воли»! Феличе! Да что у тебя — каменное сердце? Верно ты сам никогда не любил, раз не видишь, что я люблю тебя!

Что-то дрогнуло в нем при этих словах. Он так давно

не слышал, чтобы кто-нибудь говорил ему «люблю». А Зита уже обнимала его, повторяя:

— Феличе! Уедем отсюда! Уедем из этой ужасной страны, от этих людей с их политикой! Что нам до них? Уедем в Южную Америку, где ты жил. Там мы будем счастливы!

Страшные воспоминания, рожденные этими словами, отрезвили его. Он развел ее руки и крепко сжал их:

— Зита! Пойми, я не люблю тебя! А если бы и любил, то все равно не уехал бы отсюда. В Италии все мои товарищи, с Италией я связан работой.

— И человек, которого ты любишь больше меня! — крикнула она.— Я готова убить тебя!.. При чем тут товарищи! Я знаю, кто тебя держит здесь!

— Перестань,— спокойно сказал он.— Ты сама себя не помнишь, и тебе мерещится бог знает что.

— Ты думаешь, я о синьоре Болла? Нет, меня не так легко одурачить! С ней ты говоришь только о политике. Она значит для тебя не больше, чем я... Это кардинал!

Овод пошатнулся, будто его ударили.

— Кардинал? — машинально повторил он.

— Да! Кардинал Монтанелли, который выступал здесь с проповедями осенью. Думаешь, я не заметила, каким взглядом ты провожал его коляску? И лицо у тебя было белое, как вот этот платок. Да ты и сейчас дрожишь, услышав только его имя!

Овод встал.

— Ты просто не отдаешь себе отчета в своих словах,— медленно и тихо проговорил он.— Я... я ненавижу кардинала. Это мой заклятый враг.

— Враг он или не враг, не знаю, но ты любишь его больше всех на свете. Погляди мне в глаза и, если можешь, скажи, что это неправда!

Овод отвернулся от нее и подошел к окну в сад. Зита украдкой наблюдала за ним, испугавшись того, что надела,— так страшно было наступившее на террасе молчание. Наконец она не выдержала и, подкравшись к нему, робко, точно испуганный ребенок, потянула его за рукав. Овод повернулся к ней.

— Да, это правда,— сказал он.

ГЛАВА XI

— А не м-могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? В Бризигелле опасно.

— Каждая пядь земли в Романье опасна для вас, но сейчас Бризигелла — самое надежное место.

— Почему?

— А вот почему... Не поворачивайтесь лицом к этому человеку в синей куртке: он опасный субъект... Да, буря была страшная. Я такой и не помню. Виноградники-то все побило!

Овод положил руки на стол и уткнулся в них головой, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший лишнее. Окинув быстрым взглядом комнату, «опасный субъект» в синей куртке увидел лишь двоих крестьян, толкующих об урожае за бутылкой вина, да солнного горца, опустившего голову на стол. Такую картину можно было часто наблюдать в кабачках маленьких деревушек, подобных Марради, и обладатель синей куртки, решив, по-видимому, что здесь ничего интересного не услышишь, выпил залпом свое вино и перекочевал в другую комнату, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином, он поглядывал время от времени через открытую дверь, туда, где те трое сидели за столом. Крестьяне продолжали потягивать вино и толковали о погоде на местном наречии, а Овод хралел, как человек, совесть которого чиста.

Наконец сыщик убедился, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время. Он уплатил, сколько с него приходилось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрел по узкой улице.

Овод поднял голову, зевнул, потянулся и спросонья протер глаза рукавом полотняной блузы.

— Недурно у них налажена слежка,— сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал от лежащего на столе каравая ломоть хлеба.— Очень они вас донимают, Микеле?

— Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду сыщики. Даже в горах, раньше они боялись туда соваться, а теперь то и дело встречаешь группы по три-четыре человека... Верно, Джино? Потому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминико в городе.

— Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничные города всегда полны сыщиков.

— Лучше Бризигеллы ничего не придумаешь. Она кишит богомольцами со всех концов страны.

— Но Бризигелла им совсем не по пути.

— Она недалеко от дороги в Рим, и многие паломники заходят туда, чтобы послушать обедню.

— Я не знал, что в Бризигелле есть к-какие-то достопримечательности.

— А кардинал? Помните, он приезжал во Флоренцию с проповедями в октябре прошлого года? Так это кардинал Монтанелли. Говорят, он произвел на всех вас большое впечатление.

— Весьма вероятно. Но я не хожу слушать проповеди.

— Его считают святым.

— Как же он ухитрился попасть в святые?

— Не знаю. Может, потому, что он раздает все, что получает, и живет, как приходский священник, на четыреста — пятьсот скудо в год.

— Мало того,— вступил в разговор тот, которого звали Джино,— кардинал не только оделяет всех деньгами — он все свое время отдает бедным, следит, чтобы за больными был хороший уход, выслушивает с утра до ночи жалобы и просьбы. Я не больше твоего люблю попов, Микеле, но монсеньер Монтанелли не похож на других кардиналов.

— Да, он скорее блаженный, чем плут! — сказал Микеле.— Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминико думает идти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Люди охотно покупают эти вещи и просят кардинала прикоснуться к ним. А потом вешают их на шею своим детям от дурного глаза.

— Подождите минутку... Как же мне идти? Под видом паломника? Моя теперешняя одежда мне очень нравится, но я знаю, что п-показываться в Бризигелле в том же обличье, что и здесь, нельзя. Если меня схватят, это б-будет уликой против вас.

— Никто вас не схватит. Мы припасли вам одежду, паспорт и все, что требуется.

— Какая же это одежда?

— Старика богомольца из Испании — покаявшегося убийцы из Сьерры. В прошлом году в Анконе он заболел, и один из наших товарищей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. В знак благодарности он оставил нам свои бумаги. Теперь они вам пригодятся.

— П-покаявшийся убийца? Как же быть с п-полицией?

— С этой стороны все обстоит благополучно. Стариk отбыл свой срок каторги несколько лет тому назад и с тех пор ходит по святым местам, спасает душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции.

— Он совсем старый?

— Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а все остальные его приметы точка в точку совпадают с вашими. Он отставной солдат, хромает, на лице шрам, как у вас, к тому же испанец; если вам попадутся испанцы, вы сумеете объясниться с ними.

— Где же мы встретимся с Доминикино?

— Вы примкнете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. А в городе идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.

— Так он, значит, живет в-во дворце, н-несмотря на всю свою святость?

— Кардинал занимает одно крыло, остальная часть отведена под больницу... Дождитесь, когда он выйдет и даст благословение паломникам; в эту минуту появится Доминикино со своей корзинкой и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» А вы ответите ему: «Я несчастный грешник». Тогда он поставит корзинку наземь и утрут лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольдо за четки.

— Там и условимся, где можно поговорить?

— Да, пока народ будет глазеть на кардинала, он успеет назначить вам место встречи. Таков был наш план, но, если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.

— Нет, нет, план хорош. Смотрите только, чтобы борода и парик выглядели естественно.

— Вы паломник, отец мой?

Овод, сидевший на ступеньках епископского дворца, поднял седую всклокоченную голову и хриплым, дрожащим голосом с сильным иностранным акцентом, произнес условный ответ. Доминико спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами. Никто в толпе крестьян и богомольцев, сидевших на лестнице и бродивших по рыночной площади, не обращал на них внимания, но осторожности ради они продолжали отрывочный разговор. Доминико говорил на местном диалекте, а Овод — на ломаном итальянском с примесью испанских слов.

— Его преосвященство! Его преосвященство выходит! — закричали стоявшие у подъезда дворца.— Посторонитесь! Его преосвященство выходит!

Овод и Доминико встали.

— Вот, отец, возьмите,— сказал Доминико, положив в руку Овода небольшой, завернутый в бумагу образок,— и помолитесь за меня, когда будете в Риме.

Овод сунул образок за пазуху и, обернувшись, посмотрел на кардинала, который в лиловой сутане и пунцовской шапочке стоял на верхней ступени и, протянув перед собой руки, благословлял народ.

Монтанелли медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поцеловать ему руку. Многие становились на колени и прижимали к губам край его сутаны.

— Мир вам, дети мои!

Услышав этот ясный серебристый голос, Овод так низко наклонил голову, что седые космы упали ему на лицо. Доминико увидел, как посох паломника задрожал в его руке, и с восторгом подумал: «Вот комедиант!»

Женщина, стоявшая поблизости, нагнулась и подняла со ступенек своего ребенка.

— Пойдем, Чекко,— сказала она, — его преосвященство благословит тебя, как Христос благословлял детей.

Овод сделал шаг вперед и остановился. Как тяжело! Все эти чужие люди — паломники, горцы — могут подходить к нему и говорить с ним... он погладит детей по головке... Может быть, назовет этого крестьянского мальчика *carino*, как называл когда-то...

Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся,

чтобы не видеть всего этого. Если бы можно было забиться куда-нибудь в угол, заткнуть уши и ничего не слышать! Это свыше человеческих сил... быть так близко, так близко от него, что только протяни руку — и дотронешься ею до любимой руки...

— Не зайдете ли вы погреться, друг мой? — проговорил мягкий голос.— Вы, должно быть, продрогли.

Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не чувствовал, кроме тяжелого гула крови, которая, казалось, разорвет ему сейчас грудь; потом она отхлынула и щекочущей горячей волной разлилась по всему телу. Он поднял голову, и при виде его лица глубокий взгляд человека, стоявшего над ним, стал еще глубже, еще добре.

— Отойдите немного, друзья,— сказал Монтанелли, обращаясь к толпе,— я хочу поговорить с ним.

Паломники медленно отступили, перешептываясь друг с другом, и Овод, сидевший неподвижно, сжав губы и опустив глаза, почувствовал легкое прикосновение руки Монтанелли.

— У вас большое горе? Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Овод молча покачал головой.

— Вы паломник?

— Я несчастный грешник.

Случайное совпадение вопроса Монтанелли с паролем оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Он ответил машинально. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло ему плечо, и дрожь охватила его тело.

Кардинал еще ниже наклонился над ним:

— Быть может, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам...

Овод впервые взглянул прямо в глаза Монтанелли. Самообладание возвращалось к нему.

— Нет,— сказал он,— мне теперь нельзя помочь.

Из толпы выступил полицейский:

— Простите, что я вмешиваюсь, ваше преосвященство. По-моему, старик не в своем уме. Он безобидный, и бумаги у него в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.

— За тяжкое преступление,— повторил Овод, медленно качая головой.

— Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немногоХ подальше... Друг мой, тому, кто искренне раскаялся, всегда можно помочь. Не зайдете ли вы ко мне сегодня вечером?

— Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?

Вопрос прозвучал почти вызывающе, и Монтанелли вздрогнул и съежился, словно от холодного ветра.

— Да сохранит меня бог осудить вас, что бы вы ни сделали! — торжественно сказал он.— В глазах господа все мы грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придетете ко мне, я приму вас так, как молю всевышнего принять меня, когда наступит мой час.

Овод порывисто протянул вперед руки.

— Слушайте,— сказал он.— И вы тоже слушайте, верующие! Если человек убил своего единственного сына — сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти и костью от кости его, если ложью и обманом он завлек его в ловушку, то может ли этот человек уповать на что-нибудь на земле или в небесах? Я покаялся в грехе своему богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне господь мой: «Довольно»? Чье благословение снимет с души моей его проклятие? Какое отпущение грехов загладит то, что я сделал?

Наступила мертвая тишина; все глядели на Монтанелли и видели, как вздымается крест на его груди.

Наконец он поднял глаза и нетвердой рукой благословил народ:

— Господь всемилостив! Сложите к престолу его бремя души вашей, ибо сказано: «Сердце разбитого и сокрушенного не отвергай».

Кардинал повернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу поговорить с народом или взять на руки ребенка.

Вечером того же дня, следуя указаниям, написанным на бумажке, в которую был завернут образок, Овод отправился к условленному месту встречи. Это был дом местного врача — активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности, если оно требовалось.

— Мы очень рады снова увидеть вас,—сказал врач,— но еще больше обрадуемся, когда вы отсюда уедете. Ваш приезд — дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?

— З-заметить-то, конечно, заметили, да не узнали. Доминико все в-великолепно устроил. Где он, кстати?

— Сейчас придет. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?

— Дал благословение? Это бы еще ничего! — раздался у дверей голос Доминико.— Риварес, у вас сюрпризов, как в рождественском пироге. Какими еще талантами вы нас удивите?

— А что такое?— лениво спросил Овод.

Он полулежал на кушетке, куря сигару; на нем еще была одежда паломника, но парик и борода валялись рядом.

— Я и не подозревал, что вы истинный актер. Никогда в жизни не видел такой великолепной игры! Вы тронули его преосвященство почти до слез.

— Как это было? Расскажите, Риварес.

Овод пожал плечами. Он был неразговорчив в этот вечер, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминико. Когда тот рассказал о сцене, разыгравшейся утром на рынке, один молодой рабочий, который не принял участия в общем смехе, угрюмо проговорил:

— Вы, конечно, ловко все это проделали, да только я не вижу, какой кому прок от такого представления.

— А вот какой,— ответил Овод.— Я теперь могу расхаживать свободно и делать что мне вздумается в этих местах, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет заподозрить меня в чем-нибудь. Завтра весь город узнает о сегодняшнем происшествии, и при встрече со мной сыщики будут думать: «Это сумасшедший Диего, покаявшийся в грехах на площади». В этом есть большая выгода.

— Да, конечно! Но все-таки лучше было бы сделать все как-нибудь по-другому, не обманывая кардинала. Он хороший человек, зачем его дурачить!

— Мне самому он показался человеком порядочным,—лениво согласился Овод.

— Глупости, Сандро! Нам здесь кардиналы не нужны,— сказал Доминикино.— И если бы монсеньер Монтанелли принял пост в Риме, который ему предлагали, Риваресу не пришлось бы обманывать его.

— Он не принял этого поста только потому, что не хотел оставить свою деятельность здесь.

— А может быть потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбрускини. Они имеют что-то против него, это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в нашей забытой богом дыре, мы знаем, чем тут пахнет. Не правда ли, Риварес?

Овод пускал дым колечками.

— Может быть, виной этому разбитое и сокрушенное сердце,— сказал он, откинув голову и следя за колечками дыма.— А теперь приступим к делу, господа!

Собравшиеся принялись подробно обсуждать вопрос о контрабандной перевозке и хранении оружия. Овод слушал внимательно, и если предложения были необдуманны и сведения неточны, прерывал спорящих отрывистыми замечаниями. Когда все высказались, он подал несколько дельных советов, и большинство их было принято без споров. На этом собрание кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, лучше не засиживаться по вечерам, чтобы не привлечь внимания полиции. Все разошлись вскоре после десяти часов, кроме врача, Овода и Доминикино — членов подкомиссии, оставшейся обсудить кое-какие специальные вопросы. Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикино взглянул на часы.

— Половина двенадцатого. Надо кончать, не то мы наткнемся на ночной дозор.

— В котором часу они обходят город? — спросил Овод.

— Около двенадцати. И я хотел бы вернуться домой к этому часу... Доброй ночи, Джордани. Пойдем вместе, Риварес?

— Нет, в одиночку безопаснее. Так мы увидимся?

— Да. В Кастель-Болоньезе. Я еще не знаю, в каком обличье я туда явлюсь, но пароль вам известен. Вы завтра уходите отсюда?

Овод старательно прилаживал перед зеркалом парик и бороду.

— Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболею и останусь лежать в пастушьей хижине. Оттуда пойду пряником через горы и приду в Кастель-Болоньезе раньше вас. Доброй ночи!

Часы на соборной колокольне пробили двенадцать, когда Овод подошел к двери большого сарая, превращенного в место ночлега для богомольцев. На полу лежали неуклюжие человеческие фигуры; раздавался громкий храп; воздух в сарае был нестерпимо тяжелый. Овод брезгливо вздрогнул и попятился. Здесь все равно не заснуть! Лучше походить час-другой, а потом разыскать какой-нибудь навес или стог сена: там будет по крайней мере чище и спокойнее.

Была чудесная ночь, и полная луна ярко сверкала в темном небе. Овод бесцельно бродил по улицам, с горечью вспоминая утреннюю сцену. Как жалел он теперь, что согласился встретиться с Доминикино в Бризигелле! Если бы сказать сразу, что это опасно, выбрали бы другое место, и тогда он и Монтанелли были бы избавлены от этого ужасного, нелепого фарса.

Как *padre* изменился! А голос у него такой же, как в прежние дни, когда он называл его *cariño*...

На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и Овод свернул в узкий извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и очутился на соборной площади, у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста. Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, причетник забыл затворить ее. Ведь службы в такой поздний час быть не может. А что, если войти туда и выспаться на скамье, вместо того, чтобы возвращаться в душный сарай? Утром он осторожно выйдет из собора до прихода причетника. Да если даже его там найдут, то, наверно, подумают, что сумасшедший Диего молился где-нибудь в углу и оказался запертым.

Он постоял у двери, прислушиваясь, потом вошел неслышной походкой, сохранившейся у него, несмотря на хромоту. Лунный свет вливался в окна и широкими полосами ложился на мраморный пол. Особенно ярко был освещен алтарь — совсем как днем. У подножья престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнаженной головой и молитвенно сложенными руками.

Овод отступил в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли не увидел его? Это будет, несомненно, всего благоразумнее, а может быть, и милосерднее. А если подойти — что в этом плохого? Подойти поближе и взглянуть на лицо *padre* еще один раз; теперь вокруг них нет людей и незачем разыгрывать безобразную комедию, как утром. Быть может, ему больше не удастся увидеть *padre*... а *padre* ничего не заметит... Он подойдет незаметно и взглянет на него только один раз. А потом снова вернется к своему делу.

Держась в тени колонн, Овод осторожно подошел к решетке алтаря и остановился на мгновение у бокового входа, неподалеку от престола. Тень, падавшая от епископского кресла, была так велика, что скрыла его совершенно. Он пригнулся там в темноте и затаил дыхание.

— Мой бедный мальчик! О господи! Мой бедный мальчик!

В этом прерывистом шепоте было столько безбрежного отчаяния, что Овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжелые рыдания без слез, и Монтанелли заломил руки, словно изнемогая от физической боли.

Овод не думал, что *padre* так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью: «Стоит ли об этом беспокоиться! Его рана давно зажила». И вот после стольких лет он видит эту рану, и из нее все еще сочится кровь. Как легко было бы наконец исцелить ее теперь! Стоит только поднять руку, шагнуть к нему и сказать: «*Padre, это я!*» И у Джеммы седая прядь в волосах. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти глубоко проникшее в сердце прошлое — пьяного матроса, сахарную плантацию, бродячий цирк! Какое страдание сравнишь с этим: хочешь простить, стремишься простить — и знаешь, что это безнадежно, что простить нельзя, простить не смеешь.

Наконец Монтанелли встал, перекрестился и отошел от престола. Овод отступил еще дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал увидит его, услышит биение его сердца. Потом он облегченно вздохнул: Монтанелли прошел мимо — так близко, что лиловая сутана коснулась его щеки, и все-таки не увидел его.

Не увидел... О, что он сделал! Что он сделал! Последняя возможность — драгоценное мгновение, и он не вос-

пользовался им. Овод вскочил и шагнул вперед, в освещенное пространство.

— Padre!

Звук собственного голоса, нарушивший тишину и медленно затихающий под высокими сводами, наполнил его ужасом. Он снова подался в тень. Монтанелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного страха глазами. Сколько длилось это молчание, Овод не мог бы сказать: может быть, один миг, может быть, целую вечность. Но вот он пришел в себя. Монтанелли покачнулся, как бы падая, и губы его беззвучно дрогнули.

— Артур... — послышался тихий шепот. — Да, вода глубока.

Овод шагнул вперед:

— Простите, ваше преосвященство, я думал, это кто-нибудь из здешних священников.

— А это вы, паломник?

Самообладание вернулось к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на его пальце Овод видел, что он все еще дрожит.

— Вам что-нибудь нужно, друг мой? Уже поздно, а собор на ночь запирается.

— Простите, ваше преосвященство, если я сделал что-нибудь не так. Дверь была открыта, и я зашел помолиться. Увидел священника, как будто погруженного в молитву, и решил попросить его освятить вот это.

Он показал маленький оловянный крестик, купленный утром у Доминикино. Монтанелли взял его и, снова войдя в алтарь, коснулся на мгновение престола.

— Примите, сын мой, — сказал он, — и да успокоится душа ваша, ибо господь наш кроток и милосерд. Ступайте в Рим и испросите благословение слуги господня, святого отца. Мир вам!

Овод склонил голову, принимая благословение, потом медленно побрел к выходу.

— Подождите, — вдруг сказал Монтанелли. Он стоял, держась рукой за решетку алтаря. — Когда вы получите в Риме святое причастие, помолитесь за того, чье сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжко легла десница господня.

В голосе кардинала чувствовались слезы, и решимость Овода поколебалась. Еще мгновение — и он выдал

бы себя. Но картина бродячего цирка снова всплыла в его памяти, и он вспомнил, как Иона, что был прав, когда возроптал.

— Услышит ли господь молитву недостойного? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу его дар святой жизни, душу незапятнанную и не страждущую от тайного позора...

Монтанелли резко отвернулся от него.

— Я могу принести к престолу господню лишь одно,— сказал он,— свое разбитое сердце.

Через несколько дней Овод сел в Пистойе в дилижанс и вернулся во Флоренцию. Он заглянул прежде всего к Джемме, но не застал ее дома и, оставив записку с обещанием зайти на другой день утром, пошел домой, в надежде, что на сей раз Зита не совершил нашествия на его кабинет. Ее ревнивые упреки были бы сегодня как прикосновение бура к больному зубу.

— Добрый вечер, Бианка,— сказал он горничной, открывшей дверь.— Мадам Рени заходила?

Девушка уставилась на него.

— Мадам Рени? Разве она вернулась, сударь?

— Откуда? — нахмурившись, спросил Овод и остановился на пороге.

— Она уехала неожиданно, сейчас же вслед за вами, без вещей. И даже не предупредила меня, что уезжает.

— Вслед за мной? То есть две недели назад?

— Да, сударь, в тот же день. Все свои вещи бросила. Соседи только об этом и толкуют.

Овод повернулся, не добавив больше ни слова, и быстро пошел к дому, где жила Зита. В ее комнатах все было как прежде. Его подарки лежали по местам. Она не оставила ни письма, ни даже коротенькой записи.

— Сударь,— сказала Бианка, просунув голову в дверь,— там пришла старуха...

Он повернулся к ней в ярости.

— Что вам надо? Что вы ходите за мной по пятам?

— Эта старуха давно вас добивается.

— А ей что понадобилось? Скажите, что я не м-могу к ней выйти. Я занят.

— Да она, сударь, приходит чуть не каждый вечер с тех самых пор, как вы уехали. Все спрашивает, когда вы вернетесь.

— Пусть передаст через вас, что ей нужно... Ну хорошо, я сам к ней выйду.

Когда Овод вышел в переднюю, ему навстречу поднялась старуха — смуглая, вся сморщенная, очень бедно одетая, но в пестрой шали на голове. Она окинула его внимательным взглядом и сказала:

— Так вы и есть тот самый хромой господин? — спросила она, критически оглядывая его с головы до ног.— Зита Рени просила сказать вам кое-что.

Овод пропустил ее в кабинет, вошел следом за ней и затворил дверь, чтобы Бианка не слышала их.

— Садитесь, пожалуйста. Кто вы т-такая?

— А это не ваше дело. Я пришла сказать вам, что Зита Рени ушла с моим сыном.

— С вашим... сыном?

— Да, сударь! Не сумели удержать женщину, пока она была с вами,— пеняйте на себя, если она теперь с другим. У моего сына в жилах кровь, а не снятое молоко. Он цыганского племени!

— Так вы цыганка! Значит, Зита вернулась к своим?

Старуха смерила его удивленно-презрительным взглядом: эти христиане не способны даже разгневаться, когда их оскорбляют!

— А зачем ей оставаться у вас? Разве вы ей пара? Наши девушки иной раз уходят к таким, как вы,— кто из приходит, кто из-за денег,— но цыганская кровь берет свое, цыганская кровь тянет назад, к цыганскому племени.

Ни один мускул не дрогнул в лице Овода.

— Она ушла со всем табором или ее увел ваш сын? Старуха рассмеялась:

— Уж не собираетесь ли вы догонять Зиту и возвращать назад? Опоздали, сударь! Надо было раньше за ум браться!

— Нет, я просто хочу знать всю правду, если вы не утаите ее от меня.

Старуха пожала плечами — стоит ли оскорблять человека, который даже ответить тебе как следует не может!

— Ну что ж, вот вам вся правда: Зита Рени повстречалась с моим сыном на улице в тот самый день, когда

вы ее бросили, и заговорила с ним по-цыгански. И хоть она была богато одета, он признал в ней свою и полюбил ее, красавицу, так, как только наши мужчины могут любить, и привел в табор. Бедняжка все нам рассказала — про все свои беды — и так плакала, так рыдала, что мы вконец разжалобились. Утешили ее как могли, и тогда она сняла свое богатое платье, оделась по-нашему и согласилась пойти в жены к моему сыну. Он не станет ей говорить «я тебя не люблю» да «я занят, у меня дела». Молодой женщине нужен мужчина. А вы разве подходите ей? Не можете даже расцеловать красавицу, когда она сама вас обнимает...

— Вы говорили, — прервал ее Овод, — что Зита просила что-то сказать мне.

— Да. Я нарочно отстала от табора, чтобы передать вам ее слова. А она велела сказать, что ей надоели люди, которые болтают о всяких пустяках и у которых в жилах течет не кровь, а вода, и что она возвращается к своему народу, к свободной жизни. «Я женщина, говорит, и я любила его и поэтому не хочу оставаться у него в любовницах». И она правильно сделала, что ушла от вас. Если цыганская девушка заработает немного денег своей красотой, в этом ничего дурного нет — на то и красота дана, — а любить человека вашего племени ей не годится.

Овод встал.

— И это все? — спросил он. — Тогда передайте ей, пожалуйста, что, по-моему, она поступила правильно и что я желаю ей счастья. Больше мне нечего сказать. Прощайте!

Он стоял, не двигаясь, до тех пор, пока калитка не захлопнулась за старухой; потом сел в кресло и закрыл лицо руками.

Еще одна пощечина! Неужели же ему не оставят хоть клочка былой гордости, былого самоуважения! Ведь он претерпел все муки, какие только может претерпеть человек. Его сердце бросили в грязь под ноги прохожим. А его душа! Сколько ей пришлось вытерпеть презрения, издевательств! Ведь в ней не осталось живого места! А теперь и эта женщина, которую он подобрал на улице, даже и у нее в руках был хлыст!

За дверью послышался жалобный визг Шайтана, и Овод поднялся и впустил собаку. Шайтан, как всегда,

бросился к нему с бурными изъявлениями радости, но вскоре понял, что дело неладно, и, ткнувшись холодным носом в неподвижную руку хозяина, улегся на ковре у его ног.

Час спустя к дому Овода подошла Джемма. Она постучала в дверь, но на ее стук никто не ответил. Бианка, видя, что синьор Риварес не собирается обедать, ушла к соседской кухарке. Дверь она не заперла и оставила в прихожей свет. Джемма подождала минуту-другую, потом решилась войти; ей нужно было поговорить с Оводом о важных новостях, только что полученных от Бейли. Она постучалась в кабинет и услышала голос Овода:

— Вы можете уйти, Бианка. Мне ничего не нужно.

Джемма осторожно приотворила дверь. В комнате было совершенно темно, но от лампы, стоявшей в прихожей, протянулась длинная полоса света, и она увидела Овода. Он сидел один, свесив голову на грудь; у его ног, свернувшись, спала собака.

— Это я,— сказала Джемма.

Он вскочил ей навстречу.

— Джемма, Джемма! Как вы нужны мне!

И прежде чем она успела вымолвить слово, он упал к ее ногам и спрятал лицо в складках ее платья. По его телу пробежала дрожь, и это было страшнее слез...

Джемма стояла молча. Она ничем не могла помочь ему, ничем! Вот что больнее всего! Она должна стоять рядом с ним, безучастно глядя на его горе... Она, которая с радостью умерла бы, чтобы избавить его от страданий! О, если бы склониться к нему, сжать его в объятиях, защитить собственным телом от всех новых грозящих ему бед! Тогда он станет для нее снова Артуром, тогда для нее снова займется день, который разгонит все тени.

Нет, нет! Разве он сможет когда-нибудь забыть? И разве не она сама толкнула его в ад, сама, своей рукой?

И Джемма упустила мгновение. Овод быстро поднялся, сел к столу и закрыл глаза рукой, кусая губы с такой силой, словно хотел прокусить их насеквоздь.

Потом он поднял голову и сказал уже спокойным голосом:

— Простите. Я, кажется, испугал вас.

Джемма протянула ему руки.

— Друг мой! Разве теперь вы не можете довериться мне? Скажите, что вас так мучит?

— Это мои личные невзгоды. Зачем тревожить ими других.

— Выслушайте меня,— сказала Джемма, взяв его дрожащую руку в свои.— Я не хотела касаться того, чего не вправе была касаться. Но вы сами, по своей доброй воле, стольким уже поделились со мной. Так доверьте мне и то немногое, что осталось недосказанным, как доверили бы своей сестре! Сохраните маску на лице, если так вам будет легче, но сбросьте ее со своей души, пожалейте самого себя!

Овод еще ниже опустил голову.

— Вам придется запастись терпением,— сказал он.— Боюсь, из меня выйдет плохой брат. Но если бы вы только знали. Я чуть не лишился рассудка в последние дни. Будто снова пережил Южную Америку. Дьявол овладевает мной и...— Голос его дрогнул.

— Переложите же часть ваших страданий на мои плечи,— прошептала Джемма.

Он прижался лбом к ее руке.

— Тяжка десница господня!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Следующие пять недель Овод и Джемма прожили точно в каком-то вихре — столько было волнений и напряженной работы. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы подумать о своих личных делах. Оружие было благополучно переправлено контрабандным путем на территорию Папской области. Но оставалась невыполненной еще более трудная и опасная задача: из тайных складов в горных пещерах и ущельях нужно было незаметно доставить его в местные центры, а оттуда развезти по деревням. Вся область кишила сыщиками. Доминико, которому Овод поручил доставку оружия, прислал во Флоренцию гонца, требуя либо помощи, либо отсрочки.

Овод настаивал, чтобы все было кончено к середине июня, и Доминико приходил в отчаяние. Перевозка тяжелого груза по плохим дорогам была задачей нелегкой, тем более что все время приходилось остерегаться слежки и это вызывало бесконечные проволочки.

Я между Сциллой и Харибдой, — писал он. — Не смею торопиться из боязни, что меня выследят, и не могу затягивать доставку, так как надо поспеть к сроку. Либо немедленно пришлите мне дельного помощника, либо дайте знать венецианцам, что мы не будем готовы раньше первой недели июля.

Овод понес это письмо Джемме. Она углубилась в чтение, а он уселся на полу и, нахмурив брови, стал поглаживать Пашта против шерсти.

— Дело плохо,— сказала Джемма.— Вряд ли мы заставим венецианцев ждать три недели.

— Конечно, они не станут ждать. Что за нелепая мысль! Доминико не мешало бы понять это. Не венецианцы должны приспосабливаться к нам, а мы — к ним.

— Нельзя, однако, осуждать Доминико: он, очевидно, старается изо всех сил, но не может сделать невозможное.

— Да, вина тут, конечно, не его. Вся беда в том, что он там один, а не вдвоем. Один человек должен охранять склад, а другой — отправлять оружие. Доминико совершенно прав: ему необходим дельный помощник.

— Но кого же мы ему дадим? Из Флоренции нам некого послать.

— В таком случае я д-должен ехать сам.

Джемма откинулась на спинку стула и взглянула на Овода, чуть нахмурив брови.

— Нет, это не годится. Это слишком рискованно.

— Придется все-таки рискнуть, если н-нет иного выхода.

— Так надо найти этот иной выход — вот и все. Вам самому опять ехать туда нельзя, об этом нечего и думать.

У нижней губы Овода залегли упрямые складки:

— Н-не понимаю, почему?

— Вы поймете, если спокойно подумаете минутку. С времени вашего возвращения прошло только пять недель. Полиция уже кое-чего дозналась о старике паломнике и теперь рыщет в поисках его следов. Я знаю, как хорошо вы умеете менять свою внешность, но вспомните, скольким вы попались на глаза под видом Диего и под видом крестьянина. А вашей хромоты и шрама не скроешь.

— М-мало ли на свете хромых!

— Да, но в Романье не так уж много хромых со следом сабельного удара на щеке, с изуродованной левой рукой и с голубыми глазами при смуглой коже.

— Глаза в счет не идут: я могу изменить их цвет белладонной.

— А остальное?.. Нет, это невозможно! Отправиться туда сейчас при ваших приметах — это значит заведомо идти в ловушку. Вас немедленно схватят.

— Н-но кто-нибудь должен помочь Доминико!

— Хороша будет помощь, если вы попадетесь в такую критическую минуту! Ваш арест равносителен провалу всего дела.

Но Овода нелегко было убедить, и спор их затянулся надолго, не приведя ни к какому результату. Джемма только теперь начала понимать, каким неисчерпаемым запасом спокойного упорства обладает этот человек. Если бы речь шла о чём-нибудь менее важном для нее, она, пожалуй, и сдалась бы, чтобы не спорить с ним. Но в этом вопросе нельзя было уступать: ради практической выгоды, какую могла принести поездка Овода, рисковать, по ее мнению, не стоило. Она не могла не догадываться, что его желание съездить к Доминико вызвано не столько явной политической необходимостью, сколько болезненной страстью к риску. Ставить под угрозу свою жизнь, лезть без нужды в самые горячие места вошло у него в привычку. Он тянулся к опасности, как запойный к вину, и с этим надо было настойчиво, упорно бороться. Видя, что ее доводы не могут сломить его упрямую решимость, Джемма пустила в ход свой последний аргумент.

— Будем, во всяком случае, честны,— сказала она,— и назовем вещи своими именами. Не затруднения Доминико заставляют вас настаивать на этой поездке, а ваша любовь к...

— Это неправда! — горячо заговорил Овод.— Он для меня ничто. Я вовсе не стремлюсь снова увидеть его...— И замолчал, прочтя на ее лице, что выдал себя.

Их взгляды встретились, и они оба опустили глаза. Имя человека, который промелькнул у них в мыслях, осталось непроизнесенным.

— Я не... не Доминико хочу спасти,— пробормотал наконец Овод, зарываясь лицом в пушистую шерсть кота,— я... я понимаю, какая опасность угрожает всему делу, если никто не явится туда на подмогу.

Джемма не обратила внимание на эту жалкую увертку и продолжала, как будто ее и не прерывали:

— Нет, тут говорит ваша страсть ко всяческому риску. Когда у вас неспокойно на душе, вы тянетесь к опасности, точно к опиуму во время болезни.

— Я не просил тогда опиума! — вскипал Овод.— Они сами заставили меня принять его.

— Ну разумеется! Вы немного рисуетесь своей выдержанкой, и вдруг попросить лекарство — как же это можно! Но поставить жизнь на карту, чтобы хоть немного ослабить нервное напряжение,— это совсем другое дело! От этого ваша гордость не пострадает! А в конечном счете разница между тем и другим только условная.

Овод отвел голову кота назад и посмотрел в его круглые зеленые глаза.

— Как ты считаешь, Пашт, это верно? Права твоя злая хозяйка или нет? Значит, *теа culpa, теа т-такіта culpa?*¹ Ты, мудрец, наверно, никогда не просишь опиума. Твоих предков в Египте обожествляли. Там никто не осмеливался наступать им на хвост. А любопытно, удалось бы тебе сохранить свое величественное презрение ко всем земным невзгодам, если бы я взял горящую свечу и поднес ее к твоей л-лапке... Небось запросил бы опиума? А, Пашт? Опиума... или смерти? Нет, котик, мы не имеем права умирать только потому, что это кажется нам наилучшим выходом. Пофыркай, помяучь немножко, а л-лапку отнимать не смей!

— Довольно! — Джемма взяла у Овода кота и посадила его на табуретку.— Все эти вопросы мы с вами обсудим в другой раз, а сейчас надо подумать, как помочь Доминико... В чем дело, Кэтти? Кто-нибудь пришел? Я занята.

— Сударыня, мисс Райт прислала пакет с посыльным.

В тщательно запечатанном пакете было письмо со штемпелем Папской области, адресованное на имя мисс Райт, но не вскрытое. Старые школьные подруги Джеммы все еще жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко слали из осторожности по их адресу.

— Это условный знак Микеле,— сказала она, наскоро пробежав письмо, в котором сообщались летние условия одного пансиона в Апенинах, и указала на два пятнышка в углу страницы.— Он пишет симпатическими чернилами. Реактив в третьем ящике письменного стола... Да, это он.

Овод положил письмо на стол и провел по страницам тоненькой кисточкой. Когда на бумаге выступил ярко-

¹ Моя вина, моя большая вина (лат.).

синей строчкой настоящий текст письма, он откинулся на спинку стула и засмеялся.

— Что такое? — быстро спросила Джемма.

Он протянул письмо.

Доминико арестован. Приезжайте немедленно.

Она опустилась на стул, не выпуская письма из рук, и в отчаянии посмотрела на Овода.

— Ну что ж... — иронически протянул он, — теперь вам ясно, что я должен ехать?

— Да, ехать должны вы, — ответила она со вздохом. — И я тоже поеду.

Он поднял на нее глаза и вздрогнул:

— Вы тоже? Но...

— Разумеется. Нехорошо, конечно, что во Флоренции никого не останется, но теперь все это не важно; главное — иметь лишнего человека там, на месте.

— Да там их сколько угодно найдется!

— Только не таких, которым можно безусловно доверять. Вы сами сказали, что там нужны по крайней мере два надежных человека. Если Доминико не мог справиться один, то вы тоже не справитесь. Для вас, как для человека безнадежно скомпрометированного, конспиративная работа сопряжена с большими трудностями. Вам будет особенно нужен помощник. Вы рассчитывали работать с Доминико, а теперь вместо него буду я.

Овод насупил брови и задумался.

— Да, вы правы, — сказал он наконец, — и чем скорее мы туда отправимся, тем лучше. Но нам нельзя выезжать вместе. Если я уеду сегодня вечером, то вы могли бы, пожалуй, выехать завтра после обеда, с почтовой каретой.

— Куда же мне направиться?

— Это надо обсудить. Мне лучше всего проехать прямо в Фаэнцу. Я выеду сегодня вечером в Борго Сан-Лоренцо, там переоденусь и немедленно двинусь дальше.

— Ничего другого, пожалуй, не придумаешь, — сказала Джемма, озабоченно хмурясь. — Но все это очень рискованно — стремительный отъезд в Борго в надежде на контрабандистов. Вам следовало бы иметь три пол-

ных дня, чтобы доехать до границы, успев запутать свои следы.

— Этого как раз нечего бояться,— с улыбкой ответил Овод.— Меня могут арестовать дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в Апеннинах меня не выдаст. А вот как вы переберетесь через границу, я не совсем себе представляю.

— Ну, это дело не трудное! Я возьму у Луизы Райт ее паспорт и поеду отдыхать в горы. Меня в Романье никто не знает, а вас — каждый сыщик.

— И каждый к-контрабандист. К счастью.

Джемма посмотрела на часы:

— Половина третьего. В нашем распоряжении целый день и вечер, если вы хотите выехать сегодня.

— Тогда я сейчас же пойду домой, приготовлюсь и добуду хорошую лошадь. Поеду в Сан-Лоренцо верхом. Так будет безопаснее.

— Нанимать лошадь совсем не безопасно. Ее владелец...

— Я не стану нанимать. Мне ее даст один человек, которому можно довериться. Он и раньше оказывал мне услуги. А через две недели кто-нибудь из пастухов приведет ее обратно... Так я вернусь сюда часов в пять или в половине шестого. А вы за это время разыщите М-Мартини и объясните ему все.

— Мартини? — Джемма изумленно взглянула на него.

— Да. Нам придется посвятить его в наши дела. Если только вы не предложите кого-нибудь другого.

— Я не совсем понимаю — зачем.

— Нам нужно иметь здесь человека на случай каких-нибудь непредвиденных затруднений. А из всей здешней компании я больше всего доверяю Мартини. Риккардо тоже, конечно, сделал бы для нас все, что от него зависит, но Мартини надежнее. Вы, впрочем, знаете его лучше, чем я... Решайте.

— Я ничуть не сомневаюсь в том, что Мартини — человек подходящий и надежный. И я думаю, он согласится помочь нам. Но...

Он понял сразу:

— Джемма, представьте себе, что ваш товарищ не обращается к вам за помощью в крайней нужде только

потому, что боится обидеть или огорчить вас. Хорошо ли это по отношению к нему?

— Ну что ж,— сказала она после короткой паузы,— я сейчас же пошлю за ним Кэтти. А сама схожу к Луизе за паспортом. Она обещала дать мне его по первой моей просьбе... А как с деньгами? Не взять ли мне в банке?

— Нет, не теряйте на это времени. Я сниму со своего счета, и нам хватит на первое время. Значит, увидимся в половине шестого. Вы к тому времени вернетесь?

— Да, конечно. Я вернусь гораздо раньше.

Задержавшись на полчаса, Овод пришел в шесть и застал Джемму и Мартини на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжелый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих. Мартини был необычно молчалив и мрачен.

— Ну как, все готово? — спросила Джемма.

— Да. Вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понте-Росо в час ночи.

— Не слишком ли это поздно? Ведь вам надо попасть в Сан-Лоренцо, прежде чем город проснется.

— Я успею. Лошадь хорошая, и мне не хочется, чтобы кто-нибудь заметил мой отъезд. К себе я больше не вернусь. Там дежурит шпик: думает, что я дома.

— Как же вам удалось уйти незамеченным?

— Я вылез из кухонного окна в огород; а потом перелез через стену в фруктовый сад к соседям. Потому-то я так и запоздал. Нужно было как-нибудь ускользнуть от него. Хозяин лошади весь вечер будет сидеть в моем кабинете с зажженной лампой. Шпик увидит свет в окне и тень на шторе и будет уверен, что я дома и пишу.

— Вы, стало быть, останетесь здесь, пока не наступит время идти к заставе?

— Да. Я не хочу, чтобы меня видели на улице... Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что сеньора Болла позволяет курить.

— Мне все равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кэтти приготовить обед.

Когда Джемма ушла, Мартини встал и принялся шагать по террасе, заложив руки за спину. Овод молча курил и смотрел, как за окном моросит дождь.

— Риварес! — сказал Мартини, остановившись прямо перед Оводом, но опустив глаза.— Во что вы хотите втянуть ее?

Овод вынул изо рта сигару и пустил облако дыма.

— Она сама за себя решала,— ответил он.— Ее никто ни к чему не принуждал.

— Да, да, я знаю. Но скажите мне...

Он замолчал.

— Я скажу все, что могу.

— Я мало что знаю насчет ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьезная опасность?

— Вы хотите знать правду?

— Разумеется.

— Да, будет.

Мартини отвернулся и зашагал из угла в угол. Потом опять остановился:

— Еще один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если захотите ответить, то отвечайте честно: вы любите ее?

Овод не спеша стряхнул пепел и продолжал молча курить.

— Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос?

— Нет, хочу, но я имею право знать, почему вы об этом спрашиваете?

— Господи боже мой! Да неужели вы сами не понимаете почему?

— А, вот что! — Овод отложил сигару в сторону и пристально посмотрел в глаза Мартини.— Да,— сказал он наконец тихо и мягко,— я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Меня ждет...

Последние слова он произнес чуть слышным шепотом. Мартини подошел ближе.

— Что ждет?..

— Смерть.

Овод смотрел прямо перед собой холодным, остановившимся взглядом, как будто был уже мертв. И когда он снова заговорил, голос его звучал безжизненно и ровно.

— Не тревожьте ее раньше времени,— сказал он.— Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как и я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь ее от ареста. Они — славный народ, хотя малость и грубоваты.

А моя шея давно уже в петле, и, перейдя границу, я только затяну веревку.

— Риварес! Что вы говорите? Я, конечно, понимаю, дело предстоит опасное — особенно для вас. Но вы так часто пересекали границу, и до сих пор все сходило благополучно.

— Да, а на сей раз я попадусь.

— Но почему? Откуда вы это взяли?

Овод грустно усмехнулся:

— Помните немецкую легенду о человеке, который умер, встретившись со своим двойником?.. Нет? Двойник явился ему ночью, в пустынном месте... Он ломал руки в отчаянии. Так вот, я тоже встретил своего двойника в прошлую поездку в Апеннины, и теперь, если я перейду границу, мне назад не вернуться.

Мартини подошел к нему и положил руку на спинку его кресла:

— Слушайте, Риварес, я отказываюсь понимать эту метафизическую галиматью, но мне ясно одно: с такими предчувствиями ехать нельзя. Самый верный способ попасться — это убедить себя в провале заранее. Вы, наверно, больны или чем-то расстроены, если у вас голова забита такими бреднями. Давайте я поеду, а вы оставайтесь. Все будет сделано как надо, только дайте мне письмо к вашим друзьям с объяснением...

— Чтобы вас убили вместо меня? То-то было бы умно!

— Не убют! Меня там не знают, не то что вас! Да если даже убьют...

Он замолчал, и Овод посмотрел на него долгим, вопрошающим взглядом. Мартини уронил руку вдоль тела.

— Ей будет гораздо тяжелее потерять вас, чем меня,— сказал он своим самым обычным тоном.— А кроме того, Риварес, это дело общественного значения, и подход к нему должен быть только один: как его выполнить, чтобы принести наибольшую пользу наибольшему количеству людей. Ваш «коэффициент полезности», как выражаются экономисты, выше моего. У меня хватает соображения понять это, хотя я не особенно благоволю к вам. Вы большая величина, чем я. Лучше ли вы, чем я, не знаю, но вы значительнее как личность, и ваша смерть будет более ощутимой потерей.

Все это Мартини проговорил так, будто речь у них шла о котировке биржевых акций. Овод посмотрел на него и зябко повел плечами.

— Вы хотите, чтобы я ждал, когда могила сама поглотит меня?

Уж если суждено мне умереть,
Смерть, как невесту, встречу я!

Слушайте, Мартини, какую мы с вами несем чепуху!

— Вы-то несомненно несете чепуху,— угрюмо пробормотал Мартини.

— И вы тоже. Так не будем увлекаться романтическим самопожертвованием на манер дона Карлоса и маркиза Позы. Мы живем в девятнадцатом веке, и, если мне положено умереть, я умру.

— А если мне положено уцелеть, я, наверно, уцелею! Вам везет, Риварес!

— Да,— коротко подтвердил Овод.— Мне всегда везло.

Они молча докурили свои сигары, потом принялись обсуждать детали предстоящей поездки. Когда Джемма пришла, они и виду не подали, насколько необычна была их беседа. Пообедав, все трое приступили к деловому разговору. Когда пробило одиннадцать, Мартини встал и взялся за шляпу.

— Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Риварес. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме. Хочу, кстати, сделать небольшую разведку до отъезда: надо посмотреть, нет ли около дома шпиков.

— Вы проводите меня до заставы?

— Да. Две пары глаз вернее одной на тот случай, если за вами будут следить. К двенадцати я вернусь. Смотрите же, не уходите без меня... Я возьму ключ, Джемма, чтобы никого не беспокоить звонком.

Она внимательно посмотрела на него и поняла, что он нарочно подыскал предлог, чтобы оставить ее наедине с Оводом.

— Мы с вами поговорим завтра,— сказала она.— Утром, когда я покончу со сборами.

— Да, времени будет вдоволь... Хотел еще задать вам два-три вопроса, Риварес, да, впрочем, потолку-

ем по дороге к заставе... Джемма, отошлите Кэтти спать и говорите оба по возможности тише. Итак, до двенадцати.

Он слегка кивнул им и, с улыбкой выйдя из комнаты, громко хлопнул наружной дверью: пусть соседи знают, что гость синьоры Болла ушел.

Джемма пошла на кухню пожелать Кэтти спокойной ночи и вернулась, держа в руках поднос с чашкой черного кофе.

— Не хотите ли прилечь немного? — спросила она.— Ведь вам не придется спать эту ночь.

— Нет, что вы! Я посплю в Сан-Лоренцо, пока мне будут доставать костюм и грим.

— Ну, так выпейте кофе... Подождите, я подам печенье.

Она стала на колени перед буфетом, а Овод подошел и вдруг наклонился к ней:

— Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский ирис! Да ведь это п-пища богов!

Джемма подняла глаза и улыбнулась его восторгу.

— Вы тоже сластена? Я всегда держу эти конфеты для Чезаре. Он радуется, как ребенок, всяким лакомствам.

— В с-самом деле? Ну, так вы ему з-завтра купите другие, а эти дайте мне с собой. С вашего разрешения я п-положу ириски в карман, и они утешат меня за все потерянные радости жизни. Н-надеюсь, мне будет дозволено пососать ириску, когда меня поведут на виселицу.

— Подождите, я найду какую-нибудь коробочку — они такие липкие. А шоколадных тоже положить?

— Нет, эти я буду есть теперь, с вами.

— Я не люблю шоколада. Ну, садитесь и перестаньте дурачиться. Весьма вероятно, что нам не представится случая толком поговорить, перед тем как один из нас будет убит и...

— Она н-не любит шоколада,—тихо пробормотал Овод.—Придется обедаться в одиночку. Последняя трапеза накануне казни, не так ли? Сегодня вы должны исполнять все мои прихоти. Прежде всего я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло, а так как мне разрешено прилечь, то я устроюсь вот здесь. Так будет удобнее.

Он растянулся на ковре у ног Джеммы и, облокотившись о кресло, посмотрел ей в лицо.

— Какая вы бледная! Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и не любите шоколада.

— Да побудьте же серьезны хоть пять минут! Ведь дело идет о жизни и смерти.

— Даже и две минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того.

Он завладел обеими ее руками и поглаживал их кончиками пальцев.

— Не смотрите же так сурово, Минерва. Еще минута, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись, у вас такая восхитительно добрая улыбка... Ну-ну, не бранитесь, дорогая! Давайте есть печенье, как двое примерных деток, и не будем ссориться — ведь завтра придет смерть.

Он взял с тарелки печенье и разделил его на две равные части, стараясь, чтобы глазурь разломилась как раз посередине.

— Пусть это будет для нас причастием, которое получают в церкви благонамеренные люди. «Примите, ядите; сие есть тело мое». И мы должны в выпить вина из одного стакана... Да, да, вот так. «Сие творите в мое воспоминание...»

Джемма поставила стакан на стол.

— Перестаньте! — сказала она срывающимся голосом.

Овод взглянул на нее и снова взял ее руки в свои.

— Ну, полно. Давайте помолчим. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты. Забудем шумный мир, который так назойливо жужжит нам в уши, пойдем рука об руку в таинственные чертоги смерти и опустимся там на ложе, усыпанное дремотными маками. Молчите! Не надо говорить.

Он положил голову к ней на колени и закрыл рукой лицо. Джемма молча провела ладонью по его темным волосам. Время шло, а они сидели, не двигаясь, не говоря ни слова.

— Друг мой, скоро двенадцать, — сказала наконец Джемма. Овод поднял голову. — Нам осталось лишь несколько минут. Мартини сейчас вернется. Быть может,

мы никогда больше не увидимся. Неужели вам нечего сказать мне?

Овод медленно встал и отошел в другой конец комнаты. С минуту оба молчали.

— Я скажу вам только одно,— еле слышно проговорил он,— признаюсь вам...

Он замолчал и, сев у окна, закрыл лицо руками.

— Наконец-то вы решили сжалиться надо мной,— прошептала Джемма.

— Меня жизнь тоже никогда не жалела. Я... я думал сначала, что вам... все равно.

— Теперь вы этого не думаете.

Не дождавшись его ответа, Джемма подошла и стала рядом с ним.

— Скажите мне наконец правду! — прошептала она.— Ведь если вас убют, а меня — нет, я до конца дней своих так и не узнаю... так и не уверюсь, что...

Он взял ее руки и крепко сжал их:

— Если меня убют... Видите ли, когда я уезжал в Южную Америку... Ах, вот и Мартини!

Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик.

— Пунктуальны, как всегда,— м-минута в минуту! Вы ж-живой хронометр, Мартини. Это и есть ваш д-дорожный плащ?

— Да, тут кое-какие вещи. Я старался донести их сухими, но дождь льет как из ведра. Скверно вам будет ехать.

— Вздор! Ну, как на улице — все спокойно?

— Да. Шпики, должно быть, ушли спать. Оно и не удивительно в такую скверную погоду... Это кофе, Джемма? Риваресу следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем выходить на дождь, не то простуда обеспечена.

— Это черный кофе. Очень крепкий. Я пойду вскипячу молоко.

Джемма пошла на кухню, крепко стиснув зубы, сжав руки, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, Овод был уже в плаще и застегивал кожаные гетры, принесенные Мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял в руки широкополую дорожную шляпу.

— Пожалуй, пора отправляться, Мартини. На всякий случай пойдем к заставе кружным путем... Пока, синьо-

ра, до свидания. Я встречу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку, в-вот вам адрес.

Овод вырвал листок из записной книжки и написал на нем несколько слов карандашом.

— У меня он уже есть,— ответила Джемма безжизненным ровным голосом.

— Разве? Ну, в-все равно, возьмите на всякий случай... Идем, Мартини. Тише! Чтобы дверь даже не скрипнула.

Они осторожно сошли вниз. Когда наружная дверь затворилась за ними, Джемма вернулась в комнату и машинально развернула бумажку, которую дал ей Овод. Под адресом было написано:

Я скажу все там.

ГЛАВА II

В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне — кто с домашней птицей и свиньями, кто с молоком, с маслом, кто с гуртами полудикого горного скота. Люди двигались взад и вперед по площади, смеясь, отпуская шутки, торгуясь с продавцами дешевых пряников, винных ягод и семечек. Загорелые босоногие мальчишки валялись на мостовой под горячими лучами солнца, а матери их сидели под деревьями с корзинами яиц и масла.

Монсеньер Монтанелли вышел на площадь поздороваться с народом. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивающих ему пучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных по горным склонам. На любовь кардинала к цветам смотрели снисходительно, как на одну из слабостей, которые к лицу мудрым людям. Если бы кто-нибудь другой на его месте наполнял свой дом травами и растениями, над ним бы, наверно, смеялись, но «благословенный кардинал» мог позволить себе такие невинные причуды.

— А, Мариучча! — сказал он, останавливаясь около маленькой девочки и гладя ее по голове.— Как ты выросла! А бабушка все мучается ревматизмом?

— Бабушке лучше, ваше преосвященство, а вот мама у нас заболела.

— Бедная! Пусть зайдет к доктору Джордано, он ее посмотрит, а я поищу ей какое-нибудь место здесь,— может быть, она и поправится... Ты выглядишь лучше, Луиджи! Как твои глаза?

Монтанелли проходил по площади, разговаривая с горцами. Он помнил имена и возраст их детей, все их невзгоды и беды, заботливо справлялся о корове, заболевшей на рождество, о тряпичной кукле, попавшей под колесо в прошлый базарный день.

Когда он вернулся в свой дворец, торговля на базаре шла полным ходом. Хромой человек в синей блузе, со шрамом на левой щеке и шапкой черных волос, свисавших ему на глаза, подошел к одному из ларьков и, коверкая слова, спросил лимонаду.

— Вы, видно, нездешний? — поинтересовалась женщина, наливая ему лимонад.

— Нездешний. С Корсики.

— Работу ищете?

— Да. Скоро сенокос. Один господин — у него под Равенной своя ферма — приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около Равенны работы много.

— Надо думать, пристроитесь; только времена теперь тяжелые.

— А на Корсике, матушка, и того хуже. Что с нами, бедняками, будет, прямо не знаю...

— Вы один оттуда приехали?

— Нет, с товарищем. Вон с тем, что в красной рубашке... Эй, Паоло!

Услыхав, что его зовут, Микеле заложил руки в карманы и ленивой походкой направился к ларьку. Он вполне мог сойти за корсиканца, несмотря на рыжий парик, который делал его неузнаваемым. Что же касается Овода, то он был само совершенство.

Они медленно шли по базарной площади. Микеле негромко насвистывал. Овод, сгибаясь под тяжестью мешка, лежавшего у него на плече, волочил ноги, чтобы сделать менее заметной свою хромоту. Они ждали товарища, которому должны были передать важные сведения,

— Вон Марконе верхом, у того угла,— вдруг прошелтал Микеле.

Овод с мешком на плече потащился по направлению к всаднику.

— Не надо ли вам косаря, синьор? — спросил он, приложив руку к изорванному картузу, и тронул одним пальцем поводья. Это был условный знак. Всадник, которого можно было по виду принять за управляющего имением, сошел с лошади и бросил поводья ей на шею.

— А что ты умеешь делать?

Овод мял в руках картуз.

— Косить траву, синьор, подрезать живую изгородь... — И он продолжил, не меняя голоса: — В час ночи у входа в круглую пещеру. Понадобятся две хорошие лошади и повозка. Я буду ждать в той пещере... И копать умею... и...

— Ну что ж, хорошо. Косарь мне и нужен. Тебе эта работа знакома?

— Знакома, синьор... Имейте в виду, надо вооружиться. Мы можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопасней. Если встретите сыщика, не тратьте времени на пустые разговоры — стреляйте сразу... Уж так я рад стать на работу, синьор...

— Ну еще бы! Только мне нужен хороший косарь... Нет у меня сегодня мелочи, старина.

Оборванный нищий подошел к ним и затянул жалобным, монотонным голосом:

— Во имя пресвятой девы, сжалитесь над несчастным слепцом... Уходите немедленно, едет конный отряд... Пресвятая царица небесная, непорочная дева... Ищут вас, Риварес... через две минуты будут здесь... Да наградят вас святые угодники... Придется действовать напролом, сыщики шныряют всюду. Незамеченными все равно не уйдете.

Марконе сунул Оводу поводья.

— Скорей! Выезжайте на мост, лошадь бросьте, а сами спрячьтесь в овраге. Мы все вооружены, задержим их минут на десять.

— Нет. Я не хочу подводить вас. Не разбегайтесь и стреляйте вслед за мной. Двигайтесь по направлению к лошадям — они привязаны у дворцового подъезда — и держите наготове ножи. Будем отступать с боем, а когда я брошу картуз наземь, режьте недоуздки — и по седлам. Может быть, доберемся до леса...

Разговор велся вполголоса и так спокойно, что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идет о чем-то более опасном, чем сенокос. Марконе взял свою кобылу под уздцы и повел ее к коновязи. Овод плелся рядом, а нищий шел за ним с протянутой рукой и не переставал жалобно причитать. Микеле, посвистывая, правнялся с ними. Нищий успел сказать ему все, а он, в свою очередь, предупредил троих крестьян, евших под деревом сырой лук. Те сейчас же поднялись и пошли за ним. Таким образом, все семеро, не привлекая к себе внимания, стали теперь у ступенек дворца. Каждый придерживал одной рукой спрятанный за пазухой пистолет. Лошади, привязанные у подъезда, были в двух шагах от них.

— Не выдавайте себя, прежде чем я подам сигнала,— сказал Овод тихим, внятным голосом.— Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей — лошадям в ноги: тогда нас не смогут преследовать. Тroe пусть стреляют, трое перезаряжают пистолеты. Если кто-нибудь станет между нами и лошадьми — убивайте. Я беру себе чалую. Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск и не останавливайтесь ни в коем случае.

— Едут,— сказал Микеле.

Продавцы и покупатели вдруг прекратили торговлю, и Овод обернулся; на лице его было написано простодушное удивление.

Пятнадцать вооруженных всадников медленно выехали на базарную площадь. Они с трудом прокладывали себе дорогу в толпе, и если бы не сыщики, расположенные на всех углах, все семеро заговорщиков могли бы спокойно скрыться, пока толпа глазела на солдат. Микеле придинулся к Оводу:

— Не пора ли нам уходить?

— Невозможно. Мы окружены сыщиками, один из них уже узнал меня. Вон он послал сказать об этом капитану. Единственный выход — стрелять по лошадям.

— Где этот сынок?

— Я буду стрелять в него первого. Все готовы? Они уже двинулись к нам. Сейчас кинутся.

— Прочь с дороги! — крикнул капитан.— Именем его святейшества!

Толпа метнулась назад, испуганная и удивленная, и солдаты ринулись на небольшую группу людей, стоявшую у дворцового подъезда. Овод вытащил из-под блузы пистолет и выстрелил, но не в приближающийся отряд, а в сыщика, который подбирался к лошадям. Тот упал с раздробленной ключицей. Почти в ту же секунду раздались один за другим еще шесть выстрелов, и заговорщики начали двигаться к условленному месту.

Одна из кавалерийских лошадей споткнулась и шарахнулась в сторону. Другая упала, громко заржав. В толпе, охваченной паникой, послышались крики, но они не могли заглушить властный голос офицера, командующего отрядом. Он поднялся на стременах и взмахнул саблей:

— Сюда! За мной!

И вдруг закачался в седле и упал навзничь. Овод снова выстрелил и не промахнулся. По мундиру капитана ручейком полилась кровь, но яростным усилием воли он выпрямился, цепляясь за гриву коня, и злобно крикнул:

— Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым. Это Риварес!

— Дайте пистолет, скорей! — крикнул Овод товарищам. — И бегите!

Он швырнул наземь картуз. И вовремя: сабли разъяренных солдат сверкнули над самой его головой.

— Бросьте оружие! Все бросьте!

Между сражающимися вдруг выросла фигура кардинала Монтанелли. Один из солдат в ужасе крикнул:

— Ваше преосвященство! Боже мой, вас убьют!

Но Монтанелли лишь сделал еще шаг вперед и стал перед дулом пистолета Овода.

Пятеро заговорщиков уже были на конях и мчались вверх по крутой улице. Марконе только успел вскочить в седло. Но прежде чем ускакать, он обернулся: не нужно ли помочь их предводителю? Чалая стояла близко. Еще миг — и все семеро были бы спасены. Но как только фигура в пунцововой кардинальской сутане выступила вперед, Овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все: Овода окружили и сшибли с ног; один из солдат ударом саб-

ли выбил пистолет у него из руки. Марконе дал шпоры. Кавалерийские лошади цокали подковами в двух шагах от него. Задерживаться было бессмысленно — могут тоже схватить. Повернувшись в седле на всем скаку и послав последний выстрел в ближайшего преследователя, Марконе увидел Овода. Лицо его было залито кровью. Лошади, солдаты и сыщики топтали его ногами. Марконе услышал яростную брань и торжествующие возгласы поимщиков.

Монтанелли не видел, что произошло. Он отошел от ступенек и пытался успокоить объятых страхом людей, потом наклонился над раненым сыщиком, но тут толпа испуганно вскользнула, и это заставило его поднять голову. Солдаты пересекали площадь, волоча своего плениника за веревку, которой он был связан по рукам. Лицо его посерело от изнеможения и боли, дыхание со страшным хрипом вырывалось из груди, и все же он обернулся в сторону кардинала и, улыбнувшись побелевшими губами, прошептал:

— П-поздравляю, ваше преосвященство!..

Пять дней спустя Мартини приехал в Форли. Джемма прислала ему по почте пачку печатных объявлений — условный знак, означающий, что события требуют его присутствия. Мартини вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину. Всю дорогу он не переставал твердить себе: нет основания бояться, что с Оводом что-то случилось. Разве можно придавать значение ребяческим фантазиям такого неуравновешенного человека? Но чем больше он убеждал себя в этом, тем тверже становилась его уверенность, что несчастье случилось именно с Оводом.

— Я догадываюсь, что произошло. Ривареса задержали? — сказал он, входя к Джемме.

— Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. При аресте отчаянно защищался и ранил начальника отряда и сыщика.

— Вооруженное сопротивление. Дело плохо!

— Это несущественно. Он был так серьезно скомпрометирован, что лишний выстрел вряд ли что-нибудь изменит.

Что же с ним сделают?

Бледное лицо Джеммы стало еще бледнее.

— Вряд ли нам надо ждать, пока мы это узнаем,— сказала она.

— Вы думаете, что нам удастся освободить его?

— Мы должны это сделать.

Мартини отвернулся и стал насвистывать, заложив руки за спину. Джемма не мешала ему думать. Она сидела, запрокинув голову на спинку стула и глядя в пустоту с отрешенным, трагическим выражением лица. В ее лице было что-то напоминающее «Меланхолию» Дюрера.

— Вы успели повидаться с ним? — спросил Мартини, останавливаясь перед ней.

— Нет, мы должны были встретиться здесь на следующее утро.

— Да, помню. Где он сейчас?

— В крепости, под усиленной охраной и, говорят, в кандалах.

Мартини пожал плечами:

— На всякие кандалы можно найти хороший напильник, если только Овод не ранен...

— Кажется, ранен, но, насколько серьезно, мы не знаем... Да вот послушайте лучше Микеле: он был при аресте.

— Каким же образом уцелел Микеле? Неужели он убежал и оставил Ривареса на произвол судьбы?

— Это не его вина. Он отстреливался вместе с остальными и исполнил в точности все распоряжения. Никто ни в чем не отступал от них. Единственный, кто как будто вдруг забыл, что надо делать, или допустил в последнюю минуту какую-то ошибку, был Риварес. Это просто необъяснимо... Подождите, я сейчас позову Микеле.

Джемма вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микеле и с широкоплечим горцем.

— Это Марконе, один из наших контрабандистов,— сказала она.— Вы слышали о нем. Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микеле... Микеле, это Чезаре Мартини, о котором я вам говорила. Расскажите ему сами обо всем, что произошло на ваших глазах.

Микеле рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и отрядом.

— Я до сих пор не могу понять, как все это случилось,— добавил он под конец.— Никто бы из нас не уехал, если бы мы могли подумать, что его схватят. Но распоряжения были даны совершенно точные, и нам в голову не пришло, что, бросив картуз наземь, Риварес останется на месте и позволит солдатам окружить себя. Он был уже рядом со своим конем, перерезал недоуздок у меня на глазах, и я собственноручно подал ему заряженный пистолет, прежде чем вскочить в седло. Должно быть, хромота ему помешала — вот единственное, что я могу предположить. Но ведь в таком случае можно было бы выстрелить...

— Нет, дело не в этом,— перебил его Марконе.— Он и не пытался вскочить в седло. Я отъехал последним, потому что моя кобыла испугалась выстрелов и шарахнулась в сторону, но все-таки успел оглянуться. Он отлично мог бы уйти, если бы не кардинал.

— А! — негромко вырвалось у Джеммы.

Мартини повторил в изумлении:

— Кардинал?

— Да он, черт его побери, кинулся прямо под дуло пистолета! Риварес, вероятно, испугался, правую руку опустил, а левую поднял... вот так.— Марконе закрыл левой рукой глаза.— Тут-то они на него и набросились.

— Ничего не понимаю,— сказал Микеле.— Совсем не похоже на Ривареса — терять голову в минуту опасности.

— Может быть, он опустил пистолет из боязни убить безоружного,— сказал Мартини.

Микеле пожал плечами:

— Безоружным незачем совать нос туда, где дерутся. Война есть война. Если бы Риварес угостил пулей его преосвященство, вместо того чтобы дать себя поймать, как ручного кролика, на свете было бы одним честным человеком больше и одним попом меньше.

Он отвернулся, закусив усы. Еще минута — и гнев его прорвался бы слезами.

— Как бы там ни было,— сказал Мартини,— дело кончено, и обсуждать, почему так все случилось,— значит терять даром время. Теперь перед нами стоит воп-

рос, как организовать побег. Полагаю, что все согласны взяться за это?

Микеле не счел нужным даже ответить на лишний вопрос, а контрабандист сказал с усмешкой:

— Я убил бы родного брата, если бы он не согласился.

— Ну что ж! Тогда приступим к делу. Прежде всего, есть у вас план крепости?

Джемма отперла ящик стола и достала оттуда несколько листов бумаги:

— Все планы я приготовила. Вот первый этаж крепости. А это нижний и верхние этажи башен. Вот план укреплений. Тут дороги, ведущие в долину, а это тропинки и тайные убежища в горах и подземные ходы.

— А вы знаете, в какой он башне?

— В восточной. В круглой камере с решетчатым окном. Я отметила ее на плане.

— Откуда вы получили эти сведения?

— От солдата крепостной стражи, по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джино, одного из наших.

— Скоро вы со всем этим справились!

— Да, времени было в обрез. Джино сразу пошел в Бризигеллу, а кое-какие планы были у нас раньше. Список тайных убежищ в горах составлен самим Риваресом: видите — его почерк.

— Что за люди в охране?

— Этого мы еще не выяснили. Сверчок здесь не так давно и не знает других солдат.

— Нужно еще расспросить Джино, что за человек этот Сверчок. А решено, где будут проводить суд: в Бризигелле или в Равенне?

— Пока не знаем. Равенна, конечно, — главный город легатства, и, по закону, важные дела должны разбираться только там, в трибунале. Но в Папской области с законом не особенно считаются. Все зависит от приходи того, кто в данную минуту стоит у власти.

— В Равенну Ривареса не повезут, — сказал Микеле.

— Почему вы так думаете?

— Я в этом уверен. Полковник Феррари, командир гарнизона в Бризигелле, — дядя офицера, которого ранил Риварес. Это лютый зверь, он не упустит случая отомстить врагу.

— Вы думаете, он постараётся задержать Ривареса в Бризигелле?

— Я думаю, что он постараётся повесить его.

Мартини быстро взглянул на Джемму. Она была очень бледна, но ее лицо не изменилось при этих словах. Очевидно, эта мысль была не нова для нее.

— Нельзя, однако, обойтись без необходимых формальностей,— спокойно сказала она.— Полковник, вероятно, под каким-нибудь предлогом добьется военного суда на месте, а потом будет оправдываться, что это было сделано ради сохранения спокойствия в городе.

— Ну, а кардинал? Неужели он согласится на такое беззаконие?

— Военные дела ему не подведомственны.

— Но он пользуется огромным влиянием. Полковник, конечно, не отважится на такой шаг без его согласия.

— Ну, согласия-то он никогда не добьется,— вставил Марконе.— Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Ривареса держат в Бризигелле, ничего плохого еще не случится — кардинал защитит любого арестованного. Больше всего я боюсь, как бы Ривареса не перевезли в Равенну. Там ему наверняка конец.

— Этого нельзя допустить,— сказал Микеле.— Побег можно устроить в дороге. Ну, а выкрасть его из здешней крепости будет потруднее.

— По-моему, бессмысленно ждать, когда Ривареса повезут в Равенну,— сказала Джемма.— Мы должны попытаться освободить его в Бризигелле, и времени терять нельзя. Чезаре, давайте займемся планом крепости, может, что-нибудь и придумаем. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить ее до конца.

— Идем, Марконе,— сказал Микеле, вставая,— пусть думают. Мне нужно сходить сегодня в Фоньяно, и я хочу, чтобы ты пошел со мной. Винченце не прислал нам патронов, а они должны были быть здесь еще вчера.

Когда они оба ушли, Мартини подошел к Джемме и молча протянул ей руку. Она на миг задержала в ней свои пальцы.

— Вы всегда были моим добрым другом, Чезаре,— сказала Джемма,— и всегда помогали мне в тяжелые минуты. А теперь давайте поговорим о деле.

ГЛАВА III

— А я, ваше преосвященство, еще раз самым серьезным образом заверяю вас, что ваш отказ угрожает спокойствию города.

Полковник старался сохранить почтительный тон, полагающийся в разговоре с высшим сановником церкви, но в голосе его явно слышалось раздражение. Печень у полковника была не в порядке, жена разоряла его непомерными счетами, и за последние три недели его выдержка подвергалась жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное, недовольство зрело с каждым днем. По всей области возникали заговоры, всюду прятали оружие. Гарнизон Бризигеллы был слаб, а верность его более чем сомнительна. И ко всему этому кардинал, которого в разговоре с адъютантом полковник назвал как-то «воплощением ослиного упрямства», доводил его почти до отчаяния. А теперь ему приходится иметь дело с Оводом — этим поистине воплощением зла.

Ранив любимого племянника полковника Феррари и его самого лучшего сыщика, этот «хромой испанский дьявол» следом за своими проделками на рыночной площади точно подкупил всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом. Вот уже три недели, как он сидит в крепости, и власти Бризигеллы не знают, что делать с этим сокровищем. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, какие только могли изобрести, и все-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Теперь уже начинают думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Однако исправлять ошибку поздно. Посылая легату доклад об аресте, полковник просил у него, как особой любезности, разрешения лично вести следствие и, получив на свою просьбу милостивое согласие, уже не мог отказаться от этого без унизительного признания, что противник оказался сильнее его.

Как и предвидели Джемма и Микеле, полковник решил добиться военного суда и таким путем выйти из затруднения. Упорный отказ кардинала Монтанелли согла-

ситься на этот план был последней каплей, переполнившей чашу терпения полковника.

— Ваше преосвященство,— сказал он,— если бы вы знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести из-за этого человека, вы иначе отнеслись бы к делу. Я полностью отдаю себе отчет в том, что можно возражать против нарушения юридической процедуры, и уважаю ваши соображения, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер.

— Несправедливость,— возразил Монтанелли,— не может быть оправдана никаким исключительным случаем. Судить штатского человека тайным военным судом несправедливо и незаконно.

— Дело обстоит так, ваше преосвященство: заключенный явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в мятеже Савиньо, и военно-полевой суд, назначенный монсеньором Спинолой, несомненно, приговорил бы его к смертной казни или к каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор Риварес не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловредных тайных обществ. Имеются большие основания подозревать, что с его согласия, если не по прямому его наущению, убиты по меньшей мере три агента тайной полиции. Он был почти пойман на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Кроме того, оказал вооруженное сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. А теперь он — постоянная угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого, безусловно, достаточно, чтобы предать его военному суду.

— Что бы этот человек ни сделал,— ответил Монтанелли,— он имеет право быть судимым по закону.

— На обычную процедуру потребуется много времени, ваше преосвященство, а нам дорога каждая минута. Притом же я в постоянном страхе, что он убежит.

— Если действительно грозит такая опасность, тогда ваше дело усилить надзор.

— Я делаю все, что могу, ваше преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а этот человек точно околдовал всю стражу. В течение трех недель мы четыре раза сменили всех приставлен-

ных к нему людей, налагали взыскания на солдат, но толку никакого. Я даже не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы на них. Идиоты влюблены в него, как в женщину.

— Это очень интересно. Должно быть, он необыкновенный человек.

— Он необыкновенно хитрый дьявол. Простите, ваше преосвященство, но, право же, Риварес способен вывести из терпения даже святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести все допросы, потому что офицер, на котором лежала эта обязанность, не мог выдержать...

— То есть как?..

— Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли меня, если бы увидели хоть раз, как Риварес держится на допросе. Можно подумать, что офицер, ведущий допрос, преступник, а он — судья.

— Но что особенно страшного он может сделать? Отказаться отвечать на ваши вопросы? Так ведь у него нет другого оружия, кроме молчания.

— Да еще языка, острого, как бритва. Все мы люди, ваше преосвященство, кто из нас не совершал ошибок! И никому, конечно, не хочется, чтобы о них везде кричали. Такова человеческая натура. И тут вдруг выкапывают грехи, содеянные вами лет двадцать назад, и бросают их вам в лицо.

— Разве Риварес разоблачил какую-нибудь тайну офицера, который вел допрос?

— Да... видите ли... этот бедный малый наделал долгов, когда служил в кавалерии, и взял взаймы небольшую сумму из полковой кассы...

— Другими словами, украл доверенные ему казенные деньги?

— Разумеется, это было очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но друзья сейчас же внесли за него всю сумму и дело, таким образом, замяли. Он из хорошей семьи и с тех пор ведет себя безупречно. Не могу понять, каким образом Риварес раскопал эту старую скандальную историю, но на первом же допросе он начал с того, что раскрыл ее, да еще в присутствии младшего офицера! И говорил с таким невинным видом, как

будто читал молитву. Само собой разумеется, что теперь об этом толкуют во всем легатстве. Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вам стало бы ясно... Риварес, конечно, не будет об этом знать. Вы могли бы услышать все из...

Монтанелли повернулся к полковнику. Не часто устремлял он на людей такие взгляды!

— Я служитель церкви,— сказал он,— а не полицейский агент. Подслушивание не входит в круг моих обязанностей.

— Я... я не хотел оскорбить вас...

— Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему не приведет. Если вы пришлете заключенного ко мне, я поговорю с ним.

— Позволю себе со всей почтительностью посоветовать вашему преосвященству не делать этого. Риварес совершенно неисправим. Безопаснее и разумнее поступиться на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. После того, что вы, ваше преосвященство, сказали, я боюсь настаивать на своем, но ведь в конце концов ответственность перед монсеньором легатом за спокойствие города придется нести мне...

— А я,— прервал его Монтанелли,— несу ответственность перед богом и его святейшеством за то, что в моей епархии не будет совершено ни одного противозаконного деяния. Если вы настаиваете, полковник, я позволю себе сослаться на свою привилегию кардинала. Я не допущу тайного военного суда в нашем городе в мирное время. Я приму заключенного без свидетелей завтра, в десять часов утра.

— Как вашему преосвященству будет угодно,— хоть и хмуро, но почтительно ответил полковник и вышел, ворча про себя: — Что касается упрямства, то в этом они могут спорить друг с другом.

Он никому не сказал о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключенного наручники и вести его во дворец.

— Достаточно уж того,— заметил он в разговоре с раненым племянником,— что этот сын валаамовой ослицы берется толковать законы. Не хватает только, чтобы солдаты сговорились с Риваресом и его друзьями и устроили ему побег по дороге.

Когда Овод под усиленным конвоем вошел в кабинет, где Монтанелли сидел за покрытым бумагами столом и писал что-то, ему вдруг вспомнился летний день, папка с проповедями, которые он перелистывал в кабинете, так похожем на этот. В жару ставни и здесь были притворены, а на улице продавец фруктов кричал тогда:

— Fragola! Fragola!

Гневно тряхнув головой, он откинул назад волосы, падавшие ему на лоб, и изобразил на лице улыбку.

Монтанелли поднял на него глаза.

— Вы можете подождать в передней,— сказал он конвойным.

— Простите, ваше преосвященство,— начал сержант вполголоса, явно робея,— но полковник считает заключенного очень опасным и думает, что лучше...

Глаза Монтанелли вспыхнули.

— Вы можете подождать в передней,— сказал он спокойным голосом, и перепуганный сержант, отдав честь и бормоча извинения, вышел с солдатами из кабинета.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал кардинал, когда дверь затворилась.

Овод сел, сохраняя молчание.

— Синьор Риварес,— начал Монтанелли после короткой паузы,— я хочу предложить вам несколько вопросов и буду благодарен, если вы ответите на них.

Овод улыбнулся.

— Мое г-главное занятие теперь — в-выслушивать предлагаемые мне вопросы.

— И не отвечать на них? Да, мне говорили об этом. Но те вопросы вам предлагали офицеры, ведущие следствие. Они обязаны использовать ваши ответы как улики против вас...

— А в-вопросы вашего преосвященства?..

Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах Овода. Кардинал сразу это понял. Но лицо его не потеряло своего серьезного и приветливого выражения.

— Мои вопросы,— сказал он,— останутся между нами, ответите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, промолчите. Но, хотя мы совершенно не знаем друг друга, я надеюсь,

что вы сделаете мне личное одолжение и не откажетесь побеседовать со мной.

— Я в-весь к услугам вашего преосвященства.

Легкий поклон, сопровождавший эти слова, и выражение лица, с которым они были сказаны, у кого угодно отбили бы охоту просить одолжения.

— Так вот, вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия в эту область. Зачем оно вам понадобилось?

— Уб-бивать крыс.

— Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений?

— Н-некоторых из них.

Монтанелли откинулся на спинку кресла и несколько секунд молча глядел на своего собеседника.

— Что это у вас на руке? — спросил он вдруг.

Овод посмотрел на свою левую руку.

— Старые с-следы от крысиных зубов.

— Простите, но я говорю про другую руку. Там — свежая рана.

Узкая, гибкая рука была вся изранена. Овод поднял ее. На вспухшем запястье был большой синяк.

— С-ущая безделица, как видите. Когда меня арестовали, по милости вашего преосвященства,— он снова сделал легкий поклон,— один из солдат наступил мне на руку.

Монтанелли взял его руку в свои и стал пристально рассматривать ее.

— С тех пор прошло уже три недели, почему же она в таком состоянии? — спросил он.— Вся воспалена.

— Возможно, что н-наручники не пошли ей на пользу.

Кардинал нахмурился.

— Вам надели их на свежую рану?

— Р-разумеется, ваше преосвященство. Свежие раны для того и существуют. От старых мало проку: они будут только ныть, а не жечь вас, как огнем.

Монтанелли снова взглянул на Овода пристальным вопрошающим взглядом, потом встал и вынул из стола ящик с хирургическими инструментами.

— Дайте руку,— сказал он.

Овод повиновался. Лицо его застыло, словно высеченное из камня. Монтанелли обмыл пораненное место

и осторожно перевязал его. Очевидно, такая работа была для него привычной.

— Я поговорю насчет наручников,— сказал он.— А теперь позвольте задать вам еще один вопрос: что вы предполагаете делать дальше?

— Ответ очень прост, ваше преосвященство: убегу, если удастся. В противном случае — умру.

— Почему же?

— Потому что, если полковник не добьется расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести каторгу.

Опершись о стол рукой, Монтанелли задумался. Овод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыл глаза и наслаждался всем своим существом, не чувствуя на себе наручников.

— Предположим,— снова начал Монтанелли,— что вам удастся бежать. Что вы станете делать тогда?

— Я уже сказал вашему преосвященству: убивать крыс.

— Убивать крыс... Следовательно, если бы я дал вам возможность бежать отсюда — предположим, что это в моей власти,— вы воспользовались бы свободой, чтобы способствовать насилию и кровопролитию, а не предотвращать их?

Овод посмотрел на распятие, висевшее на стене:

— «Не мир, но меч...» Как видите, компания у меня хорошая. Впрочем, я предпочитаю мечу пистолеты.

— Синьор Риварес,— сказал кардинал с непоколебимым спокойствием,— я не оскорблял вас, не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть джентльменом?

— А! Я з-забыл, что ваше преосвященство считает джентльменство одной из высших христианских добродетелей. Стоит только вспомнить проповедь, которую вы произнесли во Флоренции по поводу моего спора с вашим анонимным защитником!

— Я как раз собирался спросить вас об этом. Не будете ли вы добры объяснить мне, почему я вызываю в

vas такую злобу? Если вы просто сочли меня наиболее подходящей мишенью для своих острот, это другое дело, мы не будем сейчас обсуждать ваши методы политической борьбы. Но, судя по тем памфлетам, вы питаете ко мне личную неприязнь, и я хотел бы узнать, чем вызвано такое отношение. Не причинил ли я вам когда-нибудь зла?

Не причинил ли он ему зла!

Овод схватился перевязанной рукой за горло.

— Отсылаю ваше преосвященство к Шекспиру,— сказал он с коротким смешком.— Помните, Шейлок говорит, что некоторые люди содрогаются при виде «безобидной кошки». Так вот, я отношусь к священникам с не меньшей презрительностью. Вид сутаны вызывает у меня оскомину.

— Ну, если дело только в этом...— Монтанелли равнодушно махнул рукой.— Хорошо, нападайте, но зачем же искажать факты! Вы заявили в ответ на ту проповедь, будто я знаю, кто мой анонимный защитник. Но ведь это неправда! Я не обвиняю вас во лжи — вы, вероятно, просто ошиблись. Имя этого человека неизвестно мне до сих пор.

Склонив голову набок, точно ученый дрозд, Овод внимательно посмотрел на кардинала, потом откинулся на спинку стула и громко захохотал:

— O, s-sancta simplicitas!¹ Такая невинность под стать только аркадскому пастушку! Неужели вы не догадались? Неужели не заметили развоенного копыта?

Монтанелли встал:

— Другими словами, вы, синьор Риварес, выступали в обеих ролях?

— Конечно, это было очень дурно с моей стороны,— ответил Овод, устремив на кардинала невинный взгляд своих широко открытых голубых глаз.— Зато как я веселился! Ведь вы проглотили мою мистификацию не перехнувшись, точно устрицу! Но я с вами согласен — это очень, очень дурной поступок!

Монтанелли закусил губу и снова сел в кресло. Он понял с самого начала, что Овод хочет вывести его из себя, и всеми силами старался сохранить самообладание. Но теперь ему стало ясно, почему полковник так

¹ Святая простота (лат.).

гневался. Человеку, который в течение трех недель изо дня в день допрашивал Овода, можно было простить, если у него иной раз вырывалось лишнее словцо.

— Прекратим этот разговор,— спокойно сказал Монтанелли.— Я хотел вас видеть главным образом вот зачем: как кардинал, я имею право голоса — если захочу им воспользоваться, при разрешении вопроса о вашей судьбе. Но я воспользуюсь своей привилегией ради того, чтобы уберечь вас от излишне крутых мер и чтобы вы не причинили вреда другим людям. И я хочу знать, не жалуетесь ли вы на что-нибудь, за этим вас и привели ко мне. Насчет наручников все будет уложено, но, может быть, вы хотите пожаловаться не только на это? Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем принимать какое-нибудь решение.

— Мне не на что жаловаться, ваше преосвященство. *A la guerre comme à la guerre*¹. Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство — любое правительство — погладит меня по головке за контрабандный ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Оно, естественно, не пощадит меня. Что же касается того, какой я человек, то вы уже выслушали мою весьма романтическую исповедь. Разве этого недостаточно? Или вы желаете в-выслушать ее еще раз?

— Я вас не понимаю,— холодно произнес Монтанелли и, взяв со стола карандаш, стал вертеть его пальцами.

— Ваше преосвященство не забыли, конечно, старого паломника Диего? — Овод вдруг затянул старческим голосом: — «Я несчастный грешник...»

Карандаш сломался пополам в руках Монтанелли.

— Это уже слишком! — сказал он, вставая.

Овод тихо засмеялся, запрокинув голову, и стал следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по кабинету.

— Синьор Риварес,— сказал Монтанелли, останавливаясь перед ним,— вы поступили со мной так, как не поступают даже со злейшими врагами. Вы сумели вывести мое горе и сделали себе игрушку и посмешище из страданий вашего ближнего. Еще раз прошу вас сказать мне: разве я причинил вам какое-нибудь зло? А ес-

¹ На войне как на войне (франц.).





ли нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку?

Овод откинулся на спинку стула и улыбнулся своей холодной, непроницаемой улыбкой.

— Мне показалось з-забавным, ваше преосвященство: вы так близко приняли к сердцу мои слова... все это напомнило мне бродячий цирк...

Монтанелли побелел лицом, даже губы у него побелили. Он отвернулся и позвонил.

— Можете увести заключенного,— сказал он конвойным.

Когда Овода вывели, Монтанелли сел к столу, весь дрожа от непривычного для него чувства негодования, и взялся было за кипу отчетов, присланных священниками епархии. Но вскоре оттолкнул ее от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод словно оставил в комнате свою страшную тень, он как бы присутствовал здесь. Монтанелли сидел, съежившись, дрожа всем телом, боясь, что эта тень снова вырастет перед ним. Он знал, что в кабинете никого нет, что всему виной расстроенные нервы, и все же его сковывал страх перед этой тенью... израненная рука, жестокая улыбка на губах, взгляд глубокий и загадочный, как морская пучина...

Усилием воли Монтанелли отогнал от себя страшный призрак и взялся за работу. Весь день у него не было ни одной свободной минуты, и воспоминания не мучили его. Но, войдя поздно вечером в спальню, он замер на пороге. Что, если призрак явится ему во сне? Через секунду он овладел собой и преклонил колена перед распятием. Но уснуть в ту ночь ему не удалось.

ГЛАВА IV

Вспышка гнева не помешала Монтанелли вспомнить о своем обещании. Он так горячо протестовал против наручников, что злополучный полковник, окончательно растерявшись, махнул на все рукой и велел расковать Овода.

— Откуда мне знать,— ворчал он, обращаясь к адъютанту,— чем еще его преосвященство будет недоволен? Если ему кажется, что надеть пару простых наручников жестоко, то, пожалуй, он скоро поведет войну против же-

лезных решеток или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями. В дни моей молодости преступники были преступниками. И обращались с ними соответственно. Никто тогда не считал, что изменник лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех этих негодяев.

— Не понимаю, чего он вообще вмешивается,— заметил адъютант.— Он не легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону...

— Что там говорить о законе! Разве можно ждать уважения к нему, после того как святой отец открыл тюрьму и спустил с цепи всю банду либералов! Это чистое безумие! Понятно, почему монсеньер Монтанелли теперь важничает. При его святейшестве, покойном папе, он вел себя смирно, а теперь стал самой что ни на есть первой персоной. Сразу угодил в любимчики и делает что ему вздумается. Куда уж мне тянуться с ним! Кто знает, может быть, у него есть тайные полномочия из Ватикана. Теперь все перевернулось вверх дном — нельзя даже предвидеть, что принесет с собой завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь...

И полковник уныло покачал головой. Как тут жить, когда кардиналы интересуются тюремными порядками и говорят о «правах» политических преступников.

Овод, в свою очередь, вернулся в крепость в состоянии, близком к истерике. Встреча с Монтанелли почти исчерпала запас его сил. Сказанная напоследок жестокая дерзость о бродячем цирке вырвалась у него в минуту полного отчаяния: необходимо было как-то оборвать этот разговор, который мог окончиться слезами, продлился он еще пять минут.

Несколько часов спустя его вызвали к полковнику, но на все предлагаемые ему вопросы он отвечал лишь взрывами истерического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, стал сыпать ругательствами, Овод захотел еще громче. Несчастный полковник грозил своему непокорному узнику самыми страшными карами и в конце концов пришел к выводу, как когда-то Джеймс Бертон, что не стоит напрасно тратить время и нервы и убеждать в чем-нибудь человека, совершенно потерявшего разум.

Овода отвели назад в камеру; он упал на койку, охваченный невыразимой тоской, всегда приходившей на смену буйным вспышкам, и пролежал так до вечера, не двигаясь, без единой мысли. Бурное волнение, владевшее им утром, уступило место апатии. Горе давило на одеревеневшую душу, словно физически ощущаемый груз, и только. Да, в сущности, не все ли равно, чем все это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого способного чувствовать существа,— это избавиться от невыносимых мук. Но придет ли облегчение со стороны или в нем просто умрет способность чувствовать — это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но, во всяком случае, он больше никогда не увидит *padre* и все, что произошло между ними, суeta suet и пустое раздражение духа.

Сторож принес ему поесть. Овод взглянул на него тяжелым, равнодушным взглядом:

— Который час?

— Шесть часов. Вот ужин, сударь.

Овод с отвращением посмотрел на дурно пахнущую, простывшую бурду и отвернулся. Он был не только измучен, но и болен физически, и вид пищи вызывал у него тошноту.

— Вы заболеете, если не будете есть,— быстро проговорил сторож.— Съешьте хоть хлеба, это вас подкрепит.

С какой-то странной настойчивостью он приподнял с тарелки промокший кусок и снова опустил его. В Оводе сразу проснулся заговорщик: он понял, что в хлебе что-то спрятано.

— Оставьте, я съем потом,— небрежно сказал он: дверь была открыта, и сержант, стоявший на лестнице, мог слышать каждое их слово.

Когда дверь снова заперли и Овод убедился, что никто не подсматривает в глазок, он взял хлеб и осторожно раскрошил его. Внутри было то, что он надеялся найти: связка тонких напильников. На бумаге, в которую они были завернуты, виднелось несколько слов. Он тщательно расправил ее и поднес к скрупульезно освещавшей камеру лампочке. Письмо было написано так убористо и на такой тонкой бумаге, что прочесть его оказалось нелегко.

Калитка не заперта. Ночь безлунная. Перепилите решетку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы, и другого случая, может быть, уже не представится.

Овод судорожно смял бумагу. Итак, все готово, и ему надо только перепилить оконную решетку. Какое счастье, что наручники сняты! Не придется тратить на них время. Сколько в решетке прутьев? Два... четыре... и каждый надо перепилить в двух местах: итого восемь. Можно справиться за ночь, если не терять ни минуты. Как это Джемме и Мартини удалось устроить все так быстро? Достать ему одежду, паспорт, подыскать места, где можно прятаться... Должно быть, работали, как ломовые лошади... А принят все-таки ее план. Он тихо рассмеялся над своим чудачеством: как будто это важно — ее план или нет, был бы только хороший! Но в то же время ему было приятно, что Джемма первая напала на мысль использовать подземный ход, вместо того, чтобы спускаться по веревочной лестнице, как предлагали контрабандисты. Ее план был сложнее, зато с ним не придется подвергать риску жизнь часового, стоящего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда его познакомили с обоими планами, он, не колеблясь, выбрал план Джеммы.

Согласно этому плану, расположенный к нему часовой, по прозвищу Сверчок, должен был при первой возможности отпереть без ведома своих товарищей железную калитку, которая вела с тюремного двора к подземному ходу под валом, и потом снова повесить ключ на гвоздь в караульной. От Овода требовалось перепилить оконную решетку, разорвать рубашку на полосы, связать их и спуститься по ним на широкую восточную стену двора. Потом проползти по стене, пользуясь для этого минутами, когда часовой будет глядеть в другую сторону и, ложась плашмя всякий раз, когда он повернется к нему. На юго-восточном углу стены была полуразвалившаяся башня. Ее стены в какой-то мере поддерживал плющ, но многие камни завалились внутрь и грудой лежали внизу. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься с башни во двор, осторожно отворить незапертую калитку и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад

этот туннель тайно соединял крепость с башней на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал. Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно замаскированного хода в склоне горы, прорытого ими до самого туннеля. Никто и не подозревал, что груды контрабандных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщательно обыскивали дома горцев, мрачно сверкавших на них глазами. Овод должен был выйти этим ходом к склону горы и оттуда под прикрытием темноты пробраться к тому безлюдному месту, где его будут ждать Мартини и один из контрабандистов. Труднее всего было отпереть калитку после вечернего обхода. Такой случай мог представиться не каждый день. Спускаться из окна в светлую ночь тоже было невозможно — могли увидеть часовые. Сегодня у него есть все шансы на успех, и такой случай упускать нельзя.

Овод сел на койку и стал есть хлебные крошки. Хлеб не вызывал в нем отвращения, как остальная тюремная пища, а поесть надо было, чтобы поддержать силы.

Прилечь тоже не мешает — может быть, удастся заснуть. Начинать раньше десяти часов рискованно, а работа ночью предстоит трудная.

Итак, *padre* все-таки думал устроить ему побег. Как это похоже на него! Но он никогда не согласился бы принять его помочь. Никогда, ни за что! Если побег удастся, это будет делом его собственных рук и рук товарищей. Он не желает полагаться на милости священников.

Как жарко! Наверно, будет гроза. Воздух такой тяжелый, душный. Он беспокойно повернулся на койке и подложил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вынул ее. Как она горит! Как в ней пульсирует кровь! И все старые раны начинают ныть с чуть ощутимой настойчивостью. Почему это? Да нет, не может быть! Это просто от погоды, перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, а потом возьмется за напильник...

Восемь прутьев — и все такие толстые, крепкие! Сколько еще осталось? Вероятно, немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго... Конечно, поэтому у него болит рука. И как болит! До самой кости! Неужели

это от работы? И та же колющая, жгучая боль в искалеченной ноге... А это почему?..

Он вскочил с койки. Нет, это не сон. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решетку, а она еще даже не тронута. Вот они, прутья, такие же крепкие, целые, как раньше. На далеких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.

Овод заглянул в глазок и, убедившись, что никто за ним не следит, вынул один из напильников, спрятанных у него на груди.

Нет, с ним ничего не случилось — ничего! Все это одно воображение. Боль в боку может быть потому, что желудок не в порядке или простуда. Да оно и не удивительно после трех недель отвратительной тюремной пищи и тюремной сырости. А ломота во всем теле и учащенный пульс — отчасти от нервного возбуждения, а отчасти от сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всему виной сидячая жизнь. Как он не подумал об этом раньше!

Надо отдохнуть немного. Боль утихнет, и тогда он примется за работу. Через минуту-другую все пройдет.

Но когда он сел, ему стало еще хуже. Боль овладела всем телом, его лицо посерело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за дело. Надо стряхнуть с себя боль. Чувствовать или не чувствовать боль — зависит от твоей воли; он не хочет ее чувствовать, он заставит ее утихнуть.

Он поднялся с койки и раздельно проговорил вслух:

— Я не болен. Мне некогда болеть. Я должен перепилить решетку. Болеть сейчас нельзя,— и взялся за напильник.

Четверть одиннадцатого, половина, три четверти... Он пилил и пилил, и каждый раз, когда напильник, визжа, впивался в железо, ему казалось, что это пият его тело и мозг.

— Кто же сдастся первый,— сказал он, усмехнувшись,— я или решетка? — Потом стиснул зубы и продолжал пилить.

Половина двенадцатого. Он все еще пилил, хотя рука у него распухла, одеревенела и с трудом держала инструмент. Нет, отдохнуть нельзя. Стоит только выпустить из рук этот проклятый напильник — и уже не хватит мужества начинать съзнова.

За дверью послышались шаги часовщика, и приклад его ружья ударился о косяк. Овод перестал пилить и, не выпуская напильника из рук, оглянулся. Неужели услыхали?

Какой-то шарик, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Он наклонился поднять его. Это была туго скатанная бумажка.

Так долго длился этот спуск, а черные волны захлестывали его со всех сторон. Как они клокотали!

Ах да! Он ведь просто наклонился поднять с пола бумажку. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего не случилось. Решительно ничего.

Он поднял бумажку, поднес ее к свету и аккуратно развернул.

Выходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша единственная возможность.

Он разорвал эту записку, как и первую, поднял напильник и снова принял за работу, в отчаянии стиснув зубы.

Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Еще два, а потом можно спускаться.

Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. В последний раз так было под Новый год. Дрожь охватила его при одном воспоминании о тех пяти ночных. Но тогда это наступило не сразу, не внезапно; так внезапно, как сейчас, еще никогда не было.

Он уронил напильник, воздел руки, и с губ его сорвались — в первый раз с тех пор, как он стал атеистом, — слова мольбы. Он молил в беспредельном отчаянии, молил, сам не зная, к кому, к чему обращена эта мольба:

— Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Завтра я вынесу, что угодно, но только не сегодня!

С минуту он стоял неподвижно, прижав руки к вискам. Потом снова взял напильник и снова стал пилить...

Половина второго. Остался последний прут. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял красный туман, пот лил ручьями со лба, а он все пилил, пилил...

Монтанелли заснул только на рассвете. Тревожные воспоминания мучили его всю ночь, и первые минуты он спал спокойно, а потом ему стали сниться сны.

Сначала эти сны были неясны, сбивчивы. Образы, один другого причудливее, проносились перед ним, оставляя после себя смутное воспоминание о борьбе, чувство боли и безотчетного ужаса. Потом он увидел во сне свою бессонницу — привычный, страшный сон, терзающий его уже долгие годы. И он знал, что все это снится ему не в первый раз.

Вот он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и погрузиться в сон. Но повсюду снуют люди — они болтают, смеются, кричат, молятся, звонят в колокола, ударяют металлом о металл. Иногда ему удается уйти подальше от шума, и он ложится то среди густых трав, то на деревянную скамью, то на каменную плиту. Он закрывает руками глаза от света и говорит себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его называют по имени, кричат ему: «Проснись, проснись скорее, ты нам нужен!»

А вот он в огромном дворце, в богато убранных залах. Повсюду стоят пышные ложа, низкие мягкие диваны. Спускается ночь. Он думает: «Наконец-то я усну здесь в тишине!» — и ложится в темном зале, и вдруг туда входят с зажженной лампой. Беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то говорит: «Вставай, тебя зовут!»

Он встает и идет дальше, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, точно раненный насмерть. Бьет час, и он знает, что ночь проходит — драгоценная, короткая ночь. Два, три, четыре, пять часов — к шести весь город проснется и тишине наступит конец.

Он заходит в следующий зал и только хочет опуститься на ложе, как вдруг кто-то поднимается с него и кричит: «Это ложе мое!» И с отчаянием в сердце он бредет дальше.

Проходит час за часом, а он все бродит по каким-то длинным коридорам, из зала в зал, из дома в дом. Часы бьют пять. Ночь миновала, близок страшный серый рассвет, а он так и не обрел покоя. О горе! Наступает день... еще один день!

Перед ним бесконечно длинный подземный туннель, весь залитый ослепительным светом люстр, канделябров. И сквозь его низкие своды откуда-то сверху доносятся звуки пляски, смех, веселая музыка. Это там, в мире живых, спрашивают какое-то торжество. Если бы найти место, где можно спрятаться и уснуть! Крошечное место — хотя бы могилу! И, не успев подумать об этом, он видит себя у края открытой могилы. Смертью и тленом веет от нее. Но что за беда! Лишь бы выспаться.

«Могила моя!» — слышится голос Глэдис. Она откидывает истлевший саван, поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами. Он падает на колени и с мольбой протягивает к ней руки:

«Глэдис! Глэдис! Сжалася надо мной! Позволь мне пробраться в эту узкую щель и уснуть здесь. Я не прошу твоей любви, я не коснусь тебя, не обмолвлюсь с тобой ни словом, только позволь мне лечь рядом и забыться сном! Любимая! Бессонница измучила меня. Я изнемогаю! Дневной свет сжигает мне душу, дневной шум испепеляет мозг. Глэдис! Позволь сойти к тебе в могилу и уснуть возле тебя!»

Он хочет закрыть себе глаза ее саваном, но она кричит, отпрянув от него: «Это святотатство! Ведь ты священник!»

И он снова идет куда-то и выходит на залитый ярким светом скалистый морской берег, о который, не зная покоя, с жалобным стоном плещут волны.

«Море сжалится надо мной! — говорит он.— Ведь оно тоже смертельно устало, оно тоже не может забыться сном».

И тогда из пучины встает Артур и говорит: «Море мое!»

— Ваше преосвященство! Ваше преосвященство!

Монтанелли сразу проснулся. К нему стучались. Он встал и отворил слуге дверь, и тот увидел его измученное, искаженное страхом лицо.

— Ваше преосвященство, вы больны?

Монтанелли провел руками по лбу:

— Нет, я спал. Вы испугали меня.

— Простите. Рано утром мне послышалось, что вы ходите по комнате, и я подумал...

— Разве уже так поздно?

— Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть по очень важному делу. Зная, что ваше преосвященство поднимается рано.

— Он внизу?.. Я сейчас спущусь к нему.

Монтанелли оделся и сошел вниз.

— Извините за бесцеремонность, ваше преосвященство... — начал полковник.

— Надеюсь, у вас ничего не случилось?

— Увы, ваше преосвященство! Риварес чуть-чуть не совершил побег.

— Ну что ж, если побег не удался, значит, ничего серьезного не произошло. Как это было?

— Его нашли во дворе у железной калитки. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат споткнулся обо что-то. Принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперек дороги. Подняли тревогу. Разбудили меня. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решетка перепилена и с окна свешивается жгут, свитый из белья. Он спустился по нему и пробрался ползком по стене. Железная калитка, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража была подкуплена.

— Но почему же он лежал без сознания? Упал со стены и разбился?

— Я так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких повреждений. Солдат, дежуривший вчера, говорит, что Риварес казался совсем больным, когда ему принесли ужин, и ничего не ел. Но это чистейший вздор! Больной человек не перепил бы решетки и не мог бы спуститься по стене. Это немыслимо!

— Как он объяснил это?

— Он еще не пришел в себя, ваше преосвященство.

— До сих пор?

— Время от времени сознание возвращается к нему, он стонет и затем снова забываетсѧ.

— Это очень странно. А что говорит врач?

— Врач не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков сердечного приступа, которым можно было бы объяснить состояние больного. Но как бы то ни было, ясно одно: припадок начался внезапно, когда Риварес был уже близок к цели. Лично я усматриваю в этом вмешательство милосердного провидения.

Монтанелли слегка нахмурился.

— Что вы собираетесь с ним делать? — спросил он.

— Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок: наручники сняли — и вот... при всем моем уважении к вам, ваше преосвященство, вот результаты.

— Надеюсь,— прервал его Монтанелли,— что больного-то вы не закуете? В таком состоянии вряд ли он сможет совершить новую попытку к бегству.

— Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось,— пробормотал полковник, выходя от кардинала.— Пусть его преосвященство сентиментальничает сколько ему угодно. Риварес крепко закован, и здоров он или болен, а кандалов с него я не сниму.

— Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все было сделано, когда он подошел к калитке... Это какая-то чудовищная нелепость!

— Единственное, что можно предположить,— сказал Мартини,— это то, что у Ривареса начался приступ его болезни. Он боролся с ней, пока хватало сил, а потом, уже спустившись во двор, потерял сознание от усталости.

Марконе яростно постучал трубкой, вытряхивая из нее пепел.

— А, да что там говорить! Все кончено, мы ничего больше не сможем для него сделать. Бедняга!

— Бедняга! — повторил Мартини вполголоса; он вдруг понял, что без Овода и ему самому мир будет казаться пустым и мрачным.

— А она что думает? — спросил контрабандист, посмотрев в другой конец комнаты, где Джемма сидела одна, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой невидящими глазами.

— Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Лучше ее не тревожить.

Джемма словно не замечала их, но они говорили вполголоса, как будто в комнате был покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконе встал и спрятал трубку в карман.

— Я приду вечером,— сказал он.

Но Мартини остановил его:

— Не уходите, мне надо поговорить с вами.— Он понизил голос и продолжал почти шепотом: — Так вы думаете, что надежды нет?

— Не знаю, какая может быть надежда... О второй попытке нечего и помышлять. Если даже он выздоровеет и сделает то, что от него требуется, все равно мы бессильны. Часовых всех сменили, подозревают их в соучастии, и Сверчку уже не удастся нам помочь.

— А вы не думаете,— спросил вдруг Мартини.— что, когда он будет здоров, мы сможем как-нибудь отвлечь внимание стражи?

— Отвлечь внимание стражи? Как же это?

— Мне пришла в голову вот какая мысль: в день *Soprus Domini*¹, когда процессия будет проходить мимо крепости, я загорожу полковнику дорогу и выстрелю ему в лицо, все часовые бросятся ловить меня, а вы с товарищами воспользуетесь суматохой и выручите Ривареса. Это даже еще и не план... просто у меня мелькнула такая мысль.

— Вряд ли это удастся,— проговорил Марконе, серьезно глядя на него.— Надо, конечно, основательно обдумать, получится ли тут что-нибудь... но...— он помолчал и взглянул на Мартини,— но если это окажется возможным, вы... согласитесь выстрелить в полковника?

Обычно Мартини был человек сдержаный. Но сейчас он забыл о сдержанности. Его глаза встретились с глазами контрабандиста.

— Соглашусь ли я? — повторил он.— Посмотрите на нее!

Других объяснений не понадобилось. Этими словами было сказано все. Марконе повернулся и посмотрел на Джемму.

¹ Праздник «тела господня» (лат.) — один из самых пышных праздников католической церкви.

Она не шелохнулась с тех пор, как начался этот разговор. На лице ее не было ни сомнений, ни страха, ни даже страдания — на нем лежала тень смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на нее.

— Торопись, Микеле,— сказал Марконе, открывая дверь на веранду.— Вы оба, верно, совсем выбились из сил, а дел впереди еще много.

Микеле, а за ним Джино вошли в комнату.

— Я готов,— сказал Микеле.— Хочу только спросить синьору...

Он шагнул к Джемме, но Мартини удержал его за руку:

— Не надо. Ей лучше побыть одной.

— Оставьте ее в покое,— прибавил Марконе.— От наших утешений проку мало. Видит бог, всем нам тяжело. Но ей, бедняжке, хуже всех.

ГЛАВА V

Целую неделю Овод лежал в тяжелейшем состоянии. Приступ болезни был мучительный, и страдания его усиливались тем, что перепуганный и обозленный полковник велел не только надеть ему наручники и кандалы, но и привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезались в тело. Вплоть до вечера шестого дня Овод переносил все это, упрямо стиснув зубы, стоически. Потом, забыв о гордости, он чуть не со слезами стал умолять тюремного врача дать ему опиум. Врач охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил «такое баловство».

— Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум? Очень возможно, что он все это время только притворяется и теперь хочет усыпить часового или выкинуть еще какую-нибудь штуку. У него хватит хитрости на что угодно.

— Я дам ему небольшую дозу, часового этим не усыплю,— ответил врач, едва сдерживая улыбку.— О притворстве же и не думайте. Он может умереть в любую минуту.

— Как бы то ни было, а я не позволю дать ему опиум. Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть ведет себя соответственно. Он вполне заслужил самые суровые меры. Может быть, это послужит ему уроком и научит обращаться осторожнее с оконными решетками.

— Закон, однако, запрещает пытки,— позволил себе заметить врач,— а ваши «суровые меры» очень близки к ним.

— Насколько я знаю, закон ничего не говорит об опиуме! — отрезал полковник.

— Это ваше дело — решать. Надеюсь, однако, что вы позволите снять по крайней мере ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что Риварес убежит. Он не мог бы подняться с койки, если б даже вы освободили его.

— Врачи, дорогой мой, могут ошибаться, как и все мы, смертные. Риварес привязан к койке и пусть так и остается.

— Но прикажите хотя бы отпустить ремни. Это варварство — затягивать их так туго.

— Они останутся как есть. И я прошу вас прекратить эти разговоры. Если я так распорядился, значит, у меня были на то свои причины.

Таким образом, облегчения не наступило и на седьмые сутки. Солдат, стоявший у дверей камеры Овода, дрожал и крестился, слушая всю ночь его душераздирающие стоны. Терпение наконец-то изменило узнику.

В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно открыл дверь и вошел в камеру. Он знал, что это серьезное нарушение дисциплины, и все же не мог уйти, не утешив страдальца дружеским словом.

Овод лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, открыв рот, и тяжело дышал. С минуту солдат молча стоял над ним, потом наклонился и спросил:

— Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута.

Овод открыл глаза.

— Оставьте меня,— простонал он,— оставьте меня...

И прежде чем часовой успел вернуться на свое место, Овод уже заснул.

Десять дней спустя полковник снова зашел во дворец, но ему сказали, что кардинал отправился к больному на Пьеве д'Оттаво и вернется только к вечеру.

Когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил:

— Его преосвященство желает говорить с вами.

Полковник бросил на себя быстрый взгляд в зеркало: в порядке ли мундир, принял торжественный вид и вышел в приемную. Монтанелли сидел, задумчиво глядя в окно и постукивая рукой по ручке кресла. Между бровей у него лежала тревожная складка.

— Мне сказали, что вы были у меня сегодня.— Кардинал пресек учтивые извинения полковника и заговорилластным тоном, каким он никогда не говорил с простым народом.— И, вероятно, по тому же самому делу, о котором и я хочу поговорить с вами.

— Я приходил насчет Ривареса, ваше преосвященство.

— Я так и предполагал. Я много думал об этом последние дни. Но прежде чем приступить к делу, мне хотелось бы узнать, не скажете ли вы чего-нибудь нового.

Полковник смущенно дернул себя за усы.

— Я, собственно, приходил к вам за тем же самым, ваше преосвященство. Если вы все еще противитесь моему плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо, по чести, я не знаю, как мне быть.

— Разве есть новые осложнения?

— В следующий четверг третьего июня, Corpus Domini, и вопрос так или иначе должен быть решен до этого дня.

— Да, в четверг Corpus Domini. Но почему вопрос должен быть решен до четверга?

— Мне очень неприятно, ваше преосвященство, что я как будто противлюсь вам, но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до тех пор не избавимся от Ривареса. В этот день, как вашему преосвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Ривареса. Это не удастся. Уж я позабочусь, чтобы не удалось, в крайнем случае отгоню их от ворот пулями. Но какая-то попытка в этом роде, безусловно, будет

сделана. Народ в Романье дикий и если уж пустит в ход ножи...

— Надо постараться не доводить дело до ножей. Я всегда считал, что со здешним народом очень легко ладить, надо только разумно с ним обходиться. Угрозы и насилие ни к чему не приведут, и романцы только отбиваются от рук. Но почему вы думаете, что затевается новая попытка освободить Ривареса?

— Вчера и сегодня утром доверенные агенты сообщили мне, что в области циркулирует множество тревожных слухов. Что-то готовится — это несомненно. Но более точных сведений у нас нет. Если бы мы знали, в чем дело, легче было бы принять меры предосторожности. Что касается меня, то после той передряги я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее. С такой хитрой лисой надо быть начеку.

— В прошлый раз вы говорили, что Риварес тяжело болен и не может ни двигаться, ни говорить. Значит, он выздоравливает?

— Ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьезно болен... если, конечно, не притворялся.

— У вас есть повод подозревать это?

— Видите ли, врач вполне убежден, что притворства тут не было, но болезнь его весьма таинственного характера. Так или иначе, он выздоравливает, и с ним стало еще труднееправляться.

— Что же он такое сделал?

— К счастью, он почти ничего не может сделать, — ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни. — Но его поведение — это что-то неописуемое. Вчера утром я зашел в камеру предложить ему несколько вопросов. Он слишком слаб еще, чтобы приходить ко мне. Да это и лучше — я не хочу, чтобы его видели, пока он окончательно не поправится. Это рискованно. Сейчас же сочинят какую-нибудь нелепую историю.

— Итак, вы хотели допросить его?

— Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он хоть немного поумнел.

Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для себя и весьма неприятную зоологическую разновидность. Но, к сча-

стью, полковник поправлял в это время портупею и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном:

— Не прибегая ни к каким чрезвычайным мерам, я все же был вынужден проявить некоторую строгость,— ведь как-никак, а у нас военная тюрьма. Я полагал, что некоторые послабления могут оказаться теперь благотворными, и предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя прилично. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту глядел на меня, точно волк в клетке, а потом проговорил вполголоса: «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите свое горло подальше». Он неукротим, как дикая кошка.

— Меня это нисколько не удивляет,— спокойно ответил Монтанелли.— Теперь ответьте вот на какой вопрос: вы убеждены, что присутствие Ривареса в здешней тюрьме серьезно угрожает спокойствию области?

— Совершенно убежден, ваше преосвященство.

— Следовательно, вы считаете, что для предотвращения кровопролития необходимо так или иначе избавиться от него перед праздником?

— Я могу лишь повторить, что если он еще будет здесь в четверг, побоища не миновать, и, по всей вероятности, очень жестокого.

— Значит, вы считаете, что если его здесь не будет, то минует и опасность?

— Тогда все сойдет гладко... в худшем случае, немного покричат и пошвыряют камнями. Если ваше преосвященство найдет способ избавиться от Ривареса, я отвечаю за порядок. В противном случае будут серьезные неприятности. Я убежден в том, что подготавливается новая попытка освободить его, и этого можно ожидать именно в четверг. А когда заговорщики вдруг узнают, что Ривареса уже нет в крепости, все их планы отпадут сами собой, и повода к беспорядкам не будет. Если же нам придется давать им отпор и в толпе пойдут в ход ножи, то город, по всей вероятности, будет сожжен до наступления ночи.

— В таком случае, почему вы не переведете Ривареса в Равенну?

— Видит бог, ваше преосвященство, я бы с радостью это сделал. Но тогда его, вероятно, попытаются освобо-

дить по дороге. У меня не хватит солдат отбить вооруженное нападение, а у всех горцев имеются ножи или кремневые ружья.

— Следовательно, вы продолжаете настаивать на военно-полевом суде и хотите получить мое согласие?

— Простите, ваше преосвященство: единственное, о чем я вас прошу,— это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды под председательством капитана Фредди бывают иногда без нужды строги и только озлобляют народ, вместо того чтобы смирять его. Но в данном случае военный суд был бы мерой разумной и в конечном счете милосердной. Он предупредит бунт, который сам по себе будет для нас ужасающим бедствием и, кроме того, может вызвать введение трибуналов, отмененных его святейшеством.

Полковник закончил свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго; и ответ поразил его своей неожиданностью:

— Полковник Феррари, вы верите в бога?

— Ваше преосвященство! — вырвалось у полковника с множеством восклицательных знаков.

— Верите ли вы в бога? — повторил Монтанелли, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом.

Полковник тоже встал.

— Ваше преосвященство, я христианин, и мне никогда еще не отказывали в отпущении грехов.

Монтанелли поднял с груди крест:

— Так поклянитесь же крестом искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду..

Полковник стоял навытяжку, тупо уставившись на кардинала, и думал: «Кто из нас двоих лишился рассудка — я или он?»

— Вы просите,— продолжал Монтанелли,— чтобы я дал свое согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне еще раз, что нет иного средства предотвратить большее кровопролитие. И помните: если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.

Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам.

— Я убежден, что другого средства нет,— сказал он. Монтанелли медленно отвернулся от него.

— Завтра вы получите ответ. Но сначала я должен повидать Ривареса и поговорить с ним наедине.

— Ваше преосвященство... разрешите мне сказать... я уверен, вы пожалеете об этом. Вчера Риварес передал мне через сторожа, что сам просит о встрече с вами, но я оставил это без внимания, потому что...

— Оставили без внимания! — повторил Монтанелли.— Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете его просьбу без внимания!

— Вы недовольны мною, ваше преосвященство, прошите, но мне не хотелось беспокоить вас из-за такой дерзкой просьбы. Я уже достаточно хорошо знаю Ривареса. Можно быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне сказать кстати, что подходить к нему близко без стражи нельзя. Он настолько опасен, что я считал необходимым применить к нему некоторые меры, довольно, впрочем, мягкие...

— Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооруженному человеку, к которому вы вдобавок «применили некоторые довольно мягкие меры»?

Монтанелли говорил сдержанно, но полковник почувствовал в его тоне такое спокойное презрение, что кровь бросилась ему в лицо.

— Ваше преосвященство поступит, как сочтет нужным,— сухо сказал он.— Я хотел только избавить вас от необходимости выслушивать его ужасные богохульства.

— Что вы считаете большим несчастьем для христианина: слушать богохульства или покинуть ближнего в тяжелую для него минуту?

Полковник стоял, вытянувшись во весь рост; физиономия у него была совершенно деревянная. Он считал глубоко оскорбительным такое обращение с собой и проявлял свое недовольство подчеркнутой церемонностью.

— В котором часу ваше преосвященство желает посетить заключенного?

— Я пойду к нему сейчас.

— Как вашему преосвященству угодно. Не будете ли вы добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь в тюрьму, чтобы его подготовили?

Полковник сразу спустился со своего пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни.

— Благодарю вас, мне хочется застать его так, как он есть, без всяких приготовлений. Я иду прямо в крепость. До свидания, полковник. Завтра утром вы получите от меня ответ.

ГЛАВА VI

Овод услышал, как отпирают дверь, и равнодушно отвел взгляд в сторону. Он подумал, что это опять идет полковник — изводить его новым допросом. На узкой лестнице послышались шаги солдат; приклады их карабинов задевали о стену.

Потом кто-то произнес почтительным голосом:

— Ступеньки крутые, ваше преосвященство.

Овод судорожно рванулся, но ремни сильно впились ему в тело, и он весь съежился, с трудом переводя дыхание.

В камеру вошел Монтанелли в сопровождении сержанта и трех часовых.

— Сейчас вам принесут стул, ваше преосвященство, если вы изволите подождать, — сказал сержант. — Я послал солдата. Извините, ваше преосвященство, если бы мы вас ожидали, все было бы приготовлено.

— Не надо никаких приготовлений, сержант. Будьте добры, оставьте нас одних. Подождите внизу.

— Слушаю, ваше преосвященство... Вот и стул. Прикажете поставить около него?

Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли.

— Он, кажется, спит, ваше преосвященство, — сказал сержант.

Но Овод открыл глаза:

— Нет, не сплю.

Солдаты уже выходили из камеры, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их. Они оглянулись и увидели, что кардинал наклонился над узником и рассматривает ремни.

— Кто это сделал? — спросил он.

Сержант мял в руках фуражку.

— Таково было распоряжение полковника, ваше преосвященство.

— Я ничего об этом не знал, синьор Риварес,— сокрушенно сказал Монтанелли.

Овод улыбнулся своей холодной улыбкой:

— Как я уже говорил вашему преосвященству, я вовсе не ждал, что меня будут гладить по головке.

— Сколько это продолжается, сержант?

— С тех пор как была попытка побега, ваше преосвященство.

— Почти неделю? Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни.

— Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять их, но полковник Феррари не позволил.

— Немедленно принесите нож.

Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побелело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонясь над Оводом, принялся резать ремень, стягивавший ему руки. Он делал это очень неискусно и неловким движением затянул ремень еще сильнее.

Овод вздрогнул и, не удержавшись, закусил губу.

Монтанелли быстро шагнул вперед:

— Вы не умеете, дайте нож мне.

— А-а-а!

Лишь только ремни упали, Овод вытянул руки, и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Еще мгновение — и Монтанелли разрезал ремни на ногах.

— Снимите кандалы тоже, сержант, а потом подойдите ко мне: я хочу поговорить с вами.

Став у окна, Монтанелли молча глядел, как с Овода снимают оковы. Сержант подошел к нему.

— Расскажите мне все, что произошло за это время,— сказал Монтанелли.

Сержант с полной готовностью выполнил его просьбу и рассказал все, что ему было известно о болезни Овода, о примененных к нему «дисциплинарных мерах» и о неудачном заступничестве врача.

— Но, по-моему, ваше преосвященство,— прибавил он,— полковник нарочно не велел снимать ремни, чтобы заставить его дать показания.

— Показания?

— Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только

он...— сержант бросил быстрый взгляд на Овода,— согласится ответить на один его вопрос.

Рука Монтанелли, лежавшая на подоконнике, сжалась в кулак. Солдаты переглянулись. Они еще никогда не видели, чтобы добный кардинал гневался. А Овод в эту минуту забыл об их существовании, забыл обо всем на свете и ничего не хотел знать, кроме физического ощущения свободы. Все тело у него сводили судороги, и теперь он с наслаждением потягивался и поворачивался с боку на бок.

— Можете идти, сержант,— сказал кардинал.— Не беспокойтесь, вы неповинны в нарушении дисциплины, вы были обязаны ответить на мой вопрос. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Я поговорю с ним и уйду.

Когда дверь за солдатами затворилась, Монтанелли блокотился на подоконник и несколько минут смотрел на заходящее солнце, чтобы дать Оводу время прийти в себя.

— Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной наедине,— вскоре начал он, отходя от окна и садясь возле койки.— Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, то я к вашим услугам.

Монтанелли говорил холодным, повелительным тоном, совершенно ему не свойственным. Пока ремни не были сняты, Овод был для него лишь страдающим, измученным существом, но теперь ему вспомнился их последний разговор и смертельное оскорблениe, которым он закончился. Овод небрежно заложил руки за голову и поднял глаза на кардинала. Он обладал прирожденной грацией движений, и когда его голова была в тени, никто не угадал бы, через какой ад прошел этот человек. Но сейчас, при ясном вечернем свете, можно было разглядеть его измученное, бледное лицо и страшный неизгладимый след, который оставили на этом лице страдания последних дней. И гнев Монтанелли исчез.

— Вы были тяжело больны,— сказал он.— Глубоко сожалею, что я ничего не знал. Я сразу прекратил бы это.

Овод пожал плечами.

— На войне все дозволено,— холодно проговорил он.— Ваше преосвященство не признает ремней теоретически, на основании христианской морали, но трудно требовать, чтобы полковник разделял ее. Он, без

сомнения, не захотел бы знакомиться с ремнями на своей собственной шкуре, к-как случилось со мной. Но это вопрос только личного удобства. Что поделаешь? Я оказался подневольным... Во всяком случае, ваше пресвященство, с вашей стороны очень любезно, что вы посетили меня. Но, может быть, и это сделано на основании христианской морали? Посещение заключенных... Да, конечно! Я забыл. «Кто напоит единого из малых сих...» и так далее. Не особенно это лестно, но один из «малых сих» выражает вам должную благодарность.

— Синьор Риварес,— прервал его кардинал,— я пришел сюда не просто так, а по вашей просьбе. Если бы вы не «оказались подневольным», как вы сами выражаетесь, я никогда не заговорил бы с вами снова после того, что вы сказали мне в тот раз. Но у вас двойная привилегия: узника и больного, и я не мог отказать вам. Вы действительно хотите что-то сообщить мне или послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком?

Ответа не было. Овод лежал отвернувшись и закрыв глаза рукой.

— Простите, что приходится вас беспокоить...— сказал он наконец сдавленным голосом.— Дайте мне, пожалуйста, пить.

На окне стояла кружка с водой. Монтанелли встал и подал ее Оводу. Наклонившись над узником и приподняв его за плечи, он вдруг почувствовал, как холодные, влажные пальцы Овода сжали ему кисть словно тисками.

— Дайте мне руку... скорее... на одну только минуту,— прошептал Овод.— Что вам стоит? Только на минуту!

Он припал лицом к его руке и задрожал всем телом.

— Выпейте воды,— не сразу сказал Монтанелли.

Овод молча повиновался, потом снова лег и закрыл глаза. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука кардинала коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни.

Монтанелли придинул стул ближе к койке и снова сел. Овод лежал без движения, как труп, с мертвенно-бледным, осунувшимся лицом. После долгого молчания

он открыл глаза, и его блуждающий взгляд остановился на Монтанелли.

— Благодарю вас,— сказал он.— Простите... Вы, кажется, спрашивали меня о чем-то?

— Вам нельзя говорить. Если вы хотите что-то сказать мне, я приду к вам завтра.

— Нет, не уходите, прошу вас, ваше преосвященство. Право, я совсем здоров. Просто немного волновался за последние дни. Да, и то это больше притворство—спросите полковника, он вам все расскажет.

— Я предпочитаю делать выводы сам, — спокойно ответил Монтанелли.

— Полковник тоже. И его выводы бывают иной раз в-весьма остроумны. Это трудно предположить, судя по его виду, но иной раз ему приходят в голову оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например... кажется, это было в пятницу... я стал немного путать дни, ну да все равно... я попросил дать мне опиум. Это я помню очень хорошо. А он пришел сюда и заявил: опиум мне д-дадут, когда я скажу, кто отпер железную калитку перед моим побегом. «Если вы действительно больны, то согласитесь; если же откажетесь, я сочту это д-доказательством того, что вы притворяетесь». Я и не предполагал, что это будет так смешно. З-забавнейший случай...

Он разразился громким, режущим ухо смехом. Потом вдруг повернулся к кардиналу и заговорил с лихорадочной быстротой, заикаясь так сильно, что с трудом можно было разобрать слова:

— Разве в-вы не находите, что это забавно? Ну, к-конечно, нет. Лица д-духовного звания лишены чувства юмора. Вы все принимаете т-трагически. Н-например, в ту ночь, в соборе, какой у вас был торжественный вид! А я-то в костюме паломника! Как трогательно! Да вы и сейчас не видите н-ничего смешного в том, что пришли ко мне.

Монтанелли поднялся:

— Я пришел выслушать вас, но вы, очевидно, слишком взволнованы. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.

— В-высплюсь? О, я успею в-выспаться, ваше преосвященство, когда вы д-дадите свое с-согласие полков-

нику! Унция свинца — п-превосходное средство от бессонницы.

— Я вас не понимаю,— сказал Монтанелли, удивленно глядя на него.

Овод снова разразился хохотом.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство, п-правдивость — г-главнейшая из христианских добродетелей! Н-неужели вы д-думаете, что я н-не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего с-согласия на военно-полевой суд? Не противьтесь, ваше преосвященство, все ваши братья прелаты поступили бы точно так же. *Cosi fan tutti*¹. Ваше согласие не п-принесет ни малейшего вреда, а только пользу. Этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели.

— Прошу вас, перестаньте смеяться хотя бы на минуту,— прервал его Монтанелли,— и скажите: откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом?

— Р-разве полковник не жаловался, что я д-дьявол, а не человек?.. Нет? А мне он повторял это не раз. И как и подобает дьяволу, я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше преосвященство, считаете меня крайне н-неприятным человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы ваша чуткая совесть не была т-таким образом п-потревожена. П-правильно я угадал?

— Выслушайте меня,— сказал Монтанелли, снова садясь рядом с ним,— это правда — каким бы путем вы ее ни узнали. Полковник Феррари опасается, что ваши друзья предпримут новую попытку освободить вас, и хочет предупредить ее... способом, о котором вы говорили. Как видите, я с вами вполне откровенен.

— Ваше п-преосвященство в-всегда славились своей п-правдивостью,— с горечью вставил Овод.

— Вы, конечно, знаете,— продолжал Монтанелли,— что светские дела мне не подведомственны. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием, и полковник вряд ли решится на крайние меры без моего, хотя бы молчаливого, согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был против его плана. Теперь он усиленно пытается побороть мое сопротивление, уверяя,

¹ Так делают все (*итал.*).

что в четверг, когда народ соберется сюда на праздник, ваши друзья могут сделать вооруженную попытку освободить вас, и она окончится кровопролитием... Вы слушаете меня?

Овод рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом:

— Да, слушаю.

— Может быть, сегодня вам все-таки трудно вести этот разговор? Не прийти ли мне завтра утром? Дело столь серьезно, что вы должны отнестись к нему с полным вниманием.

— Мне бы хотелось покончить с ним сегодня,— все так же устало ответил Овод.— Я вникаю во все, что вы говорите.

— Итак,— продолжал Монтанелли,— если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые приведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. С другой стороны, мне кажется, что личная неприязнь к вам до некоторой степени мешает ему быть беспристрастным и, вероятно, заставляет преувеличивать опасность. В этом я убедился, увидев доказательства его возмущительной жестокости.— Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу. Дать свое согласие — значит убить вас. Отказать — значит подвергнуть риску жизнь ни в чем не повинных людей. Я очень серьезно думал над этим и всей душой старался найти какой-нибудь выход. И теперь принял определенное решение.

— Убить меня и спасти ни в чем не повинных людей? Ну, разумеется, это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. «Если правая рука с-составляет тебя...» и так далее. А я даже не имею чести быть п-правой рукой вашего преосвященства, и я оскорбил вас. Вывод ясен. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления?

Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежительности в голосе, словно наскучив этим разговором.

— Ну что же? — спросил он после короткой паузы.— Таково и было решение вашего преосвященства?

— Нет.

Овод заложил руки за голову и посмотрел на Монтанелли полузакрытыми глазами. Кардинал сидел в глубоком раздумье, низко опустив голову на грудь, медленно постукивая ладонью по ручке кресла. О, этот старый, хорошо знакомый жест!

— Я сделал то,— сказал наконец Монтанелли, поднимая голову,— чего, вероятно, никто никогда не делал. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, я решил прийти сюда и положиться во всем на вас.

— Положиться на меня?

— Синьор Риварес, я пришел не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришел к вам, как человек к человеку. Я не стану спрашивать, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых говорил полковник: я очень хорошо понимаю, что это ваша тайна, которой вы мне не откроете. Но представьте себя на моем месте. Я стар, мне осталось недолго жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью.

— А разве ваши руки уже не запятнаны кровью, ваше преосвященство?

Монтанелли чуть побледнел, но продолжал спокойным голосом:

— Всю свою жизнь я боролся с насилием и жестокостью, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни во всех ее формах. При прежнем папе я неоднократно и настойчиво высказывалася против военных трибуналов, за что и впал в немилость. Все свое влияние я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, использовал для дела милосердия. Прошу вас, верьте, что это правда. Теперь передо мною трудная задача. Если я откажу полковнику, в городе может вспыхнуть бунт ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека, который поносил мою религию, злословил, преследовал оскорблениеми меня лично... Впрочем, это не так важно... Если этому человеку сохранят жизнь, он обратит ее во зло, в чем я не сомневаюсь. И все-таки речь идет о человеческой жизни.

Он замолчал, потом заговорил снова:

— Синьор Риварес, все, что я знаю о вашей деятельности, заставляло меня смотреть на вас как на

человека дурного, жестокого, ни перед чем не останавливающегося. До некоторой степени я придерживаюсь этого мнения и сейчас. Но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеете хранить верность своим друзьям. Вы внушили солдатам любовь и уважение к себе, а это удается не каждому. Может быть, я ошибся в своем суждении о вас, может быть, вы лучше, чем кажется. К этому другому, лучшему человеку я и обращаюсь и заклинаю его сказать мне чисто-сердечно: что бы вы сделали на моем месте?

Наступило долгое молчание; потом Овод взглянул на Монтанелли:

— Я, во всяком случае, решил бы сам, не боясь ответственности за свои действия, и не стал бы лицемерно и трусливо, как это делают христиане, перекладывать решение на чужие плечи!

Удар был нанесен так внезапно и бешеная страсть этих слов так противоречила недавней безучастности Овода, что казалось, он сбросил с себя маску.

— Мы, атеисты,— горячо продолжал он,— считаем, что человек должен нести свое бремя, как бы тяжко оно ни было! Если же он упадет, тем хуже для него. Но христианин скулит и взывает к богу, к своим святым, а если они не помогают, то даже к врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу. Неужели в вашей Библии, в ваших молитвенниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? Да что это! Неужели мое бремя так уж легко и мне надо взвалить на плечи и вашу ответственность? Обратитесь к своему Христу. Он требовал все, до последнего кодранта, так следуйте же его примеру! И убьете-то вы всего-навсего атеиста, человека, который не выдержал вашей проверки! А разве это считается у вас серьезным преступлением?

Он остановился, вздохнул всей грудью и продолжал с той же страстью:

— И вы толкуете о жестокости! Да этот в-вислоухий осел не мог бы за год измучить меня так, как измучили вы. У него не хватит на это смекалки. Все, что он может выдумать,— это затянуть потуже ремни, а когда больше

затягивать уже некуда, то все его средства исчерпаны. Всякий дурак может это сделать. А вы! «Будьте добры подписать свой собственный смертный приговор. Мое нежное сердце не позволяет мне сделать это». До такого может додуматься только христианин, кроткий, сострадательный христианин, который бледнеет при виде слишком тугого затянутого ремня. Как я не догадался, когда вы вошли сюда подобно милосердному ангелу, возмущенному «варварством полковника», что только теперь и начинается настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело выеденного яйца не стоит. Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня, или повесить, или изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие, и кончайте скорей!

Овода трудно было узнать. Он забыл себя, он пришел в бешенство и дрожал, тяжело переводя дыхание, а глаза у него искрились зеленым огнем, словно у разъяренной кошки.

Монтанелли встал, молча на него глядя. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков, но чувствовал, что дойти до такого исступления может лишь человек, доведенный до крайности. И, поняв это, он прощил ему все прежние обиды.

— Успокойтесь,— сказал он.— Никто не хотел вас мучить. И, право же, я не думал сваливать свою ответственность на вас, чья ноша и без того слишком тяжела. Ни одно живое существо не упрекнет меня в этом...

— Это ложь! — крикнул Овод, сверкнув глазами.— А епископство?

— Епископство?

— А! Об этом вы забыли? Забыть так легко! «Если хочешь, Артур, я откажусь...» Мне приходилось решать за вас, мне — в девятнадцать лет! Если б это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами!

— Замолчите! — в отчаянии крикнул Монтанелли, хватаясь за голову. Потом он беспомощно опустил руки, медленно отошел к окну, сел на подоконник и, взявшись за решетку, прижался лбом к руке.

Овод, дрожа всем телом, следил за ним.

Но вот Монтанелли встал и подошел к Оводу. Губы у него посерели.

— Простите, пожалуйста,— сказал он, стараясь сохранить свою обычную спокойную осанку.— Я должен уйти... Я не совсем здоров.

Он дрожал, как в лихорадке. Гнев Овода сразу погас.

— Padre, неужели вы не...

Монтанелли подался назад и замер в неподвижности.

— Только не это,— прошептал он.— Все, что хочешь, господи, только не это! Если я схожу с ума...

Овод приподнялся на локте и взял его дрожащие руки в свои:

— Padre, неужели вы так и не поймете, что я не утонул?

Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели. Наступило мертвое молчание. Потом Монтанелли опустился на колени и спрятал лицо на груди Овода.

Когда он поднял голову, солнце уже село, и последний красный отблеск его угасал на западе. Они забыли обо всем, забыли о жизни и смерти, забыли о том, что были врагами.

— Артур,— прошептал Монтанелли,— неужели ты вернулся ко мне?.. Воскрес из мертвых?

— Воскрес из мертвых,— повторил Овод и вздрогнул.

Овод лежал, положив голову ему на плечо, как больное дитя в объятиях матери.

— Ты вернулся... вернулся наконец!

Овод тяжело вздохнул.

— Да,— сказал он,— и вам нужно бороться со мной или убить меня.

— Замолчи, carino! К чему все это теперь! Мы с тобой, словно дети, заблудились в потемках и приняли друг друга за привидения. А теперь нашли друг друга, вышли на свет. Бедный мой мальчик, как ты изменился! Волны бед людских словно залили тебя с головой — тебя, в ком было раньше столько радости, столько жизни! Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты со мной, ты рядом, а потом проснусь — вокруг

темно и пусто. Неужели меня мучает все тот же сон? Дай убедиться, что это правда, расскажи мне все!

— Это было очень просто. Я спрятался зайцем на торговом судне и приплыл в Южную Америку.

— А там?

— Там я жил, если только это можно назвать жизнью... О, с тех пор как вы обучали меня философии, я постиг многое! Вы говорите, что видели меня во сне... Я вас тоже...

Он вздрогнул и надолго замолчал.

— Однажды,— вдруг вырвалось у него,— я работал на рудниках в Эквадоре...

— Неужели рудокопом?

— Нет, подручным рудокопа, наравне с китайскими кули. Мы спали в бараке у самого входа в шахту. Я страдал тогда той же болезнью, что и теперь, а приходилось таскать целые дни камни под раскаленным солнцем. Однажды ночью у меня, должно быть, начался бред, потому что я увидел, как вы отворили дверь. В руках у вас было распятие, вот такое же, как здесь на стене. Вы читали молитву и прошли совсем близко, не заметив меня. Я закричал, прося вас помочь мне, дать мне яду или нож — любое, что положило бы конец моим страданиям, прежде чем я лишусь рассудка. А вы...

Он провел рукой по глазам, другую все еще сжимал Монтанелли.

— Я видел по вашему лицу, что вы слышите меня, но вы даже не взглянули в мою сторону и продолжали молиться. Потом поцеловали распятие, оглянулись и прошептали: «Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею выдавать свои чувства... он разгневается...» И я посмотрел на Христа и увидел, что деревянное распятие смеется...

Потом я пришел в себя, снова увидел барак и кули, больных проказой, и понял все. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать расположение этого вашего божка, чем вырвать меня из ада. И я запомнил это. А сейчас, когда вы дотронулись до меня, вдруг все забыл... но ведь я болен. Я любил вас когда-то... Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не понимаете, что, пока вы веруете в вашего Иисуса, мы можем быть только врагами?

Монтанелли склонил голову и поцеловал изуродованную руку Овода:

— Артур, как же мне не веровать в него? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как отказаться от нее теперь, когда ты возвращен мне Иисусом? Вспомни: ведь я был уверен, что убил тебя.

— Это вам еще предстоит сделать.

— Артур!

В этом возгласе звучал ужас, но Овод продолжал, словно ничего не слыша:

— Будем честными до конца. Мы стоим над глубокой пропастью и не сможем протянуть друг другу руки через нее. Если вы не смеете или не хотите отречься от всего этого,— он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене,— то вам придется дать свое согласие полковнику.

— Согласие! Боже мой... Согласие! Артур, но ведь я люблю тебя!

Страдальческая гримаса исказила лицо Овода:

— Кого вы любите больше? Меня или вот это?

Монтанелли медленно встал. Ужас обнял его душу и страшной тяжестью лег на плечи. Он почувствовал себя слабым, старым и поникшим, как лист, тронутый первым морозом. Сон кончился, и перед ним снова пустота и тьма.

— Артур, сжалься надо мной хоть немного!

— А много ли у вас было жалости ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом негров на сахарных плантациях? Вы вздрогнули... Вот они, мягкосердечные святоши! Вот что по душе господу богу — покаяться в грехах и сохранить себе жизнь, а сын пусть умирает! Вы говорите, что любите меня... Дорого обошлась мне ваша любовь! Неужели вы думаете, что можете загладить все это и, обласкав, превратить меня в прежнего Артура? Меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни у креольских фермеров — у тех, кто сами были ничуть не лучше скотины? Меня, который был клоуном в бродячем цирке, слугой матадоров? Меня, который прислуживал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мной как ему вздумается? Меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплевывали? Меня, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью обедки, и получал отказ, потому что они шли в первую очередь собакам? Зачем я говорю вам обо всем этом? Раз-





ве расскажешь о тех бедах, которые вы навлекли на меня! А теперь вы говорите о своей любви! Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради нее от своего бога? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас? За что вы любите его больше меня? За пробитые гвоздями руки? Так посмотрите же на мои! И на это поглядите, и на это, и на это...

Он разорвал рубашку, показывая страшные рубцы на теле.

— Padre, ваш бог — обманщик! Не верьте его ранам, не верьте, что он страдал, — это все ложь. Ваше сердце должно по праву принадлежать мне! Padre, нет таких мук, каких я не испытал из-за вас. Если бы вы только знали, что я пережил! И все-таки мне не хотелось умирать. Я перенес все и закалил свою душу терпением, потому что стремился вернуться сюда и вступить в борьбу с вашим богом. Эта цель была моим щитом, им я защищал свое сердце, когда мне грозили безумие и смерть. И вот теперь, вернувшись, я снова вижу на моем месте лжемученика, того, кто был пригвожден к кресту всего-навсего на шесть часов, а потом воскрес из мертвых. Padre, меня распинали год за годом пять лет, и я тоже воскрес! Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете?..

Голос у него оборвался. Монтанелли сидел не двигаясь, словно каменное изваяние, словно мертвец, поднятый из гроба. Лишь только Овод обрушил на него свое отчаяние, он задрожал, как от удара бичом, но теперь дрожь прошла, от нее не осталось и следа.

Они долго молчали. Наконец Монтанелли заговорил безжизненно-ровным голосом:

— Артур, объясни мне, чего ты хочешь. Ты пугаешь меня, мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь?

Овод повернул к нему мертвенно-бледное лицо:

— Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбирать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите его больше, будьте с ним.

— Я не понимаю тебя, — устало сказал Монтанелли. — О каком выборе ты говоришь? Ведь прошлого изменить нельзя.

— Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и пойдемте со мной.

Мои друзья готовят новый побег, и в ваших силах помочь им. Когда же мы будем по ту сторону границы, признаите меня публично своим сыном. Если же в вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный кумир вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но тогда уходите сейчас же, избавьте меня от пытки видеть вас! Мне и так тяжело.

Монтанелли поднял голову, слабая дрожь пробежала по его телу. Он начинал все понимать...

— Хорошо, я снесусь с твоими друзьями. Но... идти с тобой мне нельзя... я священник.

— А от священника я не приму милости. Не надо больше, *padre*, сделок с совестью. Довольно их с меня, довольно и последствий, к которым они ведут. Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня.

— Как я откажусь от тебя, Артур! Как я откажусь от тебя!

— Тогда оставьте своего бога! Выбирайте — он или я. Неужели вы поделите вашу любовь между нами: половину мне, а половину богу? Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной.

— Артур, Артур! А ты... неужели ты хочешь разбить мое сердце надвое. Неужели ты доведешь меня до безумия?

Овод удариł рукой по стене.

— Выбирайте между нами,— повторил он.

Монтанелли достал спрятанный на груди маленький медальон со смятой стершейся бумажкой.

— Смотри,— сказал он.

Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный кумир, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Овод засмеялся и вернул ему записку:

— Вот что значит д-девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им кумира кажется таким легким делом. А теперь я сам попал под молот. Ну а вы еще найдете немало людей, которым можно лгать, не боясь, что они изобличат вас.

— Как хочешь,—сказал Монтанелли.—Кто знает, может быть, и я на твоем месте был бы так же беспощаден. Я не могу сделать то, чего ты требуешь, Артур, но то, что

в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, со мной произойдет несчастный случай в горах или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Выбирай... согласен ли ты на это? Ничего другого я не могу сделать. Это большой грех, но я надеюсь, господь простит меня. Он милосерднее...

Овод протянул к нему руки:

— О, это слишком! Это слишком! Что я вам сделал, что вы так думаете обо мне? Точно я собираюсь мстить! Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь?

Он схватил руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемешку со слезами.

— Padre, пойдемте с нами! Что у вас общего с этим мертвым скопищем кумиров и священников? Ведь они — прах ушедших веков! Они прогнили насеквоздь, от них веет тленом! Уйдите от чумной заразы церкви — я уведу вас в светлый мир. Padre, мы — жизнь и молодость, мы — вечная весна, мы — будущее человечества! Заря близко, padre, — неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь, и забудем страшные сны! Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново! Padre, я всегда любил вас, всегда! Даже в ту минуту, когда вы нанесли мне смертельный удар! Неужели вы убьете меня еще раз?

Монтанелли вырвал свои руки из рук Овода.

— Господи, смируйся надо мной! — воскликнул он.— Артур, у тебя те же глаза, что у твоей матери!

Наступило внезапно глубокое, долгое молчание.

Они глядели друг на друга в сером полумраке, и сердца их стыли от ужаса.

— Скажи мне что-нибудь, — прошептал Монтанелли.— Подай хоть какую-нибудь надежду!

— Нет. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, я нож! Давая мне жизнь, вы освящаете нож.

Монтанелли повернулся к распятию:

— Господи! Ты слышишь?..

Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Злой демон снова проснулся в Оводе.

— Г-громче зовите! Может быть, он спит.

Монтанелли выпрямился, будто его ударили. Минуту он глядел прямо перед собой. Потом опустился на край

койки, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод вздрогнул всем телом и весь облился холодным потом. Он понял, что значат эти слезы.

Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. Разве не довольно того, что ему придется умереть,— ему, полному сил и жизни! Но рыданий нельзя было заглушить. Они раздавались у него в ушах, проникали в мозг, в кровь. Монтанелли плакал, и слезы струились у него сквозь пальцы.

Наконец он умолк и, словно ребенок, вытер глаза платком. Платок упал с его колен на пол.

— Нам не о чем больше говорить,— сказал он.— Ты понял меня?

— Да, понял,— бесстрастно проговорил Овод.— Это не ваша вина. Ваш бог голоден, и его надо накормить.

Монтанелли повернулся к нему. И наступившее молчание было глубже молчания могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них. Молча глядели они друг другу в глаза, словно влюбленные, которых разлучили насильно и которым не переступить поставленной между ними преграды.

Первый опустил глаза Овод. Он поник всем телом, пряча лицо, и Монтанелли понял, что это значит: «Уходи». Он повернулся и вышел из камеры.

Минута, и Овод вскочил с койки!

— Я не вынесу этого! Padre, вернитесь! Вернитесь!

Дверь захлопнулась. Медленно обвел он пустым взглядом стены камеры, понимая, что все кончено. Галилеянин победил.

Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава,— трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударами заступа. И всю ночь напролет рыдал Овод, лежа один, в темноте...

ГЛАВА VII

Во вторник утром происходил военно-полевой суд. Он продолжался недолго. Это была лишь пустая формальность, занявшая не больше двадцати минут. Да много времени и не требовалось. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненые сыщик и офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен:

Монтанелли дал неофициальное согласие, которого от него добивались. Судьям—полковнику Феррари, драгунскому майору и двум офицерам папской гвардии,—существенно, нечего было делать. Прочли обвинительный акт, свидетели дали показания, приговор скрепили подписями и с соответствующей торжественностью прочли осужденному. Он выслушал его молча и на предложение воспользоваться, согласно судебной процедуре, правом подсудимого на последнее слово только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и плакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо у него было бледное и безжизненное, глаза все еще хранили следы слез. Слова «к расстрелу» мало подействовали на него. Когда он услыхал их, зрачки его расширились — и только.

— Отведите осужденного в камеру,—приказал полковник, когда все формальности были закончены.

Сержант, едва сдерживая слезы, тронул за плечо неподвижную фигуру. Овод чуть вздрогнул и обернулся.

— Ах да! — промолвил он.— Я и забыл.

На лице полковника промелькнуло нечто похожее на жалость. Полковник был не такой уж злой человек, и роль, которую ему приходилось играть последние недели, смущала его самого. И теперь, поставив на своем, он был готов пойти на маленькие уступки.

— Наручники можно не надевать,—сказал он, посмотрев на распухшие руки Овода.— Отведите его в прежнюю камеру.— И добавил, обращаясь к племяннику: — Та, в которой полагается сидеть приговоренным к смертной казни, чересчур уж сырья и мрачная! Стоит ли соблюдать пустые формальности!

Полковник смущенно кашлянул, переступил с ноги на ногу и вдруг окликнул сержанта, который уже выходил с Оводом из зала суда:

— Подождите, сержант! Мне нужно поговорить с ним.

Овод не двинулся. Казалось, голос полковника не коснулся его слуха.

— Если вы хотите передать что-нибудь вашим друзьям или родственникам... Я полагаю, у вас есть родственники?

Ответа не последовало.

— Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я позабочусь, чтобы ваше поручение было исполнено... Впрочем, лучше передайте его священнику. Он проведет с вами всю ночь. Если у вас есть еще какое-нибудь желание...

Овод поднял глаза:

— Скажите священнику, что я хочу побывать один. Друзей у меня нет, поручений — тоже.

— Но вам нужна исповедь.

— Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.

Он сказал это ровным голосом, без вызова, без тени раздражения, и медленно пошел к выходу. Но в дверях снова остановился:

— Впрочем, вот что, полковник. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра мне оставили руки свободными и не завязывали глаза. Я буду стоять совершенно спокойно.

В среду на восходе солнца Овода вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обычного; он с трудом передвигал ноги, тяжело опираясь на руку сержанта. Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Ужас, давивший в ночной тишине, сновидения, перенесившие его в мир теней, исчезли вместе с ночью, которая породила их. Как только засияло солнце и Овод встретился лицом к лицу со своими врагами, боевой дух вернулся к нему, и он уже ничего не боялся.

Против увитой плющом стены выстроились шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой Овод спускался в ночь своей неудачной попытки побега. Солдаты, стоявшие с карабинами в руках, едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить Овода. Этот человек с его острым языком, с его смехом и светлым, заразительным мужеством, как солнечный луч, озарил их серую, однообразную жизнь, и то, что он должен теперь умереть — умереть от их рук, — казалось им равносильным тому, как если бы померкли все ясные небесные звезды.

Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки, и слезы

падали на лопаты. Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, наслаждаясь запахом свежевскопанной земли.

Возле дерева сержант остановился. Овод посмотрел по сторонам, улыбнувшись самой веселой своей улыбкой.

— Стать здесь, сержант?

Тот молча кивнул. Точно комок застрял у него в горле; он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. На дворе уже собирались все: полковник Феррари, его племянник, лейтенант, командующий отрядом, врач и священник. Они вышли вперед, стараясь не терять достоинства под вызывающе-веселым взглядом Овода.

— Здравствуйте, г-господа! А, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час!.. Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее, чем прошлая, не правда ли? Я вижу, рука у вас еще забинтована. Все потому, что я тогда дал промах. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело... Не так ли, друзья? — Он окинул взглядом хмурые лица солдат.— На этот раз бинтов не понадобится. Ну-ну, почему же у вас такой унылый вид? Смирно! И покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что не знаю, справитесь ли вы с ней. Нужно поупражняться заранее...

— Сын мой! — прервал его священник, выходя вперед; другие отошли, оставив их одних.— Скоро вы предстанете перед вашим творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для покаяния. Подумайте, умоляю вас, как страшно умереть без молитвы — вам, великому грешнику. Когда вы предстанете перед лицом вашего судии, тогда уже поздно будет раскаиваться. Неужели вы приблизитесь к престолу его с шуткой на устах?

— С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы сами нуждаетесь в небольшом поучении. Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не какие-то жалкие карабины, и тогда вы увидите, шутка ли это.

— Пушки! Несчастный! Неужели вы не понимаете, какая бездна вас ждет?

Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу:

— Итак, в-ваше преподобие думает, что, когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной? Может

быть, даже на мою могилу положат сверху камень, чтобы помешать в воскресению «через три дня»? Не бойтесь, ваше преподобие! Я не намерен нарушать вашей монополии на дешевые чудеса. Буду лежать смирно, как мышь, там, где меня положат. А все же мы пустим в ход пушки!

— Боже милосердный! — воскликнул священник.— Прости несчастному!

— Аминь,— произнес лейтенант глубоким басом, а полковник Феррари и его племянник набожно перекрестились.

Было ясно, что увещания ни к чему не приведут. Священник отказался от дальнейших попыток и отошел в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Короткие, простые приготовления прошли без задержек, и Овод стал у края могилы, обернувшись только на миг в сторону красно-желтого великолепия восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаз, и, встретив егозывающий взгляд, полковник нехотя согласился. Они оба забыли о том, как это должно действовать на солдат.

Овод с улыбкой посмотрел на них. Руки, державшие карабины, дрогнули.

— Я готов,— сказал он.

Лейтенант, волнуясь, выступил вперед. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора.

— Готовься!.. Цельсь! Пли!

Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, пущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Кровь струйкой потекла на белый воротник. Другая попала в ногу выше колена. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит, по-прежнему улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки.

— Плохо стреляете, друзья! — сказал Овод, и его ясный, отчетливый голос резанул по сердцу оцепеневших солдат.— Попробуйте еще раз!

Ропот и движение пробежали по шеренге. Каждый карабинер целился в сторону, втайной надежде, что смертельная пуля будет пущена рукой соседа, а не его собственной. А Овод по-прежнему стоял и улыбался им. Предстояло начать все снова; они лишь превратили казнь в ненужную пытку. Солдат охватил ужас. Опустив карабин,

ны, они слушали неистовую брань офицеров и в отчаянии смотрели на человека, застреленного ими и все еще живого.

Полковник потрясал кулаком перед их лицами, сам выкрикивал команду, торопил. Он тоже был деморализован и не смел взглянуть на человека, который стоял как ни в чем не бывало и не собирался падать. Когда Овод заговорил, он вздрогнул, испугавшись звука этого насмешливого голоса.

— Вы прислали на расстрел новобранцев, полковник! Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь получится... Ну, молодцы! На левом фланге, держать ружье выше! Это карабин, а не сковородка! Ну, теперь — готовься!.. Цельсь!

— Пли! — крикнул полковник, бросаясь вперед.

Нельзя былостерпеть, чтобы этот человек сам командовал своим расстрелом.

Еще несколько беспорядочных выстрелов, и солдаты сбились в кучу, дико озираясь по сторонам. Один совсем не выстрелил. Он бросил карабин и, припав к земле, бормотал:

— Я не могу, не могу!

Дым медленно растаял, всплыл вверх к ярким утренним лучам. Они увидели, что Овод упал; увидели и то, что он еще жив. Первую минуту солдаты и офицеры стояли как в столбняке, глядя на то страшное, что в предсмертных корчах билось на земле. Врач и полковник с криком кинулись к Оводу, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел на солдат и опять смеялся.

— Второй промах! Попробуйте... еще раз, друзья! Может быть...

Он пошатнулся и упал боком на траву.

— Умер? — тихо спросил полковник.

Врач опустился на колени и, положив руку на залитую кровью сорочку Овода, ответил:

— Кажется, да... Слава богу!

— Слава богу! — повторил за ним полковник. — Наконец-то.

Племянник тронул его за рукав:

— Дядя... кардинал! Он стоит у ворот и хочет войти сюда.

— Что? Нет, нельзя... Я этого не допущу! Чего смотрит караул? Ваше преосвященство...

Ворота распахнулись и снова закрылись. Монтанелли уже стоял во дворе, глядя прямо перед собой неподвижными, винчающими ужас глазами.

— Ваше преосвященство! Прошу вас... Вам нельзя смотреть... Приговор только что приведен в исполнение...

— Я пришел взглянуть на него,— сказал Монтанелли.

Даже в эту минуту полковника поразил голос и весь облик кардинала: он шел словно во сне.

— О господи! — крикнул вдруг один из солдат, и полковник быстро обернулся.— Не может быть...

Окровавленное тело опять корчилось на траве. Врач кинулся на землю рядом с умирающим и положил его голову к себе на колено.

— Скорее! — крикнул он.— Скорее, варвары! Прикончите его, ради бога! Это невыносимо!

Кровь ручьями стекала по его пальцам, и судороги тела, которое он держал в руках, отдавались в нем с головы до ног. Вне себя от гнева он оглянулся по сторонам, ища помощи. Священник нагнулся над умирающим и приложил распятие к его губам:

— Во имя отца и сына....

Овод приподнялся, опираясь о колено врача, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие.

Потом медленно среди глубокой леденящей тишины поднял простреленную правую руку и оттолкнул его. На лице Христа остался кровавый след.

— Padre... ваш бог... удовлетворен?

Его голова упала на руки врача.

— Ваше преосвященство!

Кардинал стоял не двигаясь, и полковник Феррари повторил громче:

— Ваше преосвященство!

Монтанелли поднял глаза:

— Он мертв?..

— Да, ваше преосвященство. Не уйти ли вам отсюда?.. Такое тяжелое зрелище...

— Он мертв,— повторил Монтанелли и снова посмотрел в лицо Оводу.— Я коснулся его — а он мертв....

— Чего же еще ждать, когда в человеке сидит десяток пуль! — презрительно прошептал лейтенант.

И врач сказал тоже шепотом:

— Кардинала, должно быть, взволновал вид крови.

Полковник решительно взял Монтанелли под руку:

— Ваше преосвященство, не смотрите на него. Позвольте капеллану проводить вас домой.

— Да... Я пойду.

Монтанелли медленно отвернулся от кровавой лужи и пошел прочь в сопровождении священника и сержанта. В воротах он остановился и бросил назад все тот же непонимающий, застывший, как у призрака, взгляд.

— Он мертвый...

Несколько часов спустя Марконе пришел в домик на склоне холма сказать Мартини, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.

Все приготовления ко второй попытке освободить Овода были закончены, ибо на этот раз план освобождения был много проще. Решили так: на следующее утро, когда процессия с телом господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперед из толпы, выхватит револьвер и выстрелит полковнику в лицо. В общей суматохе двадцать вооруженных контрабандистов бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, схватив надзирателя, уведут Овода, стреляя в тех, кто попытается помешать этому. От ворот рассчитывали отступать с боем, прикрывая отряд конных контрабандистов, которые вывезут Овода в надежное место в горах.

В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. Так хотел Мартини.

— Ее сердце не выдержит,— говорил он.

Когда контрабандист появился у калитки, Мартини отворил стеклянную дверь веранды и вышел ему навстречу:

— Есть новости, Марконе?

Марконе вместо ответа сдвинул на затылок свою широкополую соломенную шляпу.

Они сели на веранде. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Но Мартини достаточно было бросить взгляд на Марконе, чтобы понять все.

— Когда это случилось? — спросил он наконец.

Собственный голос показался ему таким же тусклым и унылым, как и весь мир.

— Сегодня на рассвете. Я узнал от сержанта. Он был там и все видел.

Мартини опустил глаза и снял ниточку, приставшую к рукаву. Суета сует. Вся жизнь полна суеты. Завтра он должен был умереть. А теперь желанная цель растаяла, как тают волшебные замки в закатном небе, когда на них надвигается ночная тьма. Он вернется в скучный мир — мир Галли и Грассини. Снова шифровка, памфлеты, споры из-за пустяков между товарищами, происки австрийских сыщиков. Будни, будни, нагоняющие тоску... А где-то в глубине его души — пустота, и эту пустоту теперь уже ничто и никто не заполнит, потому что Овода нет.

Он услышал голос Марконе и поднял голову, удивляясь, о чем же можно сейчас говорить.

— Простите?

— Я спрашиваю: вы, конечно, сами скажете ей об этом?

Жизнь со всеми ее горестями снова бросила отблеск на лицо Мартини.

— Нет, я не могу! — воскликнул он.— Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее. Как я скажу ей, как?

Мартини закрыл глаза руками. И, не открывая их, почувствовал, как вздрогнул контрабандист. Он поднял голову. Джемма стояла в дверях.

— Вы слышали, Чезаре? — сказала она.— Все кончено. Его расстреляли.

ГЛАВА VIII

— «Introibo ad altare Dei...»¹

Монтанелли стоял перед престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом, весь переливался красками. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка на колоннах, гирлянды цветов — нигде ни одного темного пятна. Над открытым настежь входом спускались тяжелые красные занавеси, пылавшие в жарких лучах июньского солнца, словно лепестки маков в поле. Обычно полуутемные боковые приделы были освещены

¹ «Припадем к престолу господню...» (лат.) — вступительные слова молитвы, которая называется «Introit».

свечами и факелами монашеских орденов. Там же высались кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых дверей тоже стояли хоругви; их шелковые складки ниспадали до земли, позолоченные кисти и древки ярко горели под темными сводами. Лившийся сквозь цветные стекла дневной свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела иискрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, украшений и огней выступала неподвижная фигура кардинала в белом облачении — словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь.

Обычай требовал, чтобы в дни процессий кардинал только присутствовал на обедне, но не служил. Кончив «*Indulgentiam*»¹, он отошел от престола и медленно двинулся к епископскому трону, провожаемый низкими поклонами священников и причта.

— Его преосвященство, вероятно, не совсем здоров,— шепотом сказал один каноник другому.— Он сегодня сам не свой.

Монтанелли склонил голову, и священник, возлагающий на него митру, усеянную драгоценными каменьями, прошептал:

— Вы больны, ваше преосвященство?

Монтанелли повернулся к нему вполоборота. Он словно не узнал его.

— Простите, ваше преосвященство,— пробормотал священник, преклонив колена, и отошел, укоряя себя за то, что прервал кардинала во время молитвы.

Служба шла обычным порядком. Монтанелли сидел прямой, неподвижный. Солнце играло на его митре, сверкающей драгоценностями, и на шитом золотом облачении. Тяжелые складки белой праздничной мантии ниспадали на красный ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на его груди. Но глубоко запавшие глаза кардинала оставались тусклыми, солнечный луч не вызывал в них ответного блеска. И когда в ответ на слова «*Benedicite, pater eminentissime*»² он наклонился благословить кадило и солнечные лучи зажгли его бриллианты,— казалось, это некий грозный дух снежных вершин, увенчанный радугой и облаченный в белоснежные по-

¹ Молитва об отпущении грехов.

² Благословите, высокопреосвященнейший отче (лат.).

кровы, простирает руки, расточая вокруг благословения, а может быть, и проклятия.

При выносе святых даров кардинал встал с трона и опустился на колени перед престолом. В плавности его движений было что-то странное, и, когда он поднялся и пошел назад, драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал, поворачиваясь к раненому капитану:

— Сдает старик кардинал, сдает! Смотрите: словно не живой человек, а машина.

— Тем лучше,— тоже шепотом ответил капитан.— С тех пор как была дарована эта проклятая амнистия, он висит у нас камнем на шее.

— Однако на военно-полевой суд он согласился.

— Да, наконец-то, но долго раздумывал... Господи боже, как душно! Нас всех хватит солнечный удар во время процессии, жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин... Ш-ш! Дядюшка на нас смотрит!

Полковник Феррари оглянулся и бросил строгий взгляд на молодых офицеров. Вчерашие важные события настроили его на весьма серьезный и благочестивый лад, и он был не прочь отчитать молодежь за легкомысленное отношение к тому, что по его понятиям являлось «соблюдением нелегкого долга перед государством».

Распорядители стали устанавливать по местам тех, кто должен был участвовать в процессии. Полковник Феррари поднялся и пошел к алтарю, знаком приглашая офицеров следовать за собой. Когда месса окончилась и святые дары поставили в хрустальный ковчег, духовенство удалилось в ризницу сменить облачение. Послышался сдержанный гул голосов. Монтанелли сидел, устремив вперед неподвижный взгляд, словно не замечая жизни, кипевшей вокруг и замиравшей у подножия его трона. Ему поднесли кадило, он поднял руку, как автомат, и, не глядя ни направо, ни налево, положил ладан в курильницу.

Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он сидел не двигаясь. Священник, который должен был принять от него митру, наклонился к нему и снова нерешительно проговорил:

— Ваше преосвященство!

Кардинал оглянулся:

— Что вы сказали?

— Может быть, вам лучше не участвовать в процессии? Солнце жжет немилосердно.

— Что мне до солнца!

Монтанелли проговорил это медленно, холодным тоном, и священнику снова показалось, что он недоволен им.

— Простите, ваше преосвященство. Я думал, вы не здоровы.

Монтанелли поднялся, ничего не ответив ему, и проговорил все так же медленно:

— Что это?

Край его мантии протянулся по ступенькам до алтаря, и он показывал на огненное пятно на белом атласе.

— Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.

— Солнечный луч? Такой красный?

Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его дьякону. Солнце легло цветными пятнами на обнаженную голову Монтанелли, ударило в широко открытые, обращенные вверх глаза и осветило багряным блеском белую мантию, складки которой расправляли священники.

Дьякон подал ему золотой ковчег, и он поднялся с колен под торжественную мелодию хора и органа.

Pange, lingua, gloriosi
Согори mysterium,
Sanguinisque pretiosi
Quem in mundi pretium,
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium¹.

Прислужники медленно подошли к нему, подняли над ним шелковый балдахин; дьяконы стали справа и слева и откинули назад длинные складки его мантии. И когда служки подняли мантию, мирские общины, возглавляющие процессию, вышли на середину собора и с зажженными свечами, по двое в ряд двинулись к порталу.

¹ Славь, язык, святую тайну:

Тело славь пречистое,
Кровь бесценную, благую —
Мира искупление, —
Кою пролил царь наш — чрева
Плод благословенного (лат.).

Монтанелли неподвижно стоял у престола под белым балдахином, твердой рукой держа святые дары и глядя на проходящую мимо процессию. По двое в ряд люди медленно спускались по ступенькам со свечами, факелами, крестами, хоругвями и, минуя убранные цветами колонны, выходили из-под раздвижной красной занавеси над порталом на залитую солнцем улицу. Звуки пения постепенно замирали вдали, переходя в неясный гул, а позади раздавались все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и под сводами собора долго не затихали шаги.

Шли прихожане в белых саванах, с закрытыми лицами; братья ордена милосердия в черном с головы до ног, в масках, сквозь прорези которых поблескивали их глаза. Торжественно выступали монахи; нищенствующие братья, загорелые, босые, в темных капюшонах; суровые доминиканцы в белых сутанах. За ними— представители военных и гражданских властей: драгуны, карабинеры, чины местной полиции и полковник в парадной форме со своими офицерами. Шествие замыкали дьякон, несший большой крест, и двое прислужников с зажженными свечами. И когда занавеси у портала подняли выше, Монтанелли на мгновение увидел со своего места под балдахином залитую солнцем, устланную коврами улицу, флаги на домах и одетых в белое детей, которые разбрасывали розы по мостовой. Розы! Какие они красные!

Процессия двигалась медленно, в строгом порядке. Одеяния и краски менялись поминутно. Длинные белые стихари уступали место пышным облачениям, расшитым золотом ризам. Вот высоко над пламенем свечей проплыл тонкий золотой крест. Потом показались соборные каноники, все в мертвенно белом. Капеллан нес епископский посох, по бокам его прислужники держали два пылающих факела, мальчики шагали в ногу, помахивая кадилами в такт музыке. Прислужники подняли балдахин выше, отсчитывая вполголоса шаги: «Раз, два, раз, два»,— и Монтанелли открыл крестный ход.

Он спустился на середину собора, прошел под хорами, откуда неслись торжественные раскаты органа, потом под занавесью у входа — такой нестерпимо красной! — и ступил на сверкающую в лучах солнца улицу. Растроптаные кроваво-красные розы красным ковром лежали у него под ногами. Минутная остановка в две-

рях — представители светской власти сменили прислужников у балдахина,— и процессия снова двинулась, и он тоже идет вперед, сжимая в руках ковчег со святыми дарами. Голоса певчих то широко разливаются, то замирают вокруг него, и в такт пению — покачивание кадил, в такт пению — мерная людская поступь.

Verbum caro, rapet verum,
Verbo carnem efficit;
Sitque sanguis Christi mecum...¹

Кровь, всюду кровь! Ковер — точно красная река, розы на камнях — точно пятна разбрызганной крови!.. Боже милосердный! Неужто небо твое и твоя земля залиты кровью? Но что тебе до этого — тебе, чьи губы обагрены ею!

Tantum ergo Sacramentum,
Veneremur cernui².

Он взглянул на причастие за хрустальной стенкой ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами и медленно каплет на его белое облачение? Что же вот так же капало с взметнувшейся вверх руки?..

Трава на крепостном дворе была помятая и красная... вся красная... так много было крови. Она стекала с лица, капала из простреленной правой руки, хлестала горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью... волосы лежали на лбу мокрые и спутанные... это предсмертный пот выступил от невыносимой боли.

Торжественное пение разливалось волной:

Genitori, genitoque,
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio³.

¹ Слово стало плотью, стало
Слово хлебом истины;
Кровь в вино да претворится... (лат.).

² Будем чтить его, смиренно,
В прахе распростертые (лат.).

³ И творцу хвала и сыну —
Господа творению, —
Мир, и честь, и мощь, и слава,
И благословение! (лат.)

Нет сил это вынести! Боже! Ты восседаешь на небесах и взираешь на земные мучения и улыбаешься окровавленными губами. Неужели тебе этого мало? Зачем еще издевательские славословия и хвалы! Тело Христово, истерзанное во спасение людей, кровь Христова, пролитая для искупления их грехов! И этого мало?

Ты спиши, возлюбленный сын мой, и больше не проснешься? Неужели могила так ревниво охраняет свою добычу? Неужели черная яма под деревом не отпустит тебя хоть ненадолго, радость сердца моего?

И тогда из-за хрустальной стенки ковчега послышался голос, и пока он говорил, кровь капала, капала...

«Выбор сделан. Станешь ли ты раскаиваться в нем! Разве желание твое не исполнилось? Взгляни на этих людей, разодетых в шелка и парчу и шествующих в ярком свете дня,— ради них я лег в темную гробницу. Взгляни на детей, разбрасывающих розы, прислушайся к их сладостным голосам — ради них наполнились уста мои прахом, а розы эти красны, ибо они впитали кровь моего сердца. Видишь — люди преклоняют колена, чтобы испить крови, стекающей по складкам твоей одежды. Эта кровь была пролита за него, так пусть же он утолит свою жажду. Ибо сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Артур! Артур! А если кто положит жизнь за возлюбленного сына своего? Не больше ли такая любовь?

И снова послышался голос из ковчега:

«Кто он, возлюбленный сын твой? Воистину, это не я!»

И он хотел ответить, но слова застыли у него на устах, потому что голоса певчих пронеслись над ним, как северный ветер над ровной гладью:

Dedit fragilibus corporis ferculum,
Dedit et tristibus sanguinis poculum,
Dicens: Accipite, quod trado vasculum
Omnes ex eo bibite¹.

Пейте же! Пейте из чаши все! Разве эта кровь не ваше достояние? Для вас красный поток залил траву,

¹ Подал он слабым опору надежную,
Подал скорбящим из крови он питие,
Молвив: Примите сосуд сей из рук моих,
Пейте влагу багряную (лат.).

для вас изувечено и разорвано на куски живое тело! Вкусите от него, людоеды, вкусите от него все! Это ваш пир, это день вашего торжества! Торопитесь же на праздник, примкните к общему шествию! Женщины и дети, юноши и старики, получите свою долю живой плоти. Приблизьтесь к текущему ручьем кровавому вину и пейте, пока оно красное! Примите и вкусите от тела...

Боже! Вот и крепость. Угрюмая, темная, с полуразрушенной стеной и башнями, она чернеет среди голых гор и сурово глядит на процессию, которая тянется внизу, по пыльной дороге. Ворота ее ощерились железными зубьями решетки. Словно зверь, припавший к земле, подкарауливает она свою добычу. Но как ни крепки эти железные зубья, их разожмут и сломают, и могила на крепостном дворе отдаст своего мертвца. Ибо сонмы людские текут на священный пир крови, как полчища голодных крыс, которые спешат накинуться на колосья, оставшиеся в поле после жатвы. И они кричат: «Дай, дай!» И никто из них не скажет: «Довольно!»

«Тебе все еще мало? меня принесли в жертву ради этих людей. Ты погубил меня, чтобы они могли жить. Видишь, они идут, идут, и ряды их сомкнуты.

Это воинство твоего бога — несметное, сильное. Огонь бушует на его пути и идет за ним следом. Земля на его пути как райский сад,— пройдет воинство и оставит после себя пустыню. И ничто не уцелеет под его тяжкой поступью».

И все же я зову тебя, возлюбленный сын мой! Вернись ко мне, ибо я раскаиваюсь в своем выборе. Вернись! Мы уйдем с тобой и ляжем в темную, безмолвную могилу, где эти кровожадные полчища не найдут нас. Мы заключим друг друга в объятия и уснем — уснем надолго. Голодное воинство пройдет над нами при безжалостном свете дня, и когда оно будет выть, требуя крови, чтобы утолить жажду, и плоти, чтобы насытиться, его вопли едва коснутся нашего слуха и не потревожат нашего покоя.

И голос снова ответил ему:

«Где же я укроюсь? Разве не сказано: «Будут бегать по городу, подниматься на стены, влезать на дома, входить в окна, как воры»? Если я сложу себе гробницу на склоне горы, разве ее не раскидают камень за камнем? Если я вырою могилу на дне речном, разве ее не раскопа-

ют? Истинно, истинно говорю тебе: они, как псы, гонятся за добычей, и мои раны сочатся кровью, чтобы им было чем утолить жажду. Разве ты не слышишь их песнопений?»

Процессия кончилась; все розы были разбросаны по мостовой и, проходя под красными занавесями в двери собора, люди пели:

Ave, verum Corpus, patum
De Maria Virgine:
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine!
Cujus latus perforatum
Undam fluxit cum sanguinae;
Esto nobis praeagustum
Mortis in examinae¹.

И когда пение стихло, кардинал прошел в собор между двумя рядами монахов и священников, стоявших на коленях с воздетыми вверх зажженными свечами. И он увидел их глаза, жадно устремленные на ковчег, который был у него в руках, и понял, почему они склоняют голову, ибо по складкам его белой мантии бежали алые струйки и на каменных плитах собора его ноги оставляли кровавые следы.

Он подошел к алтарю, и там те, кто держал балдахин, остановились, и, выйдя из-под него, он поднялся вверх по ступенькам. Справа и слева от алтаря стояли коленопреклоненные мальчики с кадилами и капелланы с горящими факелами, и в их глазах, обращенных на тело искупителя, поблескивали жадные огоньки.

И когда он стал перед алтарем и воздел свои запятнанные кровью руки с поруганным, изувеченным телом возлюбленного сына своего, голоса гостей, созванных на пасхальный пир, снова слились в общем хоре:

Oh salutaris Hostia,
Quae coeli pandis ostium;

¹ Радуйся, ликий, о тело,
Девою рожденное,
В искупленье человеков
На кресте распятое!
Кровь твоя волной струилась
Из бока пронзенного, —
Да вкусим ее в последнем
Смертном причащении (лат.).

Bella praemunt hostilia,
Da robur, fer auxilium¹.

А сейчас тело унесут... Иди, любимый, исполни, что предначертано тебе, и распахни райские врата перед этими ненасытными. Передо мной же распахнутся врата ада.

Дьякон поставил священный сосуд на алтарь, а он преклонил колена, и с алтаря на его обнаженную голову капля за каплей побежала кровь. Голоса певчих звучали все громче и громче, будя эхо под высокими сводами собора:

Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria².

«Sine termino... sine termino!» О Иисус, счастлив были ты, когда мог пасть под тяжестью креста! Счастлив были ты, когда мог сказать: «Свершилось!» Мой же путь бесконечен, как путь звезд в небесах. И там, в геенне огненной, меня ждет червь, который никогда не умрет, и пламя, которое никогда не угаснет. «Sine termino... sine termino!»

Устало, терпеливо проделал кардинал оставшуюся часть церемонии, машинально выполняя привычный ритуал, потерявший теперь для него всякий смысл. Потом, после благословения, опять преклонил колена перед алтарем и закрыл руками лицо. Голос священника, читающего молитву об отпущении грехов, доносился до него, как дальний отзвук того мира, к которому он больше не принадлежал.

Но вот голос умолк. Кардинал встал и протянул руку, призывая к молчанию. Те, кто уже пробирался к дверям, вернулись обратно. По собору пронесся шепот: «Его преосвященство будет говорить».

¹ О гостия спасения,
Ты — неба предвкушение;
От злого утеснения
Пошли нам заступление.

² Единому в грех — господу
Да будет слава вечная:
Он жизнь нам беспредельную
Дарует в общем царствии.

Священники переглянулись в изумлении и ближе при-
двинулись к нему; один из них спросил шепотом:

— Ваше преосвященство намерены говорить с наро-
дом?

Монтанелли молча отстранил его рукой. Священни-
ки отступили, перешептываясь. Проповеди в этот день
не полагалось, это противоречило всем обычаям, но
кардинал мог поступить по своему усмотрению. Он, ве-
роятно, объявит народу что-нибудь важное: новую
реформу, исходящую из Рима, или послание святого
отца.

Со ступенек алтаря Монтанелли взглянул вниз, на мо-
ре человеческих лиц. С жадным любопытством глядели
они на него, а он стоял над ними неподвижный, похо-
жий на призрак в своем белом облачении.

— Тише! Тише! — негромко повторяли распорядите-
ли, и рокот голосов постепенно замер, как замирает по-
рыв ветра в вершинах деревьев. Все смотрели на непод-
вижную фигуру, стоявшую на ступеньках алтаря. И вот
в мертвой тишине раздался отчетливый, мерный голос
кардинала:

— В Евангелии от святого Иоанна сказано: «Ибо так
возлюбил бог мир, что отдал сына своего единородного,
дабы мир спасен был через него».

Сегодня у нас праздник тела и крови искупителя, по-
гибшего ради вас, агнца божия, принявшего на себя
грехи мира, сына господня, умершего за ваши прегреше-
ния. И вы собрались здесь, чтобы вкусить от жертвы,
принесенной вам, и возблагодарить за это бога. Я знаю,
что утром, когда вы шли вкусить от тела искупителя,
сердца ваши были исполнены радости, и вы вспоминали о
муках, перенесенных богом-сыном, умершим ради ваше-
го спасения.

Но кто из вас подумал о страданиях бога-отца, кото-
рый дал распять на кресте своего сына? Кто из вас
вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу с высо-
ты своего небесного трона?

Я смотрел на вас сегодня, когда вы шли торжествен-
ной процессией, и видел, как ликовали вы в сердце своем,
что отпустятся вам грехи ваши, и радовались своему спа-
сению. И вот я прошу вас: подумайте, какой ценой оно
было куплено. Велика его цена! Она превосходит цену
рубинов, ибо она цена крови...

Легкий трепет пробежал по внимавшим ему людям. Священники, стоявшие в алтаре, перешептывались между собой, подавшись вперед. Но кардинал заговорил снова, и они умолкли.

— Поэтому говорю вам сегодня. Я есмь сущий. Я глядел на вас, на вашу немощность и ваши печали и на малых детей, играющих у ног ваших. И душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть. Потом я заглянул в глаза возлюбленного сына моего и увидел в них искушение кровью. И я пошел своей дорогой и оставил его нести свой крест.

Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его; он умер и не воскреснет; он умер, и нет у меня сына. О мой мальчик, мой мальчик!

Из груди кардинала вырвался долгий жалобный стон, и его, словно эхо, подхватили голоса испуганных людей. Священники встали со своих мест, дьяконы подошли к кардиналу и взяли его за руки. Но он вырвался и сверкнул на них глазами, как разъяренный зверь:

— Что это? Разве не довольно еще крови? Подождите своей очереди, шакалы! Вы тоже насытитесь!

Они попятились от него и сбились в кучу, прерывисто дыша, бледные, дрожащие. Он снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой сейчас пролетит вихрь.

— Вы убили, убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми славословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь, раскаиваюсь в своем безумстве! Лучше бы вы погрязли в пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить. Стоят ли ваши зачумленные души, чтобы за спасение их было заплачено такой ценой? Но поздно, слишком поздно! Я кричу, а он не слышит меня. Стучусь у его могилы, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор с залитой кровью земли, где зарыт свет очей моих, к страшным, пустым небесам. И отчаяние овладевает мной. Я отрекся от него, отрекся от него ради вас, порождения ехидны!

Так вот оно, ваше спасение! Берите! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! За пир уплачено. Так придите, ешьте досыта, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвчиной! Смотрите: вон

со ступенек алтаря течет горячая, дымящаяся кровь! Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же ее, вымажьте себе лицо этой кровью! Деритесь за тело, рвите его на куски... и оставьте меня! Вот тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все еще трепещет в нем жизнь, все еще бьется оно в предсмертных муках! Возьмите же его, христиане, и ешьте!

Он схватил ковчег со святыми дарами, поднял его высоко над головой и с размаху бросил на пол. Металл зазвенел о каменные плиты. Духовенство толпой ринулось вперед, и сразу двадцать рук схватили безумца.

И только тогда напряженное молчание народа разрешилось неистовыми, истерическими воплями. Опрокидывая стулья и скамьи, сталкиваясь в дверях, давя друг друга, обрывая занавеси и гирлянды, рыдающие люди хлынули на улицу.

ЭПИЛОГ

— Джемма, вас кто-то спрашивает внизу.

Мартини произнес эти слова тем сдержаным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение последних десяти дней. Этот тон да еще ровность и медлительность речи и движений были единственными проявлениями их горя.

Джемма в переднике и с засученными рукавами раскладывала на столе маленькие свертки с патронами. Она занималась этим с самого утра, и теперь, в лучах ослепительного полдня, было видно, как осунулось от усталости ее лицо.

— Кто там, Чезаре? Что ему нужно?

— Я не знаю, дорогая. Он мне ничего не захотел говорить. Просил только передать, что ему надо повидать вас наедине.

— Хорошо.—Она сняла передник и спустила рукава.—Нечего делать, надо выйти к нему. Наверно, это просто сыщик.

— Я буду в соседней комнате. В случае чего кликните меня. А когда отделаетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах.

— Нет, нет! Я лучше буду работать.

Джемма медленно спустилась по лестнице. Мартини молча шел следом за ней.

За эти дни Джемма состарилась на десять лет. Едва заметная раньше седина теперь выступала у нее широкой прядью. Она почти не поднимала глаз, но если Мартини удавалось случайно поймать ее взгляд, он содрогался от ужаса.

В маленькой гостиной стоял навытяжку незнакомый человек. Взглянув на его неуклюжую фигуру и испуганные глаза, Джемма догадалась, что это солдат швейцарской гвардии; на нем была крестьянская блузка, очевидно, с чужого плеча. Он озирался по сторонам, словно боясь, что его вот-вот накроют.

— Вы говорите по-немецки? — спросил он.

— Немного. Мне передали, что вы хотите видеть меня.

— Вы синьора Болла? Я принес вам письмо.

— Письмо? — Джемма вздрогнула и оперлась рукой о стол.

— Я из охраны, вон оттуда.— Солдат показал в окно на холм, где виднелась крепость.— Письмо это от казненного на прошлой неделе. Он написал его в последнюю ночь перед расстрелом. Я обещал ему передать письмо вам в руки.

Она склонила голову. Все-таки написал...

— Потому-то я так долго и не приносил,— продолжал солдат.— Он просил передать вам лично. А я не мог раньше выбраться — за мной следили. Пришлось передеяться.

Солдат пошарил за пазухой. Стояла жаркая погода, и сложенный листок бумаги, который он вытащил, был не только грязен и смят, но и весь промок от пота. Солдат неловко переступил с ноги на ногу. Потом почесал в затылке.

— Вы никому не расскажете? — робко проговорил он, окидывая ее недоверчивым взглядом.— Я пришел сюда, рискуя жизнью:

— Конечно, нет! Подождите минутку.

Солдат уже повернулся к двери, но Джемма, остановив его, протянула руку за кошельком. Оскорбленный, он попятился назад и сказал грубо:

— Не нужно мне ваших денег. Я сделал это ради него — он просил меня. Ради него я пошел бы и на большее. Он был очень добрый человек...

Джемма уловила легкую запинку в его голосе и подняла глаза. Солдат вытирая слезы грязным рукавом.

— Мы не могли не стрелять,— продолжал он полушипом.— Мы люди подневольные. Дали промах... а он стал смеяться над нами. Назвал нас новобранцами. Пришлось стрелять второй раз. Он был очень добрый человек...

Наступило долгое молчание. Солдат выпрямился, неловко отдал честь и вышел.

Несколько минут Джемма стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села у открытого окна и стала читать.

Письмо, написанное очень убористо карандашом, местами нелегко было прочесть. Но первые два слова, английские, сразу бросились ей в глаза:

Дорогая Джим!

Строки вдруг расплылись у нее перед глазами, подернулись туманом. Она опять потеряла его. Опять потеряла! Детское прозвище заставило Джемму заново почувствовать эту утрату, и она протянула перед собой руки в бессильном отчаянии, словно земля, лежавшая на нем, всей тяжестью, навалилась ей на грудь.

Потом снова взяла листок и стала читать:

Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все, и если уж исполнять это обещание, то откладывать больше нельзя. Впрочем, стоит ли пускаться в длинные объяснения? Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми.

Итак, моя дорогая, вы видите, что незачем вам было терзать свое сердце из-за той старой истории с пощечиной. Мне было тяжело перенести это. Но потом я получил немало других таких же пощечин и все стерпел. Кое за что даже отплатил. И сейчас я, как рыбка в нашей детской книжке (забыл ее название), «жив и бью хво-

стом», — правда, в последний раз... А завтра утром — *l'initia la Commedia*¹. Для вас и для меня это значит: цирковое представление окончилось. Воздадим благодарность богам хотя бы за эту милость. Она невелика, но все же это милость. Мы должны быть признательны и за нее и за другие благодеяния.

А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы и Мартини знали, что я совершенно счастлив и спокоен и что мне нечего больше просить у судьбы. Передайте это Мартини как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ... Он поймет. Я знаю, дорогая, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, косящие люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что если вы, живые, будете держаться вместе, будете разить врагов, вам предстоит увидеть великие события. А я выйду завтра во двор с радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на каникулы. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю страх. А чего же еще может желать человек?

Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Тот, кто идет умирать, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был так груб с вами и не мог забыть старые счеты.

Вы, впрочем, и сами все понимаете, и я напоминаю об этом только потому, что мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и заплетали косичку. Я и теперь люблю вас. Помните, я поцеловал вашу руку, и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды, и оба раза без вашего согласия.

Вот и все. Прощайте, моя дорогая!

Подписи не было. Вместо нее Джемма увидела стишок, который они учили вместе еще детьми:

¹ Представление окончено (итал.).

*Счастливой мошкою
Летаю,
Живу ли я
Иль умираю.*

Полчаса спустя в комнату вошел Мартини, и, нарушив многолетнее молчание, уронил листок, который был у него в руках, и порывисто обнял ее:

— Джемма! Что такое? Боже мой! Не надо плакать, ведь вы никогда не плачете! Джемма! Джемма! Дорогая, любимая моя!

— Ничего, Чезаре. Я расскажу потом... Сейчас не могу.

Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо, отошла к окну и выглянула на улицу, пряча от Мартини лицо. Он замолчал, закусив губы. Первый раз за все эти годы он, точно мальчишка, выдал себя, а она даже ничего не заметила.

— В соборе ударили в колокол,— сказала Джемма, овладев собой, и повернулась к нему.— Должно быть, кто-то умер.

— Вот это-то я и хочу показать вам,— спокойно ответил Мартини.

Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой:

Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньер Лоренцо Монтанелли скоропостижно скончался в Равенне от разрыва сердца.

Джемма быстро взглянула на Мартини, и он, пожав плечами, ответил на ее невысказанную мысль:

— Что же вы хотите, мадонна? Разрыв сердца — разве это плохое объяснение? Оно не хуже других.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В телефонном справочнике нью-йоркского района Манхэттен, где английская писательница прожила многие годы, Этель Лилиан Войнич значилась по имени покойного мужа — Вильфред М. Войнич. И если бы не счастливое стеченье обстоятельств, она умерла бы в полном забвении, так и не узнав, что ее, автора ставшего знаменитым еще в конце прошлого века романа «Овод», помнят, знают и чтут миллионы читателей в Советском Союзе.

Но случилось так: советский сотрудник секретариата ООН обнаружил, что писательница, переехавшая с мужем в США еще в 1920 году, не только здравствует, но и проживает совсем рядом, в центральном районе Нью-Йорка. За этим открытием последовала цепь событий.

В нью-йоркской квартире Э. Л. Войнич побывала группа советских писателей и журналистов. В ее адрес хлынул поток писем из Советской страны. О писательнице вынуждена была заговорить и американская буржуазная печать. Одним словом, как по мановению волшебной палочки, к автору «Овода» вернулась известность.

В этот светлый период жизни писательницы мне, корреспонденту советской газеты, и посчастливилось встретиться с Э. Л. Войнич.

Был канун 1960 года. Не скрою, мы волновались, когда с товарищем входили в дом № 450 по 24-й стрит, в котором на семнадцатом этаже со своей подругой и помощницей Энн Нил жила писательница. Предстояло мысленно перенестись в XIX век, предстояла встреча с человеком, многие подробности жизни и творчества которого до последнего времени были мало известны.

Дочь англичанина Джорджа Буля, преподавателя математики, и Мэри Буль, Этель Лилиан родилась в 1864 году в Ирландии. Ей было всего несколько месяцев, когда умер отец и вся семья переехала в Лондон. Впечатлительную, обладавшую большими способностями девочку с ранних лет увлекала музыка. Это и привело ее позднее в Берлин, в высшую музыкальную школу, где после трех лет обучения по классу фортепьяно она в 1885 году получила диплом.

Этель сохранила любовь к музыке на всю жизнь, и, видимо, это увлечение определило бы целиком ее дальнейшую жизнь и деятельность, если бы после завершения музыкального образования у девушки не пробудился интерес к социальным и политическим проблемам, если бы в Лондоне она не познакомилась с целой плеядой эмигрантов-революционеров из многих стран. Особенно волновали ее судьбы Италии и России.

Тесные связи с революционерами, и прежде всего русскими, близость к идеям русской прогрессивной литературы оказали большое влияние на формирование ее мировоззрения. В этой среде встретила Этель своего будущего мужа — Вильфреда Войнича,

польского революционера, побывавшего в сибирской ссылке за организацию неудачного побега политзаключенных из варшавской тюрьмы. По совету русского революционера и писателя С. М. Степняка-Кравчинского, в лондонском доме которого Э. Л. Войнич познакомилась с Ф. Энгельсом, Г. В. Плехановым, П. А. Кропоткиным, с писателями Бернардом Шоу, Оскаром Уайльдом и многими другими, начала она писать свой первый роман, принесший ей всемирную известность. Восхищение мужеством борцов за народное дело, мечты и дела которых стали ей близки и дороги, вдохновил Э. Л. Войнич на создание произведения, которое по праву можно назвать гимном революционному подвигу.

Э. Л. Войнич было 33 года, когда книга «Овод» увидела свет вначале в Нью-Йорке, а затем в Лондоне в 1897 году. (Почти два года после завершения работы над романом она не могла найти издателя.) И сразу же произведение имело по-настоящему огромный успех. Книгой зачитывались. Новые и новые издания «Овода» раскупались нарасхват.

Особенно горячо восприняла книгу революционная молодежь. Для нее Овод стал любимым героем, идеалом бескорыстия и самоожертвования во имя свободы и счастья людей. Эта особенность яркого, страстного произведения объясняет и удивительную судьбу книги, справедливо названную писателем Ф. В. Гладковым «нетленным творением».

Революционный пафос романа пришелся не по душе столпам старого мира. Но во многих странах, и прежде всего в нашей стране, особенно после Октябрьской революции, «Овод» обрел самую широкую популярность. Об исключительном эмоциональном и воспитательном воздействии произведения Э. Л. Войнич свидетельствуют многочисленные воспоминания борцов ленинской гвардии, героев гражданской и Отечественной войн.

...Большое временное расстояние — шесть с лишним десятилетий — отделяло нас от момента появления знаменитой книги, когда декабрьским утром мы оказались на пороге нью-йоркской квартиры писательницы. В гостиной нашим глазам предстали полки книг, пианино, фотографии и портреты в рамках; хозяйка дома сидела на кушетке у небольшого газетного столика. Пепельно-белые, аккуратно убранные волосы, умный и зоркий взгляд за стеклами очков, тихий голос, теплая, с синими прожилками рука.

Войнич шел 96-й год. Нас предупредили, что писательница быстро устает, и поэтому визит не мог быть слишком продолжительным. Но и те полчаса, что мы провели в гостях, незабываемы.

Нас усаживают рядом с «зимним садом» — так шутливо называет хозяйка квартиры несколько цветков на столике. Войнич перелистывает страницы преподнесенного ей фотоальбома, в котором отражена жизнь нашей страны после Великой Октябрьской социалистической революции. Задерживает внимание на портрете В. И. Ленина, на снимке Красной площади, задумывается, вспоминает. Рассматривая снимок памятника борцам революции, писательница замечает: «Моя книга тоже посвящена памяти революционеров».

От автора «Овода» узнаем интересную подробность, связанную с созданием образа героя романа — одного из самых ярких в мировой литературе. Внешний облик молодого революционера стал вы-

рисовываться в сознании Э. Л. Войнич задолго до написания книги. Это произошло в период, когда, оказавшись в Париже, она побывала в парижском Лувре и остановилась у приковавшего ее внимание портрета юноши работы флорентийского мастера XVI века. «Я провела тогда много времени, глядя на портрет», — вспоминает Э. Л. Войнич.

На книжных полках в доме писательницы томики Шекспира, Диккенса, Фолкнера, Гоголя, Достоевского, Шолохова... И, конечно, множество изданий разных лет романа «Овод» на русском и других языках народов Советского Союза, в том числе на грузинском, армянском, чувашском. А вот монгольское издание. Э. Л. Войнич им очень дорожит. Муж ее, сосланный в Сибирь, в конце XIX века побывал и в Монголии.

Помимо «Овода», писательница написала еще несколько романов, хотя по своей художественной силе ни один из них все же не может сравниться с ее первой книгой.

В конце 80-х годов прошлого века будущая писательница два года прожила в России. Преподавала музыку, английский язык. Одновременно продолжала изучение русского языка, которым хорошо владела до конца своей жизни.

Знание языка породило большой интерес, настоящую любовь к русской литературе, многие произведения которой она перевела на английский язык. У нас в руках издание 1895 года. Это книга ее переводов произведений Гоголя, Успенского, Салтыкова-Щедрина и других русских писателей. Салтыков-Щедрин был одним из любимейших авторов Э. Л. Войнич.

Писательница, переводчица... Но литература была не единственной областью творчества Э. Л. Войнич. Бывали годы, когда она целиком погружалась в музыку. «В отдельные периоды жизни я была преимущественно писательницей, в другие — музыкантом. Я не знаю, как это объяснить», — говорит она.

Десять лет Э. Л. Войнич преподавала музыку в нью-йоркском колледже. Много времени и сил она отдала композиции. Войнич — автор целого ряда музыкальных произведений.

...В день рождения Э. Л. Войнич, когда ее пришли поздравить представители нашей страны в Нью-Йорке, они услышали, что самое любимое занятие писательницы — разбирать письма читателей из СССР, знакомиться со статьями о ее творчестве. С благодарностью и большим уважением говорила она, в частности, о советском литератороведе Евгении Таратуте, радовалась присланным материалам, связанным с постановкой оперы «Овод» в Новосибирском театре оперы и балета. «Промышленное и культурное развитие Сибири захватывает воображение, — сказала она в этой связи. — Ведь прежде Сибирь представлялась мне лишь местом ссылки».

Это было 11 мая 1960 года. 28 июля, на 97-м году жизни, Этель Лилиан Войнич скончалась.

Но в благодарной памяти поколений живет и будет жить и волновать, звать к подвигу созданное ею удивительное творение, ее Овод, в обаятельном образе которого воплотились мечты, горячая любовь к людям, страстное стремление к свободе, к свету.

Николай КУРДЮМОВ.

СОДЕРЖАНИЕ

ОВОД

Часть первая	7
Часть вторая	73
Часть третья	193
Эпилог	280
* Николай Курдюмов. Вместо послесловия .	285

* © Издательство «Правда», 1977.

Этель Лилиан ВОЙНИЧ

ОВОД

Роман

Редакторы

Н. Н. Кудрявцева и Е. А. Ромашкина

Обложка художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
Ю. В. Львов

Технический редактор
Л. Ф. Молотова

Сдано в набор 27/IX 1976 г. Подписано к печати 26/X 1977 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 84×108^{1/32}. Усл. печ. л. 16,06.
Уч.-изд. л. 16,18. Тираж 400 000 (200 001—400 000) экз. Заказ № 2266.
Цена 1 р. 60 к.

Набрано и сматрировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865.
Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.





